

ВЯЧЕСЛАВ ЩЕПОТКИН

## КРИК СОВЫ ПЕРЕД КОНЦОМ СЕЗОНА

РОМАН

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава пятая

Нестеренко выполнил обещание. Он вёз Адольфу отличного трёхмесячного щенка русско-европейской лайки. Ездил за ним в Вологодскую область. Чёрно-белый крепыш с весёлыми глазами то спокойно лежал на заднем сиденье “Жигулей”, то спрыгивал на пол, и тогда Волков, который сидел пассажиром рядом с электриком, пропускал назад руку, ловил щенка за холку и устраивал у себя на коленях. Зимой учитель возил Андрея на своей машине. Теперь тот делал ответный ход.

— Ну, до чего ж хорош, стервец, — с улыбкой ерошил Волков шерсть щенка, подносил его треугольную морду почти к усам, разглядывая карие живые глаза. — Как его зовут?

— В паспорте есть имя. Какой-то... Забыл. Родословная хорошая. Но я его назвал Пират.

Нестеренко на этот раз сначала написал Адольфу письмо о том, что взял щенка, потом — перед поездкой — созвонился через склад, рядом с которым егерь жил, и теперь они ехали на весеннюю охоту ожидаемыми гостями. Ехали на трёх машинах: электрик с учителем, Слепцов взял в свою “Волгу” Карabanова. А третью машину вёл Савельев.

После тех журналистских посиделок, где Виктор резко одёрнул литовского коллегу за “советскую оккупацию”, Волков стал читать все его материалы в газете. Про телевидение говорить нечего. Даже если б учитель не хотел, он бы всё равно слушал Савельева — тот вёл передачи вместе с его женой.

Однажды Виктор пригласил Наталью с мужем к себе домой — на московскую элитную окраину. Пока женщины готовили стол — женой Савельева оказалась приятная, круглолицая дама, с весёлым прищуром зеленоватых глаз, мужчины ходили от одной книжной полки к другой и обсуждали библиотеку хозяина.

Вдруг учитель увидел на корешке одной книги надпись: “Русская охота в русской литературе”.

— Нравится читать? — показал на книгу.

---

Продолжение. Начало в № 8 за 2013 г.

В тексте романа сохранена разговорная орфография автора.

— Не только. Охотиться тоже.

— Да? — удивился Волков. — Вы ездите на охоту? Или — по бутылкам, как некоторые любят...

— Перед вами, между прочим, почётный охотник. Я много писал об этом. После статьи “Право на выстрел” появились новые правила. Но как можно писать о том, чево не знаешь?

— В таком случае мы с вами, Виктор, родственные души.

— Ну? Тоже охотник?

Женщины по очереди звали своих мужей, однако те лишь отмахивались: “Сейчас, сейчас...” У Савельева оказалось три ружья. В том числе немецкий “Меркель”.

За столом мужчины то и дело съезжали на тему охоты, вызывая иронию жён. Наконец, вышли на балкон покурить и тут дали волю своим познаниям. Как взять на “профиля” гуся. Какая дробь лучше для вальдшнепа. Из чего сделать “настоящий” манок на рябчика. Перешли на “ты”.

— Слушай, давай-ка бросим на “вы”, — сказал Савельев. — Тоже мне — английские лорды! Нормальные мужики. Считаю, ровесники.

— Согласен, — подал руку Владимир.

Потом они встретились у Волковых — на дне рождения Натальи. Ей Савельевы подарили французские духи “Фиджи” — самые популярные в ту пору у советских женщин, а хозяину Виктор привёз манок на рябчика, сделанный вологодским егерем из косточки тетерева. Волков не удержался, тут же в прихожей опробовал его. Все оглянулись на тонкий свист.

— Теперь он меня будет так подзывать, — улынулась Наталья.

Когда Нестеренко с Волковым стали договариваться о поездке на осеннюю охоту, учитель сказал, что хочет пригласить одного знакомого журналиста.

— Што за человек? — насторожился электрик. — Некоторых писак я бы повесил на одном дереве с “хромым бесом”.

— Этот — нормальный. Виктор Савельев... Может, слышал? Или читал. Он в газете... На телевидении. Свой человек.

— Савельев? — с удивлением переспросил Нестеренко. — Да я ж его знаю! Давно, кстати, знаю. И ты, оказывается, тоже? Откуда? Ну, и чудеса! А он што, охотник?

— Ещё какой!

Теперь они на трёх машинах подъезжали к маленькой деревушке Марино, где их ждал Адольф со своими помощниками.

Возле большой, крепкой избы увидели знакомый трактор “Беларусь” с тележкой и “уазик”. Сообразили: надо сюда. Нестеренко посигналил. На высокое крыльцо из избы вышел Адольф. За ним в дверях показался молодой мужик, похожий узким лицом на Валерку. Как оказалось, его брат.

— А-а! Вот и наши демократы! — расплылся в улыбке егерь.

— Не вали всех в одну кучу, — радостно раскинул руки Нестеренко, готовясь обнять идущего от избы Адольфа. — У нас каждой твари по паре.

Егерь обхватил Андрея, потом потискал Волкова. Всё так же улыбаясь, но уже с кислинкой, пожал руки Карабанову и Слепцову. Когда подошёл Савельев, учитель сказал Адольфу:

— А это наш новый товарищ. Виктор зовут.

— А старый где?

— В больнице Игорь Николаич. С сердцем. Жизнь довела.

— Нового-то я вроде где-то видел, — пожимая руку Савельеву, сказал егерь. — Адольф.

Журналист никак не отреагировал на имя егеря, а Волков подтвердил:

— Вполне возможно. По телевизору.

— А-а... То-то я думаю: лицо знакомое. Ну, где зверь, Андрей?

Нестеренко взял щенка из машины. От избы подошли Валерка, его брат и красноглазый Николай. Тоже поздоровались.

— Хорош! — принял щенка Адольф. — Ничё не могу сказать. А глаза, глаза... Нет, есть люди среди зверей. Глянь, как умно смотрит! Имя-то у него уже имеется?

— Конечно. Пират.

В маленьких глазках Адольфа колыхнулась грусть, но щенок лизнул ему руку, и егерь мягко улыбнулся.

В горнице большой избы-пятистенки уже была приготовлена для гостей еда. На большой сковороде ещё дышала теплом жареная картошка, в тарелках высились солёные огурцы, домашние маринованные помидоры, квашеная капуста. На двух блюдах розовел кабаний бекон, шпигованный чесноком.

— На чём остановимся? — спросил Адольф, когда все выпили по второму разу и ещё резвей, чем после первой стопки, накупились на еду.

— А што у нас есть? — спросил Волков, поддевая вилкой пластинку сала.

— У нас есть всё! — самодовольно заявил Валерка. Егерь строго глянул на него.

— Смотри чего тебе, Владимир, хочется. За деревней... на просеках — вальдшнеп. Этот, конечно, вечером. А для утра другое... Килбметров шесть отсюда — тока! Три хороших тока. Косачи ведут разговор — издаля слышно.

— Гусь есть, Адольф? — спросил Карабанов. Когда учитель позвонил ему насчёт охоты, он дёрнулся, чтоб отказать. Саднило воспоминание о последнем дне зимнего сезона. Что-то поганенькое всплывало каждый раз в ощущениях, и доктору не сразу удавалось растворить эту муть в других мыслях. Но голос товарища был такой искренний и душевный, что Сергей с благодарностью согласился.

— Есть и гусь, — с едва уловимой прохладцей сказал егерь. — Но туда надо ехать часа три. Дорога — ни в транду, ни в Красну Армию. Одни ямы. Зато хороший пролёт. А-агромная котловина, в середине — ба-альшая вода... Разливается речка и заливаает... как бы сказать... наверно гектар двадцать низины. Вечером, потемну, гусь падает на воду. А утром подымается на поля. Вокруг котловины поля. Тоже краёв не видать. Он там днём кормится.

— Интересно, интересно, — оживился Нестеренко. Чёрные глаза заблестели, брови вздёрнулись над ними, словно крылья. — А как насчёт селезня с подсадной?

— И это есть, Андрей, — с явным желанием угодить электрику ответил Адольф. — У Митрия не подсадная, а Людмила Зыкина. Голос — за версту слышно. Я бы, будь селезнем, не пролетел мимо.

Валеркин брат Дмитрий согласно покивал. То ли подтверждая, что его подсадная утка голосиста, как великая певица, то ли — не сомневаясь в возможностях Адольфа.

— Давайте начнём с вальдшнепа, — сказал Волков. — Я понял: тут близко.

— Это на вечер. Севодня, — согласился егерь. — А на утрянку куда?

— Я бы пошёл на тетерева, — заявил Савельев.

— Я тоже, — присоединился Волков. — Давно не был на току.

— Мы на “Волге” к гусю проедем? — спросил молчавший всё это время Слепцов.

— Попробовать можно, — в раздумье сказал егерь. — Только имейте ввиду: у меня на всех Сусаниных не хватит. Валерка поведёт на тока. Мы с Митрием берём Андрея на селезня. Остаётся Николай... Ты в семибратовских разливах дорогу найдёшь? — спросил он молча жующего помощника. Тот с набитым ртом неуверенно пожал плечами.

— Понятно. Тогда беру команду на себя. Гуся пока оставим. Может, на воскресенье. Трое — с Валеркой. Двое — с нами. А там глянём. Война план покажет.

Когда солнце опустилось за тёмные ветки ещё безлистных деревенских лип, городские и егерь вышли из избы. Валерка с братом и Николай оставались в хате. Перед выходом Адольф остерёг троицу:

— Вы тут глядите... С водкой-то.

— А чё пить-то? — придураясь, показал Валерка на несколько бутылок. — Раньше было — да!

— Всё мало? Жадный становишься. Тебе б за копейку — канарейку... И штоб пела басом. Смотри у меня! — строго закончил Адольф.

Дойдя до леса, все разошлись по просекам и полянам. Возвращаться надо было в темноте. Поэтому Адольф велел ориентироваться на дорогу.

Нестеренко не стал уходить далеко. Вальдшнепиная “тяга” его волновала меньше других охот. А Волков с журналистом ушли дальше остальных, увидели хорошую просеку и остановились на ней.

— Разбежился иль как? — спросил учитель. Он чувствовал себя ответственным за Виктора и, не зная опытности Савельева, хотел подстраховать его.

— Пройду немного дальше, — сказал тот.

Волков остался один. Вложил в оба ствола патроны с мелкой дробью и затих, провожая взглядом удаляющегося напарника.

Метров через сто Виктор обернулся. Учитель помахал рукой, показав, где он есть. “Хорошая выучка”, — подумал Савельев о Волкове и решил, что дальше идти не стоит.

Он сошёл с середины просеки к ближайшим кустам, зная, что в сумерках его куртка цвета прелой листвы будет незаметна на их фоне. Зарядил любимый “Меркель” и стал слушать. Весенний птичий оркестр, разноголовый, пока Савельев шёл, сейчас начал быстро собирать инструменты. Через некоторое время в лесу уже раздавался единственный звонкий голос. Немного погода, стих и он.

От бурой земли пахло стылой сыростью. Апрель, как всегда капризный в подмосковной и предсеверной России, на этот раз превзошёл себя. Накануне открытия охоты южные ветры нагрели воздух до 19 градусов, и даже громыхнула первая весенняя гроза. А потом задуло из Арктики и температура за одну ночь упала до минусовой. Через сутки ветры снова поменялись. Иней на деревьях и проводах исчез, в воздухе не как прежде, но всё же потеплело, и озябая было природа снова заволновалась от пробуждения любви. “Зачем я тут стою? — неожиданно подумал Виктор. — Сейчас вальдшнеп полетит искать подружку... Она радостно запрыгает навстречу его призыву, а я — свинцом по любви...”

Он вдруг вспомнил Наталью Волкову, и ему стало тепло во влажном холоде угасающего вечера. Савельев сразу обратил внимание на эту молодую красивую женщину. Сначала выделял, как приятную разговорщицу, с которой находилось всё больше общего в оценках людей и событий. Позднее стал радоваться даже мимоходным встречам. Со временем понял, что к ней его тянет, как к женщине. Сделал несколько скорее инстинктивных, чем продуманных, движений. Из тех, которые почти всегда приводили к ответным реакциям.

Но тут ответа не почувствовал. И остановился. Как оказалось, вовремя. К этому моменту познакомился с её мужем. Стал узнавать его раз от разу лучше, и теперь был доволен. О таком понятии, как совесть, в его среде нередко говорили с небрежением, однако Виктор в душе радовался, что мог спокойно глядеть в глаза обоим Волковым.

Вдруг в стороне учителя громыхнул выстрел. Савельев мгновенно перехватил ружьё и впился взглядом в сереющую полосу неба над просекой. Там было пусто. Зато справа от себя Виктор услышал приближающийся характерный звук токующего в полёте вальдшнепа. Сначала издали послышалось что-то вроде резкого циканья. Когда вальдшнеп подлетел ближе, стали различаться другие звуки. Теперь они походили на искажённое тихое хрюканье.

Вальдшнеп “тянул” — не быстро летел — над верхушками деревьев у противоположной стороны просеки. Виктор знал, как заставить его свернуть — пробовал не однажды и получалось. Надо подбросить по невысокой дуге шапку, варежку, кусок коры. Заметив это, вальдшнеп круто свернёт к тому месту, где упала “обманка”. Так подскакивает самочка, услышав голос потенциального любовника.

Виктор медленно стал поднимать руку к старой ондатровой шапке. Она была точь-в-точь “вальдшнепиной” расцветки — бурая, с тёмными пятнами, кое-где выцветшая от долгой носки. Но когда пальцы уже дотронулись до шапки, вальдшнеп снова разлил над просекой страстный призыв. Савельев представил себе, как этот крылатый комок любви, с длинным тонким клювом и сдвинутыми назад чёрными бусинками глаз, бросится к падающей шапке, как вслед за тем его тельце разорвут дробины, посланные им — силь-

ным мужчиной, и, увидев всё это почти наяву, резко опустил руку. “Лети, дружище, — подумал с нежностью. — Ищи свою подругу”.

Но остальные охотники оказались не такими сентиментальными. Снова выстрелил Волков. Несколько раз грохнуло в других местах леса — видимо, началась “высыпка” вальдшнепов. Да и Савельев теперь жалел об упущенной возможности. Подождав ещё немного и видя, что сумерки переходят в ночь, он двинулся по просеке к Владимиру.

В деревню охотники вернулись в полной темноте. Луна ещё не вышла. С трудом различая дорогу, то один, то другой хлопали сапогами в лужах. Не входя в избу, в сенах разулись.

— Кто отличился? — громко спросил Валерка, когда все шестеро затеснили прихожую.

— Они из общества охраны животных, — съязвил Адольф. — Только Андрей показал, как надо. Трёх взял.

— А нас ты зря туда записал, — возразил Волков. — У Паши с Карабасом по одному. У меня тоже. Вот Виктору не повезло. Но это ж не в магазине “Дары природы”.

— Где ты такой магазин нашёл? — буркнул Карабанов. — Все остальные скоро надо будет закрывать.

— Но “тяга” была... была, — сказал Волков, отводя разговор в сторону. Он увидел, как нахмурился Нестеренко, готовый отреагировать на слова доктора. — Теперь главное — “утрянка”. Времени-то у нас, я думаю, Адольф, не много?

— Поесть — и скоро собираться, — сказал егерь, усаживаясь за стол. — До токов идти да идти. Ну, мы с Митрием на “уазике” за селезем. Кто с тобой ещё, Андрей? — глянул он снизу вверх на подходившего электрика. Тот пожал плечами.

— Я поеду, — сказал Карабанов. Нестеренко согласно кивнул, хотя после той зимней охоты отчуждение к доктору так до конца и не растаяло. Если бы не Владимир, электрик вряд ли решился снова позвать Сергея. Но учитель не случайно стал у них лидером. Он умел прощать сам и ненавязчиво подталкивал к этому других.

— А ты, Паша? — спросил Волков сосредоточенно молчащего Слепцова.

— Возьмёте — пойду с вами.

— Ну, разобрались, слава Богу, — с удовлетворением заметил егерь. — Все при деле.

— За это не мешает налить! — тут же взялся за бутылку Валерка.

— Ох ты, шнырла, — осуждающе покачал головой Адольф. — Портишься прям на глазах. Как демократ.

— А чем тебе плохие демократы? Я — за них. С ними веселей. Круши всё подряд — потом разберёмся.

Нестеренко с удивлением посмотрел на Валерку: что случилось с мужиком? Поставил в ряд стопки — свою, Волкова, журналиста и красноглазого Николая. Усмехнулся:

— Давай наливай, демократ голожопый. Думаешь, кто был ничем, тот станет всем? Вас опять на фу-фу берут. Получишь — от сапога подмётку.

— Да ну его, Андрей! — махнул рукой Адольф. — Разошёлся, как вишневый по бане. Болтает — не знай чево. Давайте, как принято — на кровях. Почин есть.

Все с удовольствием выпили, разговорились. Городские, оторванные несколько месяцев от природы, были возбуждены. С теплом в глазах слушали егеря и его подручных, вспоминали острые моменты вечерней “тяги”, и каждый нетерпеливо ждал теперь уже утренних волнений.

## Глава шестая

В первом часу ночи Валерка вывел свою троицу из избы. Команда Адольфа, благодаря “уазу”, могла отправляться позднее.

Луна уже поднялась высоко. На чёрной грязной дороге хорошо были видны лужи, глубокие колеи, заполненные водой. Мужчины сначала рвану-

ли бодро, время от времени возбуждённо переговариваясь. Но налипающая на сапоги грязь постепенно делала шаги короче, а вместо разговоров теперь изредка слышались матерщинные реплики.

Примерно через час Валерка остановил подопечных.

— Всё. Дальше дорога не нужна. Пойдём по полю. Там есть сарай. В нём перекантуемся.

По непаханому полю идти стало легче. Вскоре в лунном свете увидели продолговатый сарай. Полуприкрытая воротина вросла в землю. Валерка осветил фонарём угол с набросанной соломой.

— Тут можно жить, — негромко хэкнул учитель, укладывая рядом ружьё, а под голову рюкзак.

— Только свежеповато, как на улице, — заметил Савельев.

— Дак вон дыра на крыше, — показал лучом фонарика в дальнюю противоположную сторону Валерка. — Держали когда-то лошадей...

— Теперь — мышей, — так же тихо, как остальные, проговорил Слепцов.

Охотники ещё какое-то время поворочились, делая каждый себе удобное гнездо в соломе, и затихли.

— Смотрите не засните, — строго, как детям, за которыми надо следить, сказал Валерка. Однако через несколько минут сам засопел, потом отвернулся от Савельева, возле которого лежал, и беззвучно уснул. “Командир хренов”, — с иронией подумал Виктор. Глянул на светящийся циферблат часов — их он надевал только на охоту и рыбалку. Было полтретьего. Выход к шалашам через час.

“Интересно, как тут сделаны шалашы? — подумал Савельев. — Листвы ещё нет. Значит, прикрыты ёлками. А делать это надо заранее. Птицы должны привыкнуть”.

Он вспомнил осенние охоты в Вологодской области. У поезда его встречал директор хозяйства. Вечером также выпивали-говорили, а ночью егерь вёз на машине к месту охоты. В октябре тетерева вылетают из чащи леса к убранным полям. Прежде чем спуститься на землю, обсаживают выступающие на опушку берёзы. Клюют почки, греются на солнце. Особенно любят “островки” деревьев, которые немного удалены от леса и поля. Здесь, под деревьями, егерь заранее ставил шалаш, а на толстых ветвях крепил чучела тетеревов.

Несколько раз Виктор попадал на хорошие охоты. К чучелам садилось по двадцать-тридцать тетеревов. Одним выстрелом удавалось взять даже по две птицы. С шумом, ломая сучки, они падали на землю, остальные взлетали, а через некоторое время к чучелам садились новые косачи.

От этих приятных воспоминаний сознание стало плавиться и Виктор начал засыпать. Сколько времени прошло, он не заметил. Вдруг в сарае что-то зашумело, захлопали крылья. Савельев сразу не понял: во сне это или наяву?

— Кто тут? — спросонья сел на соломе Валерка. В дальней части сарая, где была провалена крыша, снова что-то зашуршало, и через мгновение снаружи донёсся жутковатый звук. Словно кто-то гукнул в длинный отрезок водопроводной трубы: “у-у — ху-у-у”.

— Фу! Сова, падла, — сказал, успокаиваясь, Валерка. — Напугала. А вы чё, уснули?

— Нет, стерегли тебя, — насмешливо ответил Савельев.

— Сова? Опять сова?

Павел Слепцов с тревогой быстро поднялся на ноги. Учитель снизу, с соломенного логова, увидел, как на фоне провала в крыше, обозначенного мерцающими звёздами, появилась голова товарища, закрыла большую часть их, образовав чёрный круг, обрамлённый сверкающими блёстками. “Чёрная дыра”, — подумал Волков с каким-то суеверным страхом.

— Ну, и што сова? — потянулся в темноте на соломе Савельев. — Наверно, по привычке залетела сюда за мышонком. А тут наш Валерий всхрапнул. Сова поняла: место занято.

— Ты с этим не шути, — недовольно проговорил Валерка. Похоже, ему не понравился намёк на сон. — Зимой она наделала делов. Ни с того, ни с сего заорала в лесу. Зимой! — ты понял? Когда все молчат.

Он включил фонарик, чтобы осветить часы.

— О-о! Пора собираться. По темноте надо залезть в шалаши.

Оказалось, идти придётся на два тока. Один — поблизости, другой — километра за полтора от него.

— Первым прилетает токовик. Старый тетерев. Его стрелять нельзя. Развалится весь ток.

— Знаем, знаем, — сказал Савельев.

— Ну, смотрите.

В лунной ночи довольно быстро дошли до первого шалаша. Здесь, как заранее было условлено, остались Волков и журналист. Чтобы не застыть на холодной сырой земле, оба прихватили из сарая по охапке соломы. Постелили на ветки, а сверху Савельев положил непромокаемый плащ. Легли рядом, рассчитывая потом распределить зоны выстрела.

— Курить охота, — прошептал Виктор.

— Нельзя, ты што!

— Да эт я так, — тихо засмеялся Савельев. Умолк. Потом шёпотом спросил:

— А чёй-т они из-за совы расстроились?

— Пашка боится. Говорит: беду принесёт. Стой! Помолчи.

Едва они затихли, как издалека донеслось негромкое бормотанье. Волков подтолкнул напарника: слышишь?

Луна начинала бледнеть, но светила всё ещё ясно. Сквозь ветки шалаша Владимир оглядел территорию, где предстояла битва за любовь. Это был пологий косогор, понижающийся, видимо, к сухому болоту: деревья в той стороне стояли редкие — больше торчало кустарника. А слева и справа к поляне-косогору приближался лес. Оттуда, с левой стороны, снова послышалось бормотанье.

“Начинается!” — с волнением подумал учитель. И только он это мысленно определил, как от тёмного леса к середине косогора с шумным хлопанием крыльев подлетела большая птица. Едва опустившись, тетерев сразу забормотал. Потом пробежал несколько шагов, огляделся и завёл вторую часть своей песни.

Если первая напоминала грубое воркованье голубя и передать её буквами было нельзя, то вторая представляла из себя весьма различные слоги, которые Волков не раз воспроизводил, рассказывая знакомым об этой волнующей охоте. “Чуфф-фы-ы”, — выводил крупный старый косач, вызывая на поляну тетёрок, а заодно оповещая других крылатых мужиков о своём появлении на току.

И сигнал был принят. С разных сторон захлопали крылья. Один за другим на косогор-поляну устремились сначала матёрые тетерева, затем — молодые сменщики ветеранов любви. В рассветной ясности уже можно было различить некоторые детали их нарядов. Главный цвет в одежде — чёрный. Но он имел оттенки. На голове и шее — чернота со сталистым отливом. Возле хвоста — синие перья. Крылья пересекали белые полосы — словно перья у офицеров прежних эпох. Возле глаз — ярко красные полукружья, которые охотники называют бровями.

Увидев главного токовику, навстречу ему бросился такой же крупный тетерев. Те, что прилетели следом, тоже разбились на пары. Опустив крылья и распушив веером поднятые вверх хвосты, дуэлянты бросались друг на друга, подсакивали вверх, сшибались, затем расходились, вытягивали шеи параллельно земле, громко “чуфыкали” и снова неслись навстречу один другому.

Захваченные этой картиной охотники сначала даже забыли о ружьях. Опомнились, взглядами показали друг другу, кто какую птицу берёт, и синхронно выстрелили. Стая с шумом поднялась в разные стороны. На земле остались лежать три тетерева — у кого-то из двоих выстрел оказался наиболее удачным.

Солнце ещё не взошло. Тетерева могли вернуться на ток. Поэтому напарники решили не выходить из шалаша.

Однако через некоторое время польхнули выстрелы в той стороне, куда ушли Валерка со Слепцовым. А спустя минут сорок показались они сами.

— Всё. Охоте конец, — с неудовольствием сказал Савельев и полез из шалаша. Подобрав добычу, компаньоны закурили. Край неба за высохшим болотом и редколесьем тронула алость. Словно там пролили сильно разбавленный вишнёвый сок, и он стал растекаться не сверху вниз, как по законам земного тяготения, а, наоборот, снизу вверх. Тёплый дым от сигарет в безветренном холодном воздухе поднимался вяло и неуверенно маленькими облачками.

— Сколько я таких зорь встретил, а двух одинаковых не видел, — задумчиво проговорил Савельев.

— И что удивительно, — согласился учитель, — в одном и том же разные люди видят каждый своё. Вот она — человеческая неповторимость.

Подшли Валерка со Слепцовым. Тоже с добычей. Пока возвращались в деревню, Валерка раза два с восхищением вспоминал, как стрелял Павел.

— Влёт, ты представляешь? — оборачивался он к Волкову. — Из шалаша! Там развернуться негде, а он — влёт. Сквозь ветки. Нет, я б так не смог. Видать, тоже с тобой был в диверсантах?

— Хватит тебе, — сказал, наконец, Слепцов.

А учитель почему-то вспомнил зимний день, готового к прыжку кабана и ошустившего ружьё экономиста.

\* \* \*

В деревне они оказались первыми. Часа через полтора приехала команда Адольфа. “Тетереватыники” до этого времени только выпили из термоса чаю и теперь, голодные, подгоняли остальных.

В избе как-то незаметно появилась тихая, немолодая женщина с печальным лицом. Робко поздоровалась, стала накрывать на стол. Волков ещё вчера обратил внимание на порядок и прибранность в доме. С Валеркиным братом это не вязалось. Лохматый, давно не стриженный, с щетиной на узком длинном лице, которое перерезал большой рот, он, как уловил учитель из слов Валерки, вроде бы жил один. А тут, оказывается, была хозяйка. Учитель хотел пригласить её за стол, но решил, что пока не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь.

— Сегодня, ребята, мы все отличились, — сказал Адольф, поднимая стопку. — Андрей, если б не увезти его, перебил ба всех селезней. Ну, тех, конечно, можно. Тех мужиков, в отличие от двуногих — большой перевес над бабами. Вот он, — показал егеря на Карабанова, — тоже молодец. А про вас — у меня выраженьев нету. Скоко косачей завалили! Поэтому — за нас с вами и за хрен с ними.

На этот раз продуктивное участие городских было скромней — сказывалось отсутствие Игоря Николаевича с его заказами. К тому же в заводской “кормушке” Слепцова — закрытом буфете для руководства, выбор тоже резко сократился. Тем не менее, для деревенских и эта скудость выглядела роскошью. Когда тихая женщина принесла на одной тарелке нарезанный финский сервелат, на другой — выложенную из банки и тоже порезанную датскую ветчину, а на столе уже стояли открытые шпроты и исландская селёдка в винном соусе, суетной Валерка не удержался:

— А говорят, в городе голодают.

— Всё в жизни относительно, Валера, — заметил Савельев. — Энгельс писал: когда мы с Марксом голодали, то брали корзину пива, свиной окорок и уезжали в лес.

— Вона как! Я бы согласился, — сказал Валерка.

— Дмитрий, пригласи хозяйку. Пусть посидит, — предложил Волков. — С мужем. С гостями.

— Не муж он ей, — снова встрял Валерка. — Беженка она. Из Молдавии.

— Чё ты прыгаешь, как блоха на зеркале? — не зло, но всё же с неудовольствием проговорил Дмитрий. — Валентина! Иди к нам! Гости зовут.

Женщина, робко улыбаясь, села возле подвинувшегося Дмитрия. Ей поставили стопку.



— Давайте выпьем за то, — сказал лохматый хозяин, — шток Валентина прижилась у нас. Тут у её сестра. Можно сказать: родина. А тем гадам — ни дна, ни покрывки.

Посидев немного, Валентина ушла из избы совсем. “Потом приду, убе-ру”, — сказала Дмитрию.

После её ухода Нестеренко спросил хозяина:

— Давно она здесь?

— Полгода. Начала вон, вишь, улыбаться. Когда прибежала, каменная была. Про молдаванов и сейчас, как услышит, трясётся. У ей в Рыбнице — есть такой город в Приднестровье...

— Знаем, знаем, — сразу став внимательным, сказал Савельев.

— ...там старшая дочка с мужем. А она — сама Валентина — жила с младшей где-й-то на молдавской стороне. В селе. Ну, там сёлы-то не такие, как у нас. Дома каменные... богатые. У ей, говорит, был всё жа плохонький. Муж умер, а без мужика как строиться? И девчонка ещё молода. Школу, последний класс кончала. Молдаваны вроде как давно стали притеснять. Вскоре после начала перестройки. К русским пристают. Гонят их. Дальше — больше. Говорить русские должны только по-молдавски. Писать — по-ихнему. Кто по-русски скажет — по морде. Бить стали.

— Вот што стервец, наделал! — бросил вилку Нестеренко. — Горбачёв этот!

— А прошлой осенью девчонку поймали, изнасиловали. Да ещё натворили с ней всякого. Она под утро, считай, приползла домой. Потеряла сознание. Валентина — на почту. Прозвонилась старшей дочке. Та с мужем приехала на машине. Не пускали! Кой-как прорвались. Забрали девчонку — молдаваны-то в больницу не берут. Сама тоже с ними — с дочкой и зятем. Там девочка и померла.

— Сволочи! — мрачно проговорил Волков.

— Валентине после этого жить не жить. А тут звонят соседи... Молдаваны, между прочим. Тоже всякие там есть. Молодняк ихний... которых на автобусах возили на митинги... в этот... как он... Кишинёв — порывались дом поджечь. Приежжай, говорят, Валентина. Когда хозяйка дома, не решатся. Она через силу приехала. А два дня прошло — ночью дом подожгли. Успела ток документы схватить и кой-чево из барахла спасла. Еле еле не помешалась. Вот прибежала суда... к сестре. Она старше Валентины. Намного будет старше. Через избу от нас. Приходит иной раз, когда попрошу. Моя-то пять лет, как померла. Дочка — вон Валерка ездит к ней — давно уж в городе.

Дмитрий замолчал. Молчали и остальные. Сказать, были потрясены — вряд ли. Деревенские эту историю знали, а городские теперь каждый день слышали, читали, видели по телевизору слёзы, крики, буйство толп, и если раньше душу переворачивала капля людской беды, то теперь душа иногда переходила через ручки беды, не замочив ноги. Только когда чьё-то горе возникало рядом, на расстоянии вытянутой руки, то оно могло обжечь ещё не покрывшуюся коростой часть души.

— Издержки национального пробуждения, — сказал со вздохом Карабанов. — Прибалты. Молдавия. Грузия. Все империи проходят через это, если в них силой согнали разные народы.

— Вы, наверно, плохо знаете историю, Сергей, — заметил Савельев. — Это Грузию-то Россия силой пригнала? Грузины несколько раз сами, я вам подчёркиваю — сами! просили принять их в российское подданство. Если б не Россия, грузинский народ мог просто-напросто исчезнуть. Как инки. Как ацтеки. Вы такие народы сейчас знаете? А они были. Персия и Османская империя — мусульманские державы — рвали в клочки маленькие грузинские царства. После их захвата грузин ждала ассимиляция и уничтожение христианской религии. Поэтому задолго до Георгиевского трактата — его заключили при Екатерине Второй, грузинские цари просились под защиту православного государства. Первый раз обратились ещё в 1586 году, к сыну Ивана Грозного — Фёдору Ивановичу, чтобы он “принял их народ в своё подданство и спас их жизнь и душу”. Георгиевский трактат признавал Гру-

зию вассалом российской короны. Но грузинский царь Георгий XII, отправляя в 1800 году послов к Павлу I, велел отдать царство своё “в полную его власть и на полное его попечение”. Это я вам цитирую документ. И Павел подписал манифест о присоединении Грузии к России. Однако через несколько месяцев молодые советники Александра I, ну, вы знаете — так называемый “Негласный комитет”, вроде недавнего президентского Совета при Горбачёве, стали убеждать нового императора отказаться от присоединения Грузии. Зачем, мол, России лишние заботы? Дразнить врагов — Персию и Османскую Турцию... Александр не согласился. Я читал в его манифесте, почему Россия берёт на себя “бремя управления”: “Не для приращения сил, не для корысти, не для распространения пределов и так уже обширнейшей в свете империи...” А для спасения народа-единоверца. Так што, дорогой товарищ-барин, никто Грузию силой не тянул. А сколько дала Россия той уйме народов и народцев, которых объединила в одно разноцветное государство! Культуру у всех сохранила. Языки все сохранила. Многим даже письменность создала. Якуты ещё в девятнадцатом веке получили письменность. А другие северные народцы обрели её в советское время. За такую веротерпимость и, как сейчас становится модным слово, — толерантность, русских надо хоть раз в неделю благодарить. Я вам напомнил об инках и ацтеках. Из них испанцы сделали человеческий фарш. Никаких следов, кроме пирамид, не оставили. Историки разных национальностей называют уничтожение коренного населения Америки “Американским холокостом”. Приводят разные данные. Самые распространённые такие: до прихода европейцев было 15 миллионов индейцев, к началу двадцатого века осталось 237 тысяч. Сохранились документы о нечеловеческих зверствах “цивилизованных” европейцев. Включая письменные свидетельства о том, как кормили индейскими детьми собак. Есть даже старинная гравюра об этом.

А про североамериканских индейцев вам напомнить? Где их великие территории? Их культура? Язык? Где вообще упоминание о них? Только в книгах Майн Рида? А русский язык — мне лично говорил видный казахский писатель — вывел сотни всяких сочинителей, даже из микроскопических по численности народцев, на мировую арену. Изда́ли его на казахском, сколько народу прочитало? Десять тысяч? Ну, сто! А переведённого на русский сразу узнают миллионы.

Толерантность у русских в крови. Есенин в 16 лет написал такие слова: “Затерялась Русь в мордве и чуди...” Это значит, за тысячу лет мы вобрали в себя гены множества народов. Потому и терпимы ко многим. А надо бы иногда вести себя жёстче. Злее надо быть! Улыбнуться и придушить гнусь. Вы смотрите, што творится в Молдавии! Преследуют русских, украинцев, евреев, гагаузов. Нашего собкора избили — он сказал, што за некоторые лозунги на митингах надо привлекать к уголовной ответственности. А лозунги какие? “Чемодан — вокзал — Россия”, “Молдавия — для молдаван”, “Русских — за Днестр, евреев — в Днестр”. Это же призыв к убийствам!

— Чёрт-те што происходит, — расстроено сказал Нестеренко. — Совсем недавно представить такое было нельзя. Отец строил ГЭС в Таджикистане... его послали, как наладчика оборудования... мы там жили. Мама — она инженер-технолог... работы по специальности сначала не было... работала недолго на почте. Мы с сестрёнкой Надькой — в школе. Я-то уже лоб — лет тринадцать, четырнадцать, а сестра — только в первых классах. У нас двор был — дома небольшие, двухэтажные, стояли буквой “П”... При каждом — два-три виноградных куста... летом — тень до второго этажа. Так вот, в одном нашем дворе — дети семидесяти национальностей! Я не округляю... когда взрослым стал, уехали оттуда... уже учился в институте — для интереса посчитал. Семьдесят! Про некоторые национальности раньше даже не слыхал. Кумыки... Даргинцы... Таты... Ассирийцы... Кого только не было! И ни одного конфликта на национальной почве. По другим поводам дрались — пацаны ведь! Но штобы национальность задеть — не помню. Отцы-матери могли хорошо уши накрутить. А сейчас какие вещи творятся? Не та национальность — убирайся вон.

— Ну, што можно сделать, если поднялся народ? — пожал плечами Карбанов. Развитие событий его радовало, и спорить ему не хотелось. — Вы же видите: инициатива идёт снизу. Сами массы создали “народные фронты” и добиваются национального освобождения. Вся Восточная Европа уже сбросила ярмо казарменного социализма. Очередь за нами.

— Неужели вы так наивны, Сергей? — удивился журналист. — Тогда хоть нас не считайте такими. Самый активный народ из этих “фронтов” находится в американском ЦРУ, израильском “Моссаде”, в английских и германских спецслужбах. Как вею контрабанду у Ильфа и Петрова делали в Одессе, на Малой Арнаутской, так и бульон для всех “народных фронтов” варится в недрах иностранных разведок. Разливают его профессионалы. А помогают, между прочим, наши “агенты влияния”.

Услышав это, Слепцов напрягся. Об участии зарубежных спецслужб в дестабилизации обстановки в Советском Союзе они недавно снова спорили с отцом. Не ребёнок и не далёкий от реалий жизни “ботаник”, а специалист с высоким уровнем допуска к секретам, Павел понимал, что противостоящие государства всегда и всеми способами стараются ослабить друг друга. Но он считал, что противники демократических перемен, стремясь сохранить изжившую себя систему, сильно преувеличивали размах тайного наступления на Советский Союз. И среди этих людей был его отец.

## Глава седьмая

В тот вечер Павел приехал домой к родителям с Анной. Они догадывались, что у сына кто-то есть, но кто — не знали. А он не говорил, что это была давно известная им, когда-то едва не ставшая снохой, Анна. Теперь решил заново познакомить их.

Часа два прошли незаметно. Василий Павлович остроумно развлекал молодую статную женщину, незаметно процеживая вопросами её прежнюю жизнь. Мать Павла с теплом и одновременно со скрытым, чуть-чуть настроженным любопытством изучала в своё время несостоявшуюся, а сейчас, кажется, возможную сноху. Сын только недавно начал отходить от разных переживаний, и матери приятно было видеть, как он светлеет лицом, слушая разговор Анны с отцом.

После того, как Павел отвёз подругу домой и вернулся к родителям, он понял: будут вопросы. Уж слишком заинтересованно глядела мать. Да и отец, выйдя из кабинета, хитровато прищурил глубоко запавшие глаза.

— Пока ничего не знаю, — сразу заявил Павел. — Можете не беспокоиться.

— Жизнь уж больно шаткая, Паша, — немного потускнела мать. — Надо за што-то держаться. Хорошая семья, она во все времена — надёжная опора.

— Пусть думает сам, — повернулся, чтоб уходить в кабинет, отец. — Может, правильно не торопится. Скоро будет большая разруха. Работают сразу со всех сторон. Человек не то што семью, себя прокормить не сможет.

— Опять ты винишь только внешние силы, — проговорил Павел, идя за отцом в его кабинет. — Идеиные диверсанты... Заговор капиталистов... У нас система вся сгнила! Изнутри прогнило.

— Системы, которые вы делаете — они гнилые? Плохо управляют ракетами?

— Ну, што ты равняешь? — удивился Павел. — До наших систем им тянуться и тянуться. Но это разные вещи.

— Нет, не разные. Там, где пока ещё порядок, там мы лучше других. Но скоро и вам перекроют кислород. Сократят финансирование. А может, совсем его прекратят. Кто-нибудь из недоумков скажет: денег у государства нет. Хотя в действительности — всё это реализация давно разработанных планов. Зина! — громко позвал отец жену. — Сделай мне кофе! Ты кофе будешь? — спросил он Павла. Тот кивнул. — Мать, две чашки!

— Я уверен: избере́м Ельцина президентом — он наведёт порядок, — твёрдо заявил Павел.

— Не для того его надувают, чтобы позволить остановить разрушение. Им не нужен Советский Союз. Единственное, что пока тревожит — ядерное оружие должно быть под контролем. Я, конечно, не считаю, что во всём виноваты только наши коллеги за “бугром”. Тут как с человеческим организмом. Здоровый он — никакая зараза к нему не пристанет. А наш — больной, распатан. Любой чих со стороны вызывает новое воспаление. И никаких сомнений у меня нет: главный разрушитель организма — Горбачёв.

Генерал задумался. В последнее время он наблюдал за Горбачёвым только с профессиональной точки зрения. Во время отдыхов на Северном Кавказе выстраивал контакты с людьми, работающими в Ставропольском управлении КГБ. Возвращаясь в Москву, на нейтральных территориях сходилась с теми, кто знал Горбачёва раньше. Копил сведения аккуратно, не привлекая внимания, поскольку был хорошо осведомлён, что всякий интерес к “чужой деланке” даже со стороны своих кадровых сотрудников вызывал у коллег в “конторе глубокого бурения” настороженность. Взвешивал факты, сопоставлял их, и, как у художника, складывающего кусочки смальты, изпод рук постепенно выходит мозаичная картина, так у него, опытного аналитика, вырисовывался всё более ясный психологический и поведенческий портрет Генсека — Президента. При этом те детали биографии, которые для другого человека не имели значения, здесь оказывались знаковыми и определяющими, как очертания фундамента будущего дома. В комсомольской юности Горбачёв участвовал в художественной самодеятельности. Те, кто его видели тогда, утверждали, будто в сценках он умел моментально изображать диаметрально противоположных персонажей. Мастерство перевоплощения было настолько поразительным, что некоторые не сомневались в большом артистическом будущем Мишки Горбачёва.

Этот артистизм пригодился ему в политике. Каждый, кто общался с Горбачёвым, видел его разным и в то же время в чём-то одинаковым. Он был увёртлив с элементами откровенной лживости и тут же мог изящно одеть ложь во фрак полупристойности. Был грубым матерщинником и приветливым обаяшкой. Располагал к себе бесконечным потоком слов и отгаликивал их звонкой пустотой. Он был, как гранёный стакан, каждая грань которого выкрашена отдельной краской. При этом краска была замешана на чём-то вроде ртуты — так порой неуловимо переливались цвета.

Но, как у стакана главным свойством был объём, так у Горбачёва главной его сутью была непомерная, бесконечная влюблённость в себя, вера атеиста в обожествлённое своё предназначение. Только сносно фундамента для этого не имелось. Всё самомнение держалось на зыбком, как плывун, песке апломба.

Отец хотел, чтобы Павел понял его тревогу и не обольщался ни насчёт Горбачёва, ни насчёт Ельцина.

— Он провинциальный интриган — наш Президент, — сказал Василий Павлович. — При этом я нисколько не хочу обидеть провинциалов вообще. Как раз из них, в большинстве своём, хоть у нас, хоть в других странах, пополняется государственная, культурная и прочая элита. Не зря говорят: великие люди рождаются в провинциях, а умирают в столицах. Но некоторые, даже попав по воле случая в элиту, остаются глубокими провинциалами. Вот наш — такой. Слабовольный, неискренний, недалёкий и вообще — мелко-масштабный. А мнит из себя великого. Он думает всех обвести вокруг пальца, а его самого за палец водят. Смотри, как отбирает у Горбачёва власть Ельцин! Вот кто беда для страны. Генсек мог много раз приручить Ельцина, использовать его властолюбие в своих целях, в конце концов, дезавуировать вырастающего громилу. Фактов — на десятерых хватит. Не сумел. Жидковат и глуповат. А Ельцин, считай, выхватил государственную авторучку у самонадеянного нашего трепача, превратил её в суверенитетный лом и крушит им остатки целого.

Но я ещё раз, Павел, хочу тебе сказать: если б не было активной работы иностранных спецслужб, то не было бы такой глубины развала. Они не прекращали этой работы все последние десятилетия. Андропов ещё в 77-м году секретной запиской информировал Цека партии о главных её направле-

ниях. Он тогда официально предупреждал, что американская разведка ведёт масштабную и активную вербовку агентов влияния из наших граждан. Не считаясь с затратами, ищет людей, которые по своим личным и деловым качествам смогут потом занять высокие административные должности. Их собираются обучать и постепенно продвигать в сферы управления политикой, экономикой и наукой.

А через четыре года, вскоре после прихода к власти Рейгана, началось масштабное наступление на нашу советскую систему. Тогдашний директор ЦРУ Уильям Кейси в первом своём докладе президенту представил не только подробные сведения о состоянии обороны Советского Союза, его экономике, золотовалютных запасах, но и самые секретные материалы о завербованных людях, а также об агентах влияния в наших государственных структурах. Кейси сказал президенту: “Наступила благоприятная ситуация для нанесения ущерба Советам. Мы можем ввергнуть в полный хаос их экономику, взять под контроль и оказывать влияние на развитие событий в обществе и государстве. Нужны тайные операции, которые организуют движение сопротивления. Эти методы могут дать больше результатов, чем снаряды и спутники”.

Рейган прислушался к рекомендациям Кейси и других руководителей спецслужб. Через два года — в 83-м, он подписал секретную директиву, которая определила стратегическую цель США. Она называлась: “фундаментальное изменение советской системы”. Главным здесь было создание “внутренних оппозиционных сил”. Для этого уже в первые два года федеральный бюджет выделял по сто пятьдесят миллионов долларов. Из них, обрати внимание, восемьдесят пять миллионов шло на подготовку кадров для будущих оппозиционных движений, на оплату услуг агентов влияния, на их поездки за границу.

— Нашли на што тратить, — поморщился Павел. — Агенты влияния... Нестеренко называет агентом влияния Карабанова. Если все такие, как Сергей, то не в коня корм. Ну да, он не перестаёт хвалить американскую жизнь, но ведь он там был. На кого он может повлиять — доктор городской больницы?

— Да хоть на тебя. На вашего учителя. На Андрея бровастого.

— Ну, на меня где сядешь, там и слезешь! — вспыхнул Павел. — А остальные тоже не мальчики. Особенно Вольт... Камень... валун.

— С паршивой овцы хоть шерсти клок. Тем более доктор городской больницы. Через его руки и разговоры проходит много людей.

Василий Павлович аккуратнo отпил глоток кофе.

— Такой интенсивной работы иностранных разведок на территории нашей страны не было, наверно, со времён Гражданской войны. Агентуру не пробует заслать только самый ленивый. С мусульманами, кроме традиционных британцев и американцев, работают под разными прикрытиями специалисты из мусульманских стран. С молдаванами — румыны и более дальние европейцы. С прибалтами — весь букет из Старого и Нового света. Недавно я прочитал записки одного нашего разведчика, долго работавшего в ЦРУ. Его выдал кто-то из перебежчиков. Он говорит, что в СССР ещё несколько лет назад работало больше шпионов ЦРУ, чем за всю историю этого ведомства. Доступ к секретам нашей страны был просто невероятный. Ты знаешь, шпионов в разведках мира называют “кротами”. Так вот эти “кроты” прорыли ходы во всех отраслях, из-за чего советская система, по его остроумному определению, была похожа на кусок швейцарского сыра. Шпион сидел на шпионе. В сфере обороны, экономики, науки, государственного управления. Проникли в КГБ, ГРУ, Кремль, научно-исследовательские институты.

— А ваши-то люди где? — удивился Павел. — Разучились “кrotов” и мышей ловить?

— Ловим. Берём количество и качество. Несколько лет назад основательно порвали их сеть. Взяли десятки агентов. Не только новичков. Некоторых — со стажем в двадцать-тридцать лет. К сожалению, работали и в наших органах. В разведке. В контрразведке. Об этом писали... Мы тоже с тобой говорили. Их фамилии сейчас известны. Но есть ещё один пласт,

и наши чувствуют, что здесь их тормозят. Причём сверху тормозят. Самый главный.

— Крючков?

— Есть поглавней Крючкова.

Павел догадался, что отец имеет в виду Горбачёва.

— Недавно Крючков пришёл к нему с серьёзными материалами по поводу разветвлённой сети агентов влияния. Сам понимаешь, наши профессионалы работали не один день. Из материалов следовало, что цель этих людей — ликвидация существующего государственного строя. Крючков пришёл за разрешением продолжить разработку, поскольку следы вели к очень известным личностям. Пришёл не мальчишка с улицы, не сплетник, которому кто-то что-то нашптал. Его можно подозревать в недостатке жёсткости и решительности — не Бонапарт, конечно, и не Жуков. Кабинетный аналитик. Но до того, как стать председателем КГБ, он четырнадцать лет руководил нашей внешней разведкой — одной из лучших в мире. Это о чём-то говорит? И пришёл не к Мишке-соседу пива выпить. Пришёл к президенту страны, которая уже крошится. Горбачёв отбросил досье и запретил вести дальнейшую разработку сильно засвеченных людей. А половина ельцинского окружения, если не больше... самые агрессивные депутаты — союзные и российские — из этих списков. Они ездят в Штаты, ФРГ, в Англию, как на заработки. Потом здесь отработывают полученное. Раньше контактов советских людей с иностранцами было мало — согласен с тобой, может это не совсем хорошо.

— Это совсем плохо.

— Ладно, ладно. Теперь каждый едет, куда хочет. По вызову... по приглашению... Но едут-то не рабочие и не крестьяне. Кому они нужны? Их не приглашают за счёт принимающей стороны. Приглашают тех... делают вызовы, встречаются в аэропортах, поят-кормят бесплатно... тех зовут, кто подаёт надежды, как возможный организатор масс, кто будет потом проводить в своей стране, то есть у нас, политику борющихся с нами государств. Ты, наверно, не знаешь... к сожалению, многие тоже не знают, что американским конгрессменам запрещено получать подарки ценой больше 50 долларов. Они не должны позволять кому-то — хоть раз! оплатить их проезд на самолёте или в поезде. Не имеют права жить в гостиницах за чужой счёт. Это считается нарушением парламентской этики и рассматривается как подкуп американского государственного деятеля. Конгрессмена могут лишиться мандата.

А что творят наши депутаты из Межрегиональной группы и “Демократической России”? Летят-едут за счёт иностранных организаций. Живут и кормятся за деньги принимающих структур. Да ещё берут наличными. Им, разумеется, говорят, что это гонорар. За выступление в каком-нибудь институте... Вроде “института Крибла”... Слышал про такой?

— Нет.

— Но по размеру гонорар похож на взятку, а по существу — на подкуп. Пять тысяч долларов за полчаса. Или семь тысяч... А потом — часы занятий с опытными инструкторами. “Институт Крибла” поработал в Венгрии и Польше. Результаты известны. Теперь развернулся у нас. Знаешь его задачи? Подбирать в СССР людей, недовольных существующим строем. Его представители ходят на митинги, смотрят телевизор, слушают, кто что говорит. Наиболее перспективных приглашают, учат, как организовывать оппозиционные структуры. Потом помогают объединяться в массовые движения. Роберт Крибл не скрывает цели. По его же собственным словам, он хочет “посвятить свою энергию развалу Советской империи”. Как тебе эта цель? По закону Соединённых Штатов любая политическая или общественная организация, если она ставит задачу разрушения целостности США, объявляется антиконституционной, и на этом ей приходит конец. Учредители и организаторы преследуются в уголовном порядке.

А Горбачёв сдал криблам Восточную Европу и теперь готовит к этому Союз. Как малыша конфеткой, кушили нобелевским лауреатством. Присудили Нобелевскую премию мира! Сияет дурачок с конфеткой. Вместо того, что-

бы принять жёсткие меры против агентуры, оберегает её. Боится, как бы она не обратилась за помощью к своим учителям и хозяевам. Те сразу поднимают крик: “В Советском Союзе душат демократию!”, “КГБ возрождает тридцать седьмой год!” Для Горбачёва самое страшное — потерять популярность на Западе. В своей стране его ненавидят — и патриоты, и демократы, и просто народ без политической окраски — это он переживёт. Им должны восторгаться на Западе. Поэтому у нас одни ученики криблов призывают разрушить государство с парламентских трибун, а другие — готовят к этому массы. Смотри: опять начались шахтёрские забастовки. Теперь — с политическими требованиями. Думаешь, без участия подготовленных организаторов? Как бы не так! Один не вылезит из Израиля. Другие — из Штатов. Сейчас они здесь. Потому что нужны.

— Но, чёрт возьми, отец! Разве можно так жить, как живут шахтёры? Недавно прочитал: им мыла негде купить! Грязные... чёрные, как негры, идут домой. Власть сама делает всё возможное, чтобы оттолкнуть народ от себя.

— Тут ты прав, — помрачнев, согласился Василий Павлович. — У нас власть то и дело своими действиями отталкивает народ. И толкает к тем, кто не пожалеет потом ни народа, ни страны.

— Никакие агенты столько не натворят, — осуждающе проговорил Павел, — сколько сделали партократы во власти. Это ведь против них поднимаются люди в республиках. Я вот хожу на митинги — меня разве шпионы в спину толкают?

— Не знаю, кто толкает тебя — может твой доктор, может амбиции. У каждого свои причины. Но на то и профессионалы, чтобы частное объединить в общее. Несколько человек могут быть абсолютно разными по образованию, возрасту, привычкам, вкусам. Вроде ничего объединяющего! Кроме одного фактора: работающей близости от их дома фабрики. Одному не нравится шум. Другого — расстраивает вид фабричных корпусов из окна квартиры... Третий боится за ребёнка — запахи производства могут повлиять на его здоровье. У четвёртого-пятого свои причины для недовольства фабрикой. Но есть шестой... Его наставникам не нужна продукция этого предприятия. Она — оборонного значения. Если производство ликвидировать, можно получить некое преимущество. Бороться за ликвидацию фабрики, как предприятия ВПК, шансов победить немного. Нужна более благородная причина. Экология! Борьба за улучшение экологии может привести к закрытию предприятия. На этой платформе объединяются все недовольные фабрикой. И хотя причины недовольства у всех разные, цель сходится.

Особенно хорошо получается, если человеку какой-то национальности раз за разом внушать, будто его проблемы идут от людей другой нации, которые захватили его землю, построили зловредную фабрику и вообще являются оккупантами.

А ведь именно так начинали формироваться “народные фронты” в Прибалтике и других республиках. Ты, может быть, не знаешь — на первые экологические митинги в Литве, Эстонии, Латвии приходило по десять — двенадцать человек. Всего! Но когда из-за границы начали приезжать специально подготовленные эмигранты — наши люди знали их, только не было команды вмешиваться... вот тогда из искр стало заниматься пламя.

— Мне кажется, отец, ты сильно преувеличиваешь значение разных этих сил, — усмехнулся Павел. — Эмигранты... Агенты влияния... Над нашей политической системой висит рок. Она была зачата в грехе... в крови. И вот теперь всё возвращается к исходной точке. К тому началу. Тогда судьба выбрала царя — слабого, безвольного, нерешительного. Теперь она вытащила из колоды Горбачёва. Такой же пустой. Так же нет воли. Да она и не должна быть у человека, чья высшая задача — разрушить всё, на чём держится Система.

— Мне жалко тебя, — сказал отец, вставая, чтобы отнести пустую чашку. — Ты не видишь беды за ближайшим углом.

— А я думаю, ты сильно сгущаешь краски.

Тогда они с отцом опять расстались раздражённые друг другом, и вот теперь слова нового охотника, приглашённого Волковым в их команду, напомнили Слепцову об этом.

— Вы же прогрессивный человек, Виктор, — сказал он. — Я читал вас... Слушал по телевизору. Вы сами призывали к переменам. А теперь хотите остановить их? Вернуться в отвратительную недавнюю жизнь? Похоже, вас всё в ней устраивало, если вы так недовольны демократией.

Волков и Нестеренко с изумлением уставились на Слепцова. Чтобы Павел выдал зараз такую длинную речь — это было редкостью. Да и сам экономист, закончив осуждение журналиста, вроде как скис. Насушился, глаза совсем ушли в провалы. Однако Савельев, не зная Павла, на это не обратил внимания. Он передал Адольфу налитую Валеркой стопку, следующую поставил перед собой и спокойно сказал:

— Мне много чево не нравилось и не нравится в нашей стране. Например, я ненавижу советскую домостроительную архитектуру. Прежде всего — за внешний вид. Это не дома для жилья людей, а какие-то тюремные бараки, где отбывают срок. Человек должен с детства, с рождения видеть вокруг себя красивое. В том числе — архитектуру. А што он видит, когда идёт в садик? Унылые, однообразные, какие-то убогодичные панельные коробки. Каждая похожа на соседнюю, та — на следующую... Ужас! В них не только по пьянке запутаешься, как в “Иронии судьбы”. Трезвый дорогу не найдёт к своему дому. Разве среди этого убожества может эстетически развиваться человек? В Касабланке, когда мы там были — это в Марокко город, сопровождающая дама рассказывала, будто одно время указом ихнего короля запрещалось строить новые здания, если они похожи на существующие. И добавляла: архитектору отрубали голову.

— Ни хрена себе! — воскликнул Нестеренко. — И што — все непохожие?

— Ну, я думаю — это не так. Есть кварталы, где дома действительно разные. А на окраинах — всего хватает. Но сам подход меня устраивает.

— Давайте-ка выпьем за всё хорошее, — сказал Адольф, с улыбкой глянув в угол избы, где лежал щенок. — А то водка прокиснет.

Выпили. Стали закусывать.

— Это насчёт того, што нравится — не нравится, — проговорил, дожёвывая, Савельев. — Мне не нравилась избирательная система. Собственно, выборов-то и не было. Я выступал против отсутствия политической состязательности. Когда правит одна партия, больше возможностей для злоупотреблений со стороны её ставленников во власти. Надо иметь такого лидера, штоб сам был кристально честный, другим не давал зарываться и видел жизнь на десятилетия вперёд.

— Как Сталин, — заявил Нестеренко. — После смерти оставил подшитые валенки и 137 рублей на книжке. А страну с атомной бомбой.

Все разом посмотрели на него, и по взглядам каждого было видно, как они отнеслись к реплике Андрея: от явно ненавистного у Карабанова до сочувственного у деревенских.

— Но уж, конечно, не как Горбачёв, — сказал Савельев. — Так што меня далеко не всё устраивало. Власть переставала чувствовать народ. Не помню, у кого-то хорошо сказано: “Вышли мы все из народа. Как нам вернуться в него?” В партийных верхах разрасталась мафия... Особенно в республиках... Вот ей, этой мафии, не нужно было обновление социализма. И, насколько хватало моих возможностей — они, правда, тогда были не очень велики, я старался об этом говорить. Только при этом выступал — и сейчас выступаю! — не за разрушение всего нашего здания, а за его ремонт. В чём-то даже за капитальный ремонт. Но не за снос! Фундамент у здания хороший. А сейчас всюду идёт разрушение. Национально-партийная мафия и стала главным агентом влияния. Я понимаю, што вы солидарны с товарищем (он показал на Карабанова) в оценке прибалтийских и других суверенитетов. Ну, как же! Право республик на отделение. Демократический



принцип. Главные демократы земли — Соединённые Штаты поддерживают это. А вы знаете, из-за чего началась у них кровопролитная гражданская война в девятнадцатом веке?

— Это знает каждый школьник, — бросил доктор, обиженный тем, что Савельев не назвал его по имени, а просто показал пальцем. — Демократы — северяне пошли освобождать рабов на Юге.

— Вы спросите об этом у их школьников. Они вам точнее скажут. Одиннадцать южных штатов провозгласили суверенитет, а президент Авраам Линкольн расценил это, как мятеж. Нарушение территориальной целостности. Освобождение рабов сюда вплели намно-о-го позднее. Южане вышли из Союза штатов, создали свою Конфедерацию, приняли Конституцию, образовали собственное правительство и определили столицу. Разве не имели права? Сорок процентов общей территории, население девять миллионов — по тем временам и уровню заселённости это могло быть крупное государство. Но ради восстановления целостности Союза Линкольн начал войну. Между прочим, самую кровавую в истории этой страны. Около миллиона погибших и раненых. Зато сохранил государство.

— Да-а. Это не “пятнистый”, — с огорчением сказал Нестеренко.

— И сейчас попробуй там кто-нибудь заговорить об отделении. Сепаратизм — самая осуждаемая федеральной властью тема. Индейцы лет тридцать назад хотели на своих исконных землях провозгласить нечто вроде республики. Выйти из состава США. Их убедили, што этого делать нельзя. Автоматами убеждали.

— А кто такие агенты влияния, Виктор? — спросил Адольф, обратив к журналисту большую, раскрасневшуюся от тепла и вышитого физиономию. Он, похоже, продолжал политически развиваться и не мог оставить невыясненным для себя незнакомый термин. — Зимой Андрей о них говорил. Теперь вот ты. Эт кто такие? Шпионы?

— Ну, да. Вроде Валерки иль Николая, — с насмешкой вставил раньше Савельева доктор. Он почувствовал в этом моложавом, может чуть старше его самого, мужчине с небольшим капризным подбородком и пристальным взглядом светло-карих глаз явного противника и внутренне ощетинился. — А вообще, Адольф, — это выдумки кэгэбэшников.

В Савельеве странным образом уживались порой несовместимые человеческие свойства. Он мог быть простецким, своим в доску мужиком, доступным, не чванливым, сразу начинающим общаться на “ты” с любым человеком, независимо от социального статуса, если человек ему нравился, и вместе с тем — держать дистанцию, не идти на тёплый контакт с людьми, с которыми, казалось, был “одного поля ягода”. При этом нисколько не переживал от того, что может выглядеть в их глазах высокомерным и даже надменным.

— Ты его не слушай, Адольф, — показал на Карабанова Савельев. — Это не так. Товарищ заводит рака за камень. Никакие это не выдумки. К сожалению, самая реальная опасность. Шпиона, рано или поздно, можно поймать с поличным. А этого даже разоблачить трудно. Агент влияния — это человек, который занимает, как правило, заметную должность в государственных органах управления, в руководстве важными структурами, является общественно значимой личностью. Он даже может не красть секретов. Его задача другая — воздействовать на сознание своих сограждан в нужном для враждебного государства направлении. Мнение этих людей влияет на настроение общества. К ним прислушиваются, а если человек к тому же руководитель, выполняют его указания.

Некоторых агентов влияния готовят издалека. Иногда, с молодых лет. При этом тщательно анализируют его психологические и деловые возможности. Помогают карьерному росту.

В закрытых обществах агенту влияния работать трудней. Его особое мнение, идущее вразрез с общепринятым, довольно быстро становится заметным, привлекает внимание разного рода аналитиков. А в такой обстановке, как сейчас — сплошная лафа́. Кипит гласность, каждый может выразить своё мнение. О стране, о её политике, о прошлом, о том, как должна поступить власть в том или ином случае.

Только при этом иногда возникает вопрос: его ли эти мысли? Или кем-то внушённые и он выступает в роли ретранслятора чужих идей.

Некоторые не понимают этого. Их, как говорится, используют втёмную. Но большинство прекрасно знают, что делают. В Союзе с ними встречаются и ведут соответствующие беседы на посольских приёмах. Лучше, когда встречи удаётся организовать на каких-то нейтральных мероприятиях. Однако сейчас наиболее активная работа переместилась за границу. Если это политики, вроде сегодняшних депутатов, их приглашают от имени различных общественных организаций. Если учёные, то могут использоваться зарубежные форумы, научные семинары. Там легче не только донести до конкретного человека нужную информацию, определить задание и методы его исполнения, но и материально поощрить пропагандиста иностранной тайной политики.

— Всё это бездоказательный разговор! — прервал Савельева Карабанов. Большой лоб его покрыла лёгкая испарина, щёки обвисли, но серые глаза смотрели холодно-сталисто. — Никакой конкретики. Может, вот их, — показал на сидящих близко друг от друга егеря и его помощников, — такая лекция убедит. А для меня — пустой звук. Фактов нет. И быть их не может.

— Будут факты, будут. Хотя лучше б их не было.

— Нашего Карабаса, Витя, никакие факты не убедят, — сказал Нестеренко. — Всё советское, даже если оно белое, для него обязательно будет чёрным. Потому что не американское.

— Не приставай, Андрюха, к Сергею, — остановил электрика Волков. — Пусть Виктор говорит.

— Товарищ хочет конкретики, — повысил голос Савельев, — она есть. Но сначала ещё несколько общих, как тут сказано, рассуждений. Может, для них (тоже показал на Адольфа с деревенскими). А может, и другим будет полезно. Очень ценны в качестве агентов влияния интеллигенты, деятели культуры, популярные журналисты и особенно — руководители средств массовой информации. От них — от последних — зависит, что опубликовать и показать, кому предоставить слово, которое, как известно, самое мощное оружие. Ещё древние говорили: словом можно убить и словом можно вылечить. Недаром в Евангелии от Иоанна сказано: “В начале было Слово...” То есть, предтечей всех дел — хороших и плохих — является Слово. И вот тут мы с вами подходим к главному оружию агентов влияния — Слову. С чего, например, начался карабахский конфликт? Со слов, кому исторически принадлежит земля. Именно слова националистов и провокаторов стали первопричиной тектонических сдвигов в отношениях двух народов: армян и азербайджанцев. А как сейчас взрывают тамошнюю обстановку агрессивные слова Старовойтовой о том, что Карабах, являющийся административной частью Азербайджана, на самом деле — исконная территория армян! Вот он пример реальной работы агента влияния.

— Это толстожопая такая баба? — изобразил Адольф руками очень большой объём.

— Она. Одна из главных разжигателей пожара в Закавказье. Первый раз появилась в Нагорном Карабахе в 84-м году. В экспедиции с американцами. Спустила некоторое время заговорила. И сразу с определённым акцентом. В феврале 89-го написала в одном журнале, что Нахичеванская АССР, расположенная в сердце Армении, подчинена Азербайджану, хотя не имеет с ним общей границы. Это как надо было понимать?

— Как тонкий намёк на толстые обстоятельства, — брякнул Валерка.

— Ещё какие толстые! Армяне на “ура” внесли её в народные депутаты СССР. Своих кандидатов завалили, а Старовойтову избрали. Козе понятно, где больше стратегической выгоды! То ли армянин станет выдвигать территориальные претензии к соседнему народу. То ли русская депутатка, ну, правда, не совсем русская, но, по крайней мере, не армянка, будет рупором экстремистов. Она им сразу же и стала.

Савельев вспомнил эпизод двухлетней давности. Тогда, весной 1989 года он отправился в Ленинград. После двух организованных им встреч вновь избранных народных депутатов СССР — сначала в редакции своей газеты, потом — у профессора-офтальмолога Святослава Фёдорова в его Центре

“Микрохирургия глаза”, куда собралось уже не шесть, а двенадцать избранников, он ехал в “северную столицу”, чтобы участвовать в первой такой же встрече ленинградских депутатов. В вагоне увидел Михаила Полторанина. Попросились у проводницы в пустое купе. Выпили за начало дороги коньяку и заговорили о депутатах. Виктор ещё был увлечён Ельциным, но какие-то подспудные, интуитивные ощущения уже начинали его беспокоить. И связано это было с тем, на кого опирался Ельцин, к кому он наклонял слышащее ухо. “Мне кажется, с ним надо быть осторожней, Миша. Он не тот человек, какой нужен демократии. Погляди на его окружение. Сплошные экстремисты. Бурбулис — этот марксист с физиономией средневекового монаха-иезуита. Вчера служил одной церкви, сегодня — другой. Дай ему волю — недавний товарищей, не дрогнув, сожжёт на костре. Я уж не беру Старовойтову — вот провокаторша! Не зря говорят: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты”. “Ты што, старик! — бурно возразил Полторанин. — Вы все плохо знаете Борис Николаича. Это — настоящий демократ! Почему к нему тянутся такие разные люди? Потому што сам он разный. Он — их человек. А как отделить, Витя, мусор от хорошего, когда в водоворот тянет всё подряд? Недавно я услышал, как Старовойтову называли “цинковой леди”. Косит под Тэтчер. Но не тот металл. Она поставила на армянских националистов. Её там, как ты знаешь, избрали депутатом. Теперь их агент. Когда меня, после снятия Ельцина, убрали из “Московской правды”, я съездил от АПН в командировку в Армению и Азербайджан. Написал несколько статей. Показал, что бучу затевают армяне. Мне говорили: она кипятком в сортире брызгла — в такой была злости. А когда стали депутатами, нашла меня на съезде. Такой тенденциозности я, кажется, никогда не встречал. Она даже не допускала мысли выслушать азербайджанских историков и учёных”. “Может, не понимала, куда её кривая выведет?” — спросил Савельев. “Нет, старик! Такие люди понимают, что делают. Она ведь стопроцентный агент влияния! Только неизвестно, чей больше”.

С того разговора прошло всего два года, а Савельеву сейчас показалось, будто происходило это несколько лет назад — так много всякого случилось за столь короткое время. Вскоре после поездки в Ленинград он стал продвигать Ельцина в председатели Комитета конституционного надзора СССР. Не сложилось. Полторанин потом это объяснил намерением Ельцина “получить гораздо больше”. Чего больше, Савельев тогда не понял. Однако дальнейшие события стали кое-что объяснять. Верховный Совет Союза не без труда принял закон о Конституционном надзоре. Против него протестовали депутаты из Прибалтики. Они понимали, что новый орган может пресечь их сепаратистские намерения. Но выступали против и межрегионалы. В том числе Ельцин. Получалось, что он заодно с разрушителями, вроде Старовойтовой, которая прямо сталкивала две республики, и уже не собирался защищать Конституцию союзного государства? Это ещё больше удивило Савельева. И вот теперь он, по сути дела, рассказывал людям о своём собственном прозрении, о той науке, которую преподносила стремительно меняющаяся жизнь.

— Вы ж понимаете, вооружённый конфликт между Арменией и Азербайджаном — это удар по Союзу, — хмуро сказал Виктор. — Люди думают: если государственная власть в Москве не может навести порядок на окраинах, то зачем нам такое государство? А разные “мыслители” — агенты ещё активней подсказывают: правильно, правильно думаете. Теперь боритесь за независимость. Когда в Карабахе армяне подняли возню, азербайджанцы тоже решили, что они не пальцем деланные. Быстро появился “народный фронт”, на митингах заорали активисты. Всё получалось вроде бы стихийно... Народ как будто сам поднялся... Только на площадях Баку, над толпами азербайджанцев, почему-то стали развеваться флаги соседней Турции. Другого государства! Это как? Случайно в магазины завезли?

Поэтому не будьте, Сергей, наивны. Агенты влияния иногда ходят рядом. Недавно в редакции разругались с товарищем. Именитый журналист. Очень одарённый. Только талант его в последние годы стал заметно поворачивать в сторону интересов других стран. Последний случай нас совсем развёл. На Украине тоже громко заговорили о самостоятельности. Националисты не

скрывают, что будут требовать убрать из Севастополя Черноморский флот. Жители Крыма, предвидя развитие событий, провели свой референдум. Раньше всесоюзного. Почти поголовно проголосовали за воссоздание Крымской республики и вхождение её в состав Российской Федерации, если Украина будет настаивать на выводе флота. Как можно России, если, конечно, произойдёт это сумасшествие — разделение страны! — остаться без флота на таком стратегически важном море?

А мой коллега пишет одну за другой несколько заметок, где называет глупцами тех, кто настаивает на сохранении флота. Высмеивает их — это ведь легко делать, когда знаешь, что тебе не могут тут же ответить. Словами... Или по морде кулаком... Выводит чуть ли не дебилами и пытается доказать, что Чёрное море сейчас потеряло своё геостратегическое значение. “Кому она нужна — эта грязная лужа? — вроде как с недоумением спрашивает он. — Надо отдать её тем, кто захочет с нею возиться”. И повторяет из заметки в заметку: “Чёрное море — грязная лужа. Россия должна отказаться от неё”.

— Ничё себе! — поразился Нестеренко. — Он сам-то не дурак, случайно?

— Нет, он умный, Андрей. И хорошо осведомлённый. Горбачёв уже развалил Варшавский блок. Болгария, Румыния выходят на свои политические фарватеры. А они — черноморские страны. Куда повернут?

— Болгария-то ясно куда, — сказал Адольф. — Братя — славяне. Россия спасла их от турок.

— Да нет, не ясно. Болгария в Первую мировую воевала на стороне Германии. Против нас. И во Второй — была с немцами. Всё зависит, Адольф, не от народа, а от политиков. Какую песню они запоют, такую и народ будет подтягивать.

Но эти страны могут оказаться, скорее всего, плацдармом. Турция — вот растущий, непростой сосед. Мы её долго не замечали. Знали, конечно, што член НАТО... Об интересах к нашему Закавказью тоже знали. С её территории шла всякая разведка против нас. А в военном отношении она особо не интересовала.

— Хотя в Отечественную был момент, когда мы Турцию боялись, — заметил Волков. — Если бы немцы взяли Сталинград, турки готовы были перейти границу. Мне тесть — он волгоградский — рассказывал.

— Да, было такое. Потом ситуация изменилась. А вот сейчас Турция быстро становится сильной военной страной. Я спросил товарища: знает ли он об этом? Знает ли, что турецкая армия — вторая по численности в Европе? Что Турция и покупает самое современное американское вооружение, и выпускает своё? Что её флот скоро может стать самым сильным не только на Чёрном море? Наконец, известно ли ему не очень скрываемое политиками этой страны стремление сделать Турцию такой же великой мировой державой, какой была Османская империя, и при этом вернуть многие прежние земли, включая Крым? “К чему ты призываешь? — спросил я его. — Чтобы мы оставили Чёрное море и отдали “эту грязную лужу” другим государствам? Их флотам и армиям? Чтобы ушли отовсюду и сжались до размеров России Смутного времени? Ты этого хочешь?” — в упор спросил я его. Он заявил, что это — его точка зрения, она имеет право на жизнь и, слава Богу, демократия даёт возможность не скрывать своих взглядов. Сейчас это главный аргумент всех агентов влияния: “Я так вижу!” Может, это действительно его искренняя позиция. Может, не враг он, а заблуждается. Вполне возможно, пройдёт время, и он поймёт, что ошибался. Но станет ли от этого легче сотням тысяч... миллионам людей, которые поверили в прозорливость известного человека и не приняли необходимых мер самообороны?

Савельев замолчал, потянулся к тарелке с грибами. Не сговариваясь, городские охотники старались не особо налегать на деликатесную еду — пусть деревенские побалуются, думал каждый. Зато солёные грибы, а Дмитрий выставил три вида их в разных тарелках: черные грузди, рыжики и опята, квашеная капуста — порубленная и разрезанный пополам вилком, мочёные яблоки, сало — мраморное, с розовым отливом, и жареная картошка на огромной сковороде — эту еду под монолог Савельева все уминали с большой охотой.

Виктор тоже, наконец, решил дорваться. Пока он ел, Адольф с интересом глядел на журналиста, подавляя мучивший его — это было хорошо видно по красной физиономии егеря — какой-то вопрос. Едва Савельев приостановился, Адольф подался к нему.

— Скажи мне, я правильно понимаю, што теперь за Союз можно быть спокойней? После референдума... Люди в большинстве — за его сохранение. Ну, кто не хотел участвовать, с теми можно разбираться. Вон как тот американский президент сделал. А говорят — там демократы. За таких демократов и я б пошёл. Вместе с Валеркой. Да, Валерк?

— Я за нынешних.

— Ну, и дурак. А с Союзом, Виктор, будет нормально?

— Вообще, воля народа — это высший закон. Нарушить его нельзя. Теперь многое зависит от Горбачёва.

— Больше от Ельцина, — сказал Карабанов. — Он настоящий лидер России. Призвал не поддерживать референдум, и многие не пошли. Призвал голосовать “против”, и двадцать один миллион российских избирателей поставили “нет” в своих бюллетенях.

— Зато восемьдесят миллионов сказали “да”, — перебил Адольф, снова удивив всех своей политической продвинутостью. — Один к четырём.

— Примерно как здесь у нас, — слабо проговорил Слепцов. Сказал это совсем тихо, словно про себя, но Волков услышал.

— Что ты имеешь в виду? — с подозрением спросил он.

— Он говорит, что из девяти, сидящих тут, двое голосовали “против”, — заявил Карабанов.

Все, кроме Слепцова, уставились на доктора.

— Вы с Пашкой голосовали против сохранения Советского Союза? — с нарастающим изумлением спросил Волков. — Зачем?

— А то непонятно, зачем! — вместо доктора воскликнул Нестеренко. — Сделать из нас ещё один американский штат!

Электрик в злости, не дожидаясь никого, допил, что оставалось в его стопке, и вылез из-за стола. Он не мог сидеть рядом с Карабановым. Лежавший в углу горницы на подстилке щенок подбежал к Андрею. Встал на задние лапы, передними начал царапать грубую штанину. Нестеренко наклонился, взял его на руки.

— С Карабасом давно всё ясно, — сказал электрик в сторону стола. — Но ты-то, Пашка, куда лезешь? Родина, какая б ни была больная — её лечить надо... она ж ведь для нас своя. Эт для него (показал одной рукой на доктора, другой прижимая щенка) родина, наверно, везде. А тебе от неё отказываться — эт как от матери отказаться. Нам надо быстрее от пятнистой сволочи освободиться — вот самое первое, што надо сделать. От него все напасти. От его умишка маленького. А ты помогаешь тем, кто хочет сжечь дом, чтобы вывести из него несколько тараканов.

— Дом этот уже не спасти, Андрей, — сказал Слепцов, поднимая глазавпровалы на рослого Нестеренко — Такая у него судьба. Есть космическая предопределённость. Не случайно появился Горбачёв. Не случайно из-под него выбивает стул Ельцин.

— Опять ты про свои приметы! — скривился инженер-электрик. — Кошки... собаки... Сова, которая орала зимой... Судьбы людей решают земные силы! Были б в 85-м поумней те, кто тогда в Политбюро, они могли бы заранее разглядеть этого вертлявого недоноска. А будь посмелей, кто с ним рядом сейчас, мы бы уже давно пролили слёзы из-за преждевременной утраты. Горькие... Но с радостью. Нету, нету настоящих людей!

— Потому и нету, што судьба. Вы ведь никто не знаете... Даже не заметили, как на следующий день после избрания Ельцина главным в России — председателем Верховного Совета — в Москве произошло землетрясение. Думаешь, это случайность? А про сову... Сегодня ночью — вон они свидетели — нам опять явилась сова. И опять жутко кричала.

Мужики переглянулись. От слов Слепцова дохнуло каким-то мистическим холодом. Только Савельев, словно не слыша экономиста, хрустел вилоквой капустой, щурил от удовольствия глаза и сквозь прищур наблюдал за

шенком в руках Андрея Нестеренко. Ему нравился этот надёжный и, кажется, прочный характером мужчина. Они встречались неоднократно. Сначала реже, потом обоим встречаться стало интересней. Удивительно только, что почему-то оба ни разу не зацепили тему охоты. Видимо, сходные переживания за то, что происходило в стране, отодвигали на периферию интересов это волнительное для каждого увлечение. Поэтому, едва Волков сказал электрику, что хочет пригласить Савельева на охоту, как Нестеренко тут же позвонил журналисту. “Ты чево молчал, старик, што мы из одного племени?”

“Об этом мог спросить и я, — радостно выкрикнул Савельев. — Но теперь вдвойне приятно. В политике всегда нужен свой человек с ружьём”.

— Про то землетрясение в Москве известно, — сказал Савельев, вытирая вынутой из нагрудного кармана тряпочкой губы. — По-моему, даже наша газета дала об этом информацию. Но люди не обратили внимания. Эпицентр был где-то в Карпатах. К нам докатилась затухающая волна. С таким же успехом его могли считать своим в Калуге... в Туле... во Владимире. Разрушительных землетрясений здесь в принципе не может быть. Они происходят на стыках тектонических плит, когда одна напоздаёт на другую. А Москва стоит почти на середине плиты. Скажу вам больше. Каждый день на планете происходит около тысячи землетрясений. Но никто их не ощущает. Поэтому связывать землетрясения с грядущими государственными катаклизмами — это, знаете ли, Павел, из области фантазии. Даже катастрофические — не оказываются предвестниками ближайших бед. Ну, што такого эпохально страшного произошло после ашхабадского землетрясения в 1948-м году? Или после ташкентского в 1966-м? Ровным счётом ничево! А ведь они относятся к очень разрушительным.

До Москвы не раз доходили волны сильных землетрясений. Я читал у Карамзина в его “Истории государства Российского” о двух “землетрусах” в XV веке. Думали, конец света. Разрушения были, последствия — нет. В 1802 году, осенью, Москву потрянуло. Пять баллов. Треснула только стена какого-то погреба. Если говорить о заметных последствиях, то напугался трёхлетний Саша Пушкин. Он гулял в это время с няней в саду.

В наше время Москву тоже, бывало, трясло. Последний раз — все, наверно, помните — в 1977-м. Докатилась волна от Бухареста. Там — разрушения, у нас только качались люстры, падала посуда. И каких-то масштабных потрясений я не помню. Наоборот. Советский Союз выходил на вершину своего могущества.

Поэтому не природные явления предвещают беду, а люди, их действия. Такие действия, как ваши, Павел! Вместе с товарищем Сергеем. Вы добавили тротила разрушителям Союза. И мне, извините, не хочется стоять плечом к плечу на охоте с людьми, которые намерены взорвать мой дом.

Савельев встал и пошёл в сени. Там была его куртка, ружьё и сапоги.

## Глава восьмая

Яковлев дочитал последнюю страницу довольно обширного документа. Собственно, это был не один документ, а подборка врачебных и аналитических сведений о здоровье Ельцина. Материалы пришли из КГБ. Он их не запрашивал, но в Комитете знали об отношении Яковлева к председателю Верховного Совета России Ельцину и, видимо, решили подключить Александра Николаевича к обузданию разбушевавшегося оппозиционера. “Архитектор перестройки” мрачно покивал своим мыслям, закрыл папку. “Странно, — думал он, — кто не знает, видят богатыря, здорового физически и вообще...”

Подборка документов должна была порадовать Горбачёва. После провозглашения суверенитета России началась “война законов”. Ельцин призывал не выполнять союзные, а признавать только российские. Как это можно было сделать, никто не знал. Хаос в государственной и экономической жизни получил дополнительное ускорение.

Затем Ельцин открыто заявил о своих претензиях на власть и потребовал отставки Горбачёва.

Александр Николаевич поднял трубку прямого телефона с Президентом. “Могу зайти?” — “Заходи”.

Горбачёв почти всех называл на “ты”. Что это было? Стремление показать доверие, продемонстрировать близость, которой собеседник должен был дорожить? Или означало барское высокомерие, прикрываемое вроде бы народной простотой?

“Серого кардинала” он тоже звал, как всех, на “ты”, хотя относился, особенно раньше, с явным пиететом.

Как обычно, хромя сильнее, чем всегда, когда спешил — в приёмной Президента сидели люди, и его нельзя было задерживать долго, Яковлев прошёл к столу Горбачёва.

— Любопытный материал, Михаил Сергеевич.

Горбачёв открыл обложку, пробежал взглядом несколько страниц. Читал он быстро, как все документы. Там говорилось о длительных — на несколько недель — запоях, о попытках самоубийства, о разрушенном из-за пьянства здоровье. Михаил Сергеевич всё это знал. Ещё зимой 85-го года, незадолго до его избрания Генеральным секретарём, когда зашла речь о переводе первого секретаря Свердловского обкома партии Ельцина на работу в ЦК, председатель КГБ Чебриков информировал узкий “ареопаж”, что делать этого нельзя. Ельцин — тяжело больной человек, скоро могут быть проблемы. Из-за систематического, ставшего хронической болезнью, пьянства сильно подорвано сердце, разрушается печень и, что отмечалось особо, в состоянии алкогольного опьянения способен на неадекватные поступки.

Доклад председателя Комитета госбезопасности был рутинной процедурой. Существовало правило: при выдвижении человека на более высокий партийный пост принимать во внимание и сведения по линии КГБ. Поэтому различная информация, связанная, в том числе, с поведением партноменклатуры, чекистам поступала. Тем более, когда шла в мешке, как говорили в народе, утаить было нельзя. О пьянстве Ельцина и его “неадекватных поступках” в Свердловской области знали. Не все осмеливались рассказывать, помня мстительный, беспощадный характер Бориса Николаевича, но некоторые дикие выходки получали огласку.

В гараже каждого крупного обкома партии, кроме чёрных “Волг” для руководства и “Чайки” для первого секретаря, имелся представительский “ЗиЛ”. На тот случай, если в область приедет кто-то из руководителей страны или близких по статусу чиновников.

Но в Свердловске, кроме этого, был и так называемый “царский поезд”. Область большая, на машине не объедешь. А на поезде, да ещё в окружении заглядывающих в рот подчинённых, можно осматривать владения со всеми удобствами, с кухней на колёсах и ящиками спиртного.

Однажды зимой “царский поезд” двинулся из Свердловска на север области в городок Ивдель. Расстояние — полтысячи километров. Долго, с остановками ехали туда. Первый секретарь встретился с местным активом, кого-то хвалил, но больше ругал. Это он делать умел, “размазывая” человека до состояния прострации. Из Ивделя повернули назад, к столице Урала.

Ельцин шёл, начиная с утра. Сопровождающие должны были тоже участвовать. В какой-то момент первый обратил внимание, что не пьёт один из заведующих отделом. “Налить ему!” — скомандовал Ельцин. Завотделом в ужасе стал отказываться. Он видел, что шеф закипает яростью, но выпить не мог — у него ещё не утихла боль в печени. “Высадить из поезда!” — приказал первый секретарь обкома.

Бедолагу ссадили на занесённую снегом обочину пути, и он пошёл по шпалам.

На его счастье через пять километров показался полустанок. А Ельцин даже не вспомнил о своей выходке.

Горбачёв в раздражении отодвинул досье. “Чёрт-те што за народ у нас! Алкоголик, двух слов связать не может, а ему в рот глядят”. Он вспомнил, как первый раз увидел Ельцина невменяемо пьяным. Это была весна 85-го года. Полмесяца назад Михаил Сергеевич стал Генеральным секретарём. В Москве проходила сессия Верховного Совета СССР. По номенклатурной

иерархии все первые секретари обкомов избирались депутатами. Горбачёв посидел недолго в зале заседаний и вышел, чтобы уехать из Кремля на Старую площадь. Там, в Центральном Комитете, было по горло срочных дел — Генсек готовился к своему первому пленуму. Апрельскому.

Уже уходя по коридору, услышал сзади лёгкий шум. Обернулся. Из зала под руки выводили пьяного Ельцина. Он дёргался, видимо, хотел вернуться назад. Один из сопровождающих, увидав Горбачёва, смутился. “С нашим первым такое случается. Иногда перехватит лишнего... Но потом — ничево...”.

Какое оно, это “ничево”, теперь Генсеку было известно. А ведь его предупреждали. В декабре того же 95-го года Горбачёв вызвал к себе Председателя Совета Министров Рыжкова. Он хорошо узнал этого человека во время совместной работы в комиссии по модернизации страны, которая была создана распоряжением Андропова. Придя к власти, сразу назначил главой правительства. Теперь хотел посоветоваться.

В кабинете Генсека был Лигачёв. Михаил Сергеевич сказал:

— Настало время менять руководство Москвы. Вместо Гришина нужен крепкий и боевой товарищ. Мы с Егором обсуждаем возможную кандидатуру. Наше мнение: Ельцин. Ты его знаешь по Свердловску.

— Да, знаю, — согласился Рыжков. — Поэтому считаю: он абсолютно не годится для этой роли. Речь идёт об огромной столичной организации, где сосредоточена масса заводских рабочих и основная научная и творческая элита страны. Ельцин по натуре своей разрушитель. Наломает дров, вот увидите! Ему противопоказана большая власть. Вы сделали уже одну ошибку, переведя его в ЦК из Свердловска. Не делайте ещё одну, роковую.

Лигачёв заявил:

— Да, я содействовал его переводу в Москву. Я был в Свердловске. Мне понравилась его работа.

Рыжков расстроился:

— Я вас не убедил, и вы ещё пожалеете о таком шаге. Когда-нибудь будете локти кусать, но будет поздно.

Не послушал своего премьера Горбачёв. Отмахнулся и от других серьёзных оценок. Во время октябрьского пленума 87-го года в перерыве к Генсеку подошёл руководитель кремлёвской медицинской службы, главный кардиолог страны, академик Чазов. Он только что слышал, как Ельцина жёстко критиковали участники пленума. Поэтому с профессиональной тревогой наблюдал за самим Ельциным. Сломленным голосом тот трудно выговаривал, что “в целом с оценкой согласен. Суровая школа, конечно, для меня сегодня. Я подвёл Центральный Комитет, выступив сегодня. Это ошибка”.

Незадолго перед тем Евгений Иванович уже имел с Ельциным дело. Первый секретарь Московского горкома произвёл на него тяжкое впечатление. Эмоциональный, раздражённый, с частыми вегетативными и гипертоническими кризами. Но самое главное, как отметил Чазов, он стал злоупотреблять успокаивающими и снотворными средствами, увлекаться алкоголем. Надо было что-то делать.

Кардиолог обратился за помощью к психиатру. К самому лучшему, на его взгляд, — члену-корреспонденту Академии медицинских наук Рубену Наджарову. Консилиум признал у Ельцина не только зависимость от алкоголя и обезболивающих средств, но и некоторыестораживающие особенности психики. Однако тот резко отверг предложения врачей. “Я совершенно здоров и в ваших рекомендациях не нуждаюсь”.

Теперь, остановив Горбачёва, Евгений Иванович сказал ему: “Я сегодня невольно вспомнил медицинский консилиум по Ельцину. Были отмечены особенности его нервно-психического статуса — доминирование таких черт характера, как непредсказуемость и властная амбициозность”.

Горбачёв промолчал. А через три недели на пленуме Московского горкома Ельцин сам подтвердил заключения врачей: “В последнее время работало одно из главных моих личных качеств — это амбиция, о чём говорили сегодня. Я пытался с ней бороться, но, к сожалению, безуспешно... Я потерял как коммунист политическое лицо руководителя. Я очень виновен перед горкомом партии и, конечно, я очень виновен перед Михаилом Сергеевичем



Горбачёвым, авторитет которого так высок в нашей стране, во всём мире...”

После октябрьского пленума 87-го года у Генсека был разговор и с Громыко. Зубр советской дипломатии поинтересовался: какова дальнейшая судьба Ельцина? Услышав в ответ, что надо найти ему работу, предложил “отправить послом куда-нибудь подальше от нашей страны”. Горбачёв не согласился, однако при этом пообещал: “В политику я его не пущу”.

Теперь, похоже, скоро сам Ельцин будет решать: кого пускать, а кого не пускать в политику, подумал Горбачёв, глядя на лежащее перед ним досье.

Яковлев ждал решения. Наконец, спросил:

— Што делать, Михаил Сергеевич?

— А што хочешь, то и делай. Хочешь — отдай Ельцину.

Яковлев удивился, но не подал виду. Захромал к себе. Из кабинета позвонил по ВЧ Ельцину, сказал, что приедет. Тот буркнул что-то вроде: “Приезжайте”, и положил трубку. В красивом, как белый корабль, здании верховной власти Российской Федерации было, в отличие от прежнего времени,людно и шумно. Александр Николаевич поднялся на лифте, вошёл к Ельцину. Кивнул. Тот с неприязнью посмотрел на главного идеолога. Они ненавидели друг друга и оба знали об этом. Ельцин не любил Яковлева со времени своего короткого руководства Московским горкомом партии. Стараюсь всколыхнуть московское болото, как он называл городскую мафиозно спаянную власть, свердловский провинциал начал будоражить застой с помощью прессы. Главным орудием стала газета “Московская правда”. Но очень скоро и его ставленник Полторанин, и сам Ельцин почувствовали жёсткое сопротивление. Однажды Полторанина вместе с другими главными редакторами центральных газет вызвали на совещание в Политбюро ЦК партии. Покритиковали одно, другое издание, а потом обрушились на “Московскую правду”. Резче всех выступали оба идеолога: Лигачёв и Яковлев.

— Это не газета! — гремел Лигачёв. — Это антипартийное безобразие! Такие надо закрывать к чёртовой матери!

Идеолог — интеллектуал Яковлев, в отличие от своего простоватого напарника, дал образную оценку ельцинской газете.

— “Московская правда”, как крыса, подгрызает коммунистические основы. Даже затрагивает Владимира Ильича Ленина... С этим мириться мы не должны.

Все понимали: это порка не столько Полторанина, сколько Ельцина.

Потом Яковлев, вместе с другими, громил Ельцина на октябрьском пленуме ЦК партии. “Выступление ошибочно политически и несостоятельно нравственно... Это упоение псевдореволюционной фразой, упоение собственной личностью... Здесь у нас прозвучало, к большому сожалению, самое откровенное капитулянтство перед трудностями, когда человек решил поставить свои амбиции, личные капризы выше партийных дел”. Затем была травля Ельцина подконтрольными Яковлеву средствами массовой информации. После каждого очередного критического удара Ельцин темнел лицом, скрипел стиснутыми зубами, словно хотел их сгрызть, и некоторым его приближённым казалось, что, появившись в этот момент поблизости Яковлев, рослый, как медведь, Ельцин задушил бы рыхлого телом, хромого идеолога собственными руками.

Но и Александр Николаевич платил своему ненавистнику той же монетой. Ещё до получения этого досье он немало знал о тёмных сторонах ельцинской жизни. Его осведомители, а лучшими информаторами чаще всего являются журналисты, рассказывали Яковлеву о показушных “хождениях Ельцина в народ”. Проехав утром две-три остановки в набитом людьми городском автобусе, бросив несколько фраз о недопустимости транспортных привилегий для власти, “когда так страдает народ”, московский городской вожь выходил из автобуса и, дождавшись, когда тот уедет, садился в подъезжающий персональный лимузин.

Такие же спектакли устраивались из посещения какого-нибудь магазина или рабочей столовой на заводе. Яковлев давно понял, что для Ельцина главное, как говорят в народе, хорошо показаться. Он мог извратить истину и соврать кому угодно. Когда вышла книжка Ельцина “Исповедь на заданную те-

му”, Александр Николаевич сразу прочитал её. При этом сделал немало отметок синим карандашом. Это были места, где рассказанное было полнейшей неправдой, и Яковлев знал об этом не по чьим-то сообщениям, а лично сам, как участник и свидетель.

Описывая события осени 87-го года после своего сумбурного и несколько не революционного выступления на октябрьском пленуме ЦК, Ельцин об одном умалчивал, другое искажал. Не говорил о том, что сначала просил отставки, потом каялся на заседании Политбюро, чтобы остаться во главе Московского горкома партии. А неожиданное заболевание 9 ноября преподнёс так: “С сильным приступом головной и сердечной боли меня увезли в больницу”.

Но Яковлев знал, что увезли его совсем по другой причине. Утром 9 ноября, в первый рабочий день после праздников, из Московского горкома позвонили Лигачёву и сказали, что кто-то из сотрудников зашёл в комнату отдыха при кабинете первого секретаря и увидел окровавленного Ельцина. Он был без сознания, с большими канцелярскими ножницами в руке.

Срочно собрали внеочередное заседание Политбюро. Ведь не каждый день кандидаты в члены ПБ пытаются покончить с собой. Да ещё таким экзотическим способом. Или это симуляция? Своего рода шантаж?

Стали разбираться. Выяснилось, что последнее время Ельцин был подавлен, замкнут. Главная причина — критика на пленуме. К тому же, Горбачёв и некоторые другие члены Политбюро впервые не прислали поздравительных открыток с праздником 7 ноября. Видимо, произошёл психологический надлом. Это внешне Борис Николаевич производил впечатление могучей натуры, а, как показывали приоткрывающиеся факты, буйное, “без тормозов”, пьянство делало его человеком с резкими перепадами настроения, способным на импульсивные поступки, как относительно других, так и в отношении себя.

Но даже не это было главным в искажении подлинных событий. Как ни скрывалась попытка суицида с помощью ножниц, слух, однако, пополз. А он мог представить Ельцина в глазах народа совсем не героем. И тогда несостоявшийся самоубийца запустил ложную версию. Будто шёл он ночью по Москве. На него напали два хулигана. Он их, конечно, раскидал, но удар ножом получил.

Таких “фантазий” в ельцинской книжке Яковлев нашёл несколько. Ещё больше их обнаружили земляки председателя Верховного Совета России. Поэтому в Свердловске её назвали “Ложь на заданную тему”. Кое-кто жалел, что когда-то поддерживал Ельцина в карьере. Особенно — бывший первый секретарь Свердловского обкома партии Яков Петрович Рябов. Именно он сначала поставил Ельцина директором домостроительного комбината, потом сделал заведующим строительным отделом обкома, после — вторым секретарём, а когда уходил на повышение в Москву, убедил Брежнева передать руководство областью своему протеже.

В 1989 году, в Париже, Яковлев по поручению Горбачёва стал расспрашивать советского посла во Франции Рябова, что он думает о Ельцине? Яков Петрович теперь думал о своём выдвигенце очень плохо. Все недостатки его характера — неуживчивого, мстительного, грубого, которые он видел на протяжении многих лет, пока “тянул” Ельцина, в новой обстановке начинали раскрываться ещё заметнее.

— Человеку такого склада нельзя давать в руки высшую власть, — сказал он. — Тем более, верховную власть.

“Архитектор перестройки” согласно покивал, однако про себя брезгливо подумал: “Был бы ты прозорливей и твёрже, не сожалел бы сейчас вместе с другими”.

По существу, Рябов был главным виновником поднятия Ельцина из неразличимой людской массы по ступеням власти. Разные люди, знающие Ельцина, кто со студенческой поры, кто позднее, рассказывали ему, какой это “ходок по трупам”. Он выслушивал их, читал “мораль” своему любимцу. Тот хмурился, отводил глаза, обещал исправиться и здесь же пробовал выяснять, кто информировал. У Рябова были все возможности остановить Ель-

цина там, внизу, но ему нравилось, что растущий работник готов был расширяться в лепёшку ради выполнения заданий и продвижения вверх. Расширяться сам и сделать то же с другими.

Вскоре после того разговора с Рябовым в Париже Яковлев узнал о скандальных выходах Ельцина во время его поездки в Соединённые Штаты. Источников было слишком много, чтобы сомневаться в их достоверности. Американские телеканалы, радиостанции, газеты рассказывали не только о критике “партийным оппозиционером” Ельциным советского лидера Горбачёва. Они показывали его пьяным на встречах. Яковлеву сообщили, что все видеоматериалы о поездке есть в Гостелерадио СССР. “Серый кардинал” посоветовал Горбачёву показать отдельные фрагменты по Центральному телевидению. Тот позвонил председателю Гостелерадио Леониду Кравченко. Выбрали один эпизод — начало встречи в университете Джона Гопкинса. Советский оппозиционер был настолько невменяем, что его пришлось держать с боков и сзади, а вскоре увести совсем.

После показа эпизода сторонники Ельцина в Верховном Совете подняли гвалт. Объявили, что это — провокация, цель которой опорочить Бориса Николаевича. Один депутат, работавший до избрания в маленькой районной газетке, с видом знатока сообщил, что на телевидении был сделан монтаж. Движения и речь Ельцина специально замедлили, чтобы изобразить его пьяным. В спешном порядке создали депутатскую комиссию, которая отправилась в Комитет по телевидению и радиовещанию. Там членам комиссии объяснили, что пока никто в мире не изобрел способа так работать с видеоплёнкой. Показали “исходники” — запись передач американских телеканалов. Удручённые депутаты извинились и собрались уходить. Но Леонид Кравченко достал из сейфа ещё несколько кассет.

— Мы могли бы показать и это, — сказал он. — То, што увидели миллионы американцев.

Помощники председателя включили видеомagneтофон. На экране появились красивые девушки, солидные мужчины, дама с букетом цветов. Неподалёку стояли два внушительных автомобиля. Американский корреспондент начал репортаж. Один из депутатов, знающий английский язык, стал переводить. Журналист говорил о том, что он стоит на взлётном поле одного из двух аэропортов города Балтимор. Сейчас сюда прибывает из Нью-Йорка на частном самолёте Дэвида Рокфеллера-старшего лидер оппозиционной группы депутатов из советского парламента Борис Ельцин. Его встречают руководители университета Джона Гопкинса, а также участницы конкурса красоты штата Мэриленд.

Вот самолёт садится... Приближается к нашей группе. Он остановился. По трапу спускается Борис Ельцин. Сейчас подойдёт к встречающим... Будет приветствовать их...

Камера продолжала показывать советского гостя, но корреспондент внезапно замолчал. И было отчего. Ельцин, не глядя на встречающую делегацию, прошёл по взлётно-посадочной полосе к хвосту самолёта и, повернувшись ко всем спиной, стал мочиться на задние колёса. Все стояли потрясённые. Хозяева и свита Ельцина не знали, как себя вести.

Закончив “мокрое дело”, Ельцин подошёл к группе встречающих, молча пожал руки профессорам и чиновникам, взял букет у женщины и сел в автомобиль.

— Это, по-вашему, тоже монтаж? — спросил Кравченко прибывших с ревизией депутатов. — Здесь только часть того, што увидели люди в Америке. Мы могли показать. Но мне стыдно за свою страну.

Когда Яковлеву рассказали об увиденном на телевидении, он при людях едва сдержал гнев. После ухода информаторов дал волю чувствам. Александр Николаевич тепло относился к Соединённым Штатам со времени своей стажировки в Колумбийском университете в конце 50-х годов. Однако никому, даже близким, этого не показывал. Любил скрытно, глубоко, и потому выхода пьяного Ельцина в аэропорту Балтимора оскорбила дорогую ему страну так же сильно, как если бы сидящий сейчас перед ним насупившийся человек плюнул самому “серому кардиналу” в лицо.

Не говоря ни слова, Яковлев положил на стол толстую папку. Ельцин открыл её, начал листать и быстро закрыл. Уронил трясущиеся руки на папку. Молча впилил взглядом в тяжёлое бульдожье лицо горбачёвского “духовника”. “Что ещё принёс с собой этот хромой чёрт? Что они задумали дальше?”

Яковлев также молча смотрел на посеревшего Ельцина. Он — интеллигент, академик, свой в кругах творческой интеллигенции, только благодаря многолетней тренировке лица не показывал, как презирает Ельцина. Человека, не знающего, что такое чтение книг. По интеллекту так и оставшегося директором домостроительного комбината. Вруна с изворотливым, непредсказуемым характером, который сейчас растерянно думает, как действовать дальше. Яковлев злорадно представил его чувства, главным среди которых был страх. Впереди — выборы президента России. Ельцин мечтает об этой вершине власти. Достаточно передать в средства массовой информации часть документов, и они навсегда похоронят надежды. “Цикл запоя до 6 недель. Резко слабеет воля. В этом состоянии легко поддаётся на любые уговоры”.

“Серый кардинал” хотел сказать что-нибудь такое обидное, что проникло бы в душу этому грубому алкоголику с перебитым носом, поднятому народной антилюбовью к Горбачёву на большую вершину власти. Но понял: самое лучшее — оставить его в тревоге.

— Велели передать.

Кто велел: Горбачёв? КГБ? — разъяснять не стал. Повернулся и, припадая на негнущуюся в колене правую ногу, пошёл из ельцинского кабинета.

## Глава девятая

В зале прилёта аэропорта Домодедово было жарко. Наталья увидела, наконец, свою сумку на багажном транспортёре. Люди хмуро толкали друг друга, потели от тяжести чемоданов и спешили к быстро набухающей очереди возле единственного узкого выхода. “Неужели нельзя сделать по-человечески? — думала молодая женщина, издали высматривая за стеклянной перегородкой мужа. — Открыли бы несколько выходов. Ведь никаких затрат. А людям — удобней. Прав, наверно, Грегор. Эта система отвёрнута от человека”.

Разглядела возвышающегося над толпой Владимира. Радостно замахала рукой. Зная, как стало совсем мучительно добираться из аэропорта сначала до Москвы, потом — до их дома, он приехал на своей машине встретить жену из командировки.

За три дня в Иркутске Наталья чаще погружалась в тревогу и беспокойство, чем поднималась к приятным эмоциям. Из приятного — съездила на Байкал. Здесь была впервые. Хотела почувствовать планетарный масштаб. Всё-таки самое глубокое озеро на земле, вмещает пятую часть пресной воды земного шара. Но даже в мыслях увидеть этот объём, как ни старалась, не смогла. И площадь (сказали, что Байкал равен государству Бельгия) не вдохновила. Когда плыла на катере, впереди — да, видела воду до горизонта. Однако близость берегов — правый совсем рядом, левый — хоть в дымке, тем не менее, различимый, напоминала, что это озеро.

Зато чистота воды поразила. Волковой с гордостью объяснили: весной дно просматривается до сорокаметровой глубины. Сколько метров было под остановавшимся катером, никто не мерил, но журналистке почему-то показалось, что она смотрит вниз с крыши многоэтажного дома.

В командировку Наталья поехала по личному заданию Янкина. Из Иркутска пришло письмо от лидера местной организации “Демократической России”. Он писал, что “в свете предложения Бориса Николаевича Ельцина, брат суверенитета, кто сколько может проглотить” его организация выступает за образование Сибирской республики с правом выхода из Советского Союза и России. Однако местные партюкраты не дают реализовать инициативу демократической общечественности.

Когда Волкова, сидя в кабинете главного, дочитала письмо (Янкин находил разные способы, чтобы задержать Наталью возле себя), ей показалось, что писал не совсем нормальный человек. Она сказала об этом шефу. Тот

быстро вышагнул из-за стола, в обычной своей манере начал махать руками (в редакции говорили: Грегор включил ветряную мельницу) и сердито заговорил:

— Ты ничево не понимаешь. Сколько я буду учить тебя плаванию в политическом бассейне? Горбачёв хочет новым Союзным договором выбить козыри у Ельцина. Договор подпишут не только союзные республики. Автономные — тоже. Где больше всего автономий? В РСФСР. Значит, Ельцин останется с клочками из областей. А если ещё области начнут выходить? Борис Николаичу придётся идти на “мировую” с Горбачёвым.

“Что-то не вяжутся у Грегора концы с концами, — подумала тогда Волкова. — То говорит нам, что Горбачёв — списанный актив и надо ставить на Ельцина. То придумал какой-то новый финт”.

Инициатора создания Сибирской республики Наталья нашла в Доме культуры железнодорожников. Мужчина лет пятидесяти вёл кружок бальных танцев. Журналистке показалось, что он слишком толстоват для такой подвижной работы. Под трикотажной тенниской заметно выделялись груди. Полный зад и большие бёдра очень туго обтягивали джинсы. Однако двигался он в изящной, женского размера обуви резво.

Наталья представилась. Назвался и он — голосом тонким, мальчишеским. Волкова про себя удивилась. В лидере демократов всё было из разных людей: возраст, комплекция, женственные ступни и голос подростка.

— Вы хотите стать Ельциным, Альберт Станиславович? В своей Сибирской республике?

Три дня назад, 12 июня 1991 года, прошли выборы президента РСФСР. В них победил Ельцин.

Преподаватель танцев жеманно улыбнулся:

— Сейчас уже не против.

— А когда возражали?

— Сказать, што сильно возражал — нет. Наружу не показывал. Внутри сомневался. Предложение было лестное. Но мне без всяких... этих... говорят: сначала надо республику. Должность — потом. Я человек, конечно, видный... В нашем отделении двадцать восемь активных членов “Демроссии”... Ну, и поддерживают... На митинг придёте, там вы...

— А кто предложил? — перебила Наталья, ухватившись за сказанное вскользь слово. — Вы говорите: было предложение. От кого?

Альберт Станиславович решил, что с этой корреспонденткой можно быть откровенным. Она приехала именно из той газеты, главному редактору которой советовали написать гости из Москвы.

— Идея родилась, можно говорить, в массах. У меня. Приехали два товарища из Москвы. Из “Демроссии”. Мы позвали их поддержать нас против местных партократов. Провели хороший митинг. Много пришло. Стали готовить забастовку на авиазаводе. Центр совсем забросил нашу область. Совсем, вы понимаете? Мы не чувствуем, што живём в одной стране. Хоть бы отделиться куда. Один товарищ говорит: “А зачем вам эта страна? Вы можете быть самостоятельными”. “Как это?” — спрашиваю я его. Очень интересно мне стало. Другой достаёт папочку с бумагами и объясняет, што надо делать. Подробно рассказал. С примерами из истории... Австро-Венгерская империя какая большая была! А теперь вместо неё одной... сейчас вспомню... десять, кажется, государств.

— И кто же войдёт в вашу Сибирскую республику?

— Ну, это вопрос обсуждаемый, — снова ломуче засмеялся бальный сепаратист. — Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская области. Наша, разумеется. Потом Якутия.

— Якутия уже республика.

— А-а, действительно. Мы это учтём.

— Вам не кажется, што республика получается не совсем обычная? Области, которые вы назвали, отделены от вас Красноярским краем. Его почему-то не берёте. Также, как Алтайский край.

Альберт Станиславович потускнел.

— На Алтае сильны коммуняки. С ними говорить бесполезно. А в Красноярском...

Он скромно потушился:

— Там свои кандидаты... Ну, как вам объяснить? Надеюсь, вы понимаете.

Наталья попросила устроить встречу с другими активистами. Разговаривала сначала по одному, потом сразу со всеми шестью сторонниками создания республики. От её вопросов они нервничали, много курили. Учитель балльных танцев вскакивал, частил короткими шажочками к шкафу, доставал нужную бумагу и, запинаясь в незнакомом тексте, старался помочь товарищам. Однажды Наталья не выдержала:

— Што вы всё бегаете, Альберт Станиславович? Возьмите, какие там материалы у вас есть, и сядьте.

Сепаратист вильнул толстым задом, насутился и сел.

Следующий день Волкова потратила на разговоры в горсовете, съездила на авиационный завод, к железнодорожникам. Везде про замысел создания Сибирской республики, а тем более — о её выходе из Союза и России — слушали с удивлением и подозрением. Репутация газеты, от которой приехала корреспондентка, на периферии для многих была нехорошей. Поэтому собеседники не исключали какой-нибудь провокации. На авиазаводе директор прямо спросил: “А не вы ли привезли эту чушь? Потом выдадите за намерение наших людей”.

— Представляешь, Володь! — воскликнула Наталья, закончив рассказывать мужу о встречах в Иркутске. — Эта местная инициатива оказалась совсем не местной. Её привезли из Москвы. Кто? — фамилии танцор не сказал. Может, действительно забыл... Я бы с ними встретилась. Никакой программы! Никаких даже оснований. Повторяют одно: разделимся — будем жить лучше. Я их спрашиваю: как вы себе это представляете? В ответ только мычат.

— Да-а. Похоже, организаторы работают на опережение. Союз Горбачёв уже теряет. Теперь дело за Россией.

— Какие-то глупые.

— Глупые, Ташка, кто клюют. А кашу для них варят умные.

Владимир вспомнил слова Савельева о “народных фронтах”, признание доктора и Слепцова о референдуме.

— Хотя почему-то... знаешь, некоторые вроде не дураки, а говорят, как будто нанюхались дихлофоса. Пашка наш — совсем ведь не дурак. Но упёрся: долой Систему. Лупит топором по ветке, на которой сам сидит.

— Но зачем нашему Грегору эта идея нескольких сумасшедших?

— Штобы ею заинтересовались тысячи. Идея должна овладеть массами. Вот она — организующая сила Гласности.

Наталья хотела доложить главному о поездке сразу после прихода в редакцию. Однако Янкин куда-то спешил. Бросил на ходу:

— В двенадцать “планёрка”. Расскажешь всем.

Когда члены редколлегии заняли свои места за длинным столом, а другие сотрудники расселись на стульях вдоль стен, Янкин объявил:

— Для начала послушаем Наталью Дмитриевну. Она привезла материал, который значительно усилит идущие процессы. Расскажите товарищам. Потом обсудим, как написать.

“Значит, усилит процессы? — мысленно переспросила Волкова. — Процессы распада страны? У меня не получите”.

— А писать не о чем, Грегор Викторович, — поднялась Наталья. Посмотрела на замершего Янкина, обвела взглядом сидящих. — Некто Синяков из Иркутска захотел оказаться мини-Ельциным. Предлагает создать Сибирскую республику, стать её президентом и отделиться от Советского Союза и от Российской Федерации. Вот вся суть моей поездки.

— Готовый пациент психбольницы, — негромко прыснула сотрудница отдела спорта.

— Скорее “голубой”, — также потихоньку сказала ей Волкова.

— Как это не о чем писать? — вскинулся ответственный секретарь

Кульбицкий, увидев каменное лицо Янкина. — Русский народ начинает сам творить свою историю.

— Если этот учитель балльных танцев — народ... Жирный мужик с бёдрами женщины и голосом кастрата... Тогда, может, я — дева Мария? Ему идею привезли. Сам рассказал мне: привезли из Москвы. А вот кто доставил в Москву — с этим бы разобраться не мешало.

— Вы покушаетесь на главное завоевание демократии — Гласность, — с наигранным гневом заявил Кульбицкий, опять незаметно глянув на Янкина. — Каждый гражданин имеет право высказать обществу свою позицию. А вы хотите лишить нас этого права. Вернуть страну в ГУЛАГ. Во времена заткнутых ртов.

Когда-то при слове Гласность у Натальи возникало ощущение, будто она входит в большую светлую комнату. Ей даже нравилось произносить эти звуки: Гла-а-сность. В них слышался звон сбрасываемых оков, волнующая надежда на хорошие перемены.

Теперь Гласность вызывала совсем другие ассоциации — истерию, выпученные глаза, фальшивые улыбки и растущее, растущее зло. А хуже всего, что к этому месиву негатива добавлялось чувство коварного обмана. Как будто стоявший перед закрытыми в Нечто воротами Зазывала собрал толпу волнующихся людей, трясаясь от возбуждения, бросал в напирющую массу неведомые ей красивые блёстки, а когда нетерпение большинства достигло апогея, распахнул створки, и люди, давя друг друга, кинулись в заманчивую неизвестность. Однако этой неизвестностью оказалась короткая площадка без какого-либо ограждения на огромной высоте. Пока первые с молчаливым изумлением летели вниз, сзади напирали новые массы желающих рассмотреть, что там, за распахнутыми воротами. И видя болтающиеся руки-ноги падающих, они уже не молчали, а орали и верещали, сами не понимая, от чего больше. То ли от страха перед увиденным, то ли от злости за обман. Им обещали распахнутый веер самых разных знаний, а ослепили узким лучом спрессованной черноты.

Начав с осторожной критики явных несуразностей, порождённых советской политической системой, “управляющие” рупорами гласности — руководители газет, журналов, радио и телевидения — стали догадываться, что им в очередной раз подфартило. Первый раз это было, когда они встраивались в советскую пропагандистскую колонну. Потом, когда выбивались из её многоликих недр ближе к первым рядам. Там, среди знамён и транспарантов, с не ими пока сочинёнными призывами, их уже могли разглядеть. А чтобы заметили, рвали идейную тельняшку на груди. Янкин однажды дал Наталье почитать, что ещё не так давно писал его конкурент, главный редактор журнала “Огонёк” Виталий Коротич. В его книжке “Лицо ненависти”, за которую Коротич получил в 1985 году (за полгода до назначения главным редактором “Огонька”) Государственную премию СССР, Наталья с изумлением увидела, что любая, даже малейшая критика Советского Союза, называлась там “злостной клеветой” и “антисоветчиной”, Солженицын был “советским дезертиром”, а мрачные “капиталистические нравы” были просто ужасом по сравнению с “социальным прогрессом” в СССР. Янкин, похоже, с особым злорадством, отмечал для Натальи строчки всего лишь пятилетней давности. “Сегодня утром президент Рейган в очередной раз грозил нашей стране своим выразительным голливудским пальцем и всячески нас поносил”, “Следом за президентом, как правило, подключаются разные мелкие шавки...”, “Наглая антисоветчина самых разных уровней кружится, насыщая воздух, как стая таёжного гнуса. Так быть не должно, не может; и так продолжается практически без перерывов с конца 1917 года”.

Особенно выразительно поглядел Грегор Викторович на свою непокорную сотрудницу, когда в ящике стола вынул какую-то книжицу из-под силуминового бюстика вождя. Сказал, усмехнувшись: “Про Ленина. Целая поэма”. Наталья открыла заложенные страницы:

*И, всякого изведав на веку,  
когда до капли силы истошались,  
шли к Ленину мы,*

*словно к роднику,  
и мудрой чистотою очищались.*

Больше она читать не могла. На столе у главного лежали свежие высказывания Коротича о Советской власти. “Петроградский переворот 1917 года был прежде всего катастрофой моральной. Именно аморальность системы привела к тому, что живём мы так плохо”. “Система была порочная, нежизнеспособная, бандитская. Надо было всё это к чертям завалить”.

“Што ж это за люди?” — думала Волкова о Коротиче, своём Янкине и других главных редакторах, про которых ей в минуты доверительности рассказывал Грегор Викторович, рассчитывая тем самым приблизить к себе недоступную женщину. Называют нашу профессию второй древнейшей. Второй — после проституции. Да проститутки — святые, по сравнению с ними! Те растлевают единицы. А эти — миллионы. Причём растлевают души. Им Гласность — это возможность мстить. И они, как все рабы, перейдя к другому хозяину, мстят ему прежнему, перед которым готовы были ползать в пыли, даже если он не требовал этого.

Они снова хотят быть впереди. Впереди всех, кто топчет слабеющее тело вчерашней политической любовницы. Состязаются друг с другом, кто нанесёт увесистей удар, кто смачней плюнет в лицо, которое недавно воспевали и называли самым красивым. “Мы обязаны знать об этом и помнить: в Советском Союзе воплотились мечты всех трудящихся на земле”, — читала Волкова подчёркнутые Янкиным слова Коротича. Теперь разоблачения “мечты” стали главным жанром издания, которым руководил вчерашний холуй, сегодняшний герой и завтрашний трус. Спустя несколько дней после ГКЧП решением журналистского собрания “Огонька” Виталий Коротич будет смещён с поста главного редактора с формулировкой: “За трусость, непорядочность и аморальное поведение”.

Но это будет через два с лишним месяца после той “планёрки”, где Волкова отказалась писать об идее провозглашения Сибирской республики. А пока она слушала фальшивый нафос Кульбицкого о Гласности и вспоминала недавний конфликт с ним на предыдущей “летучке”.

Тогда обозревателем очередного вышедшего номера была Вероника Альбан. Что-то слегка погладила против шерсти, но больше — хвалила. Все знали: критиковать опубликованный материал означало вступать в небезопасный спор с ответственным секретарём, который этот материал отбирал для номера, а то и с самим Янкиным, мимо кого не проходила ни одна даже маленькая заметка.

Когда Альбан закончила, Кульбицкий, который всегда вёл “летучки”, оглядел журналистский коллектив.

— Кто хочет добавить? У кого какое мнение?

Обычно выступали ещё два-три человека. В основном, добавляя розового цвета в уже облитые такой же краской материалы. Предпоследнее слово говорил ответственный секретарь: по редакционной иерархии — начальник штаба. Последнее — оставалось за главным.

В номере, который оценивала Альбан, напечатали большую статью зарубежного автора. Судя по сноске, это был недавно уехавший в Штаты советский гражданин. Он писал о том, что промышленность СССР всегда была неконкурентоспособна по сравнению с иностранной, и приводил разные примеры. Волковой позвонил давний её автор, профессор-экономист, и с возмущением заявил: “Наталья Дмитриевна! Я знаю, што в вашей газете, как в “Огоньке” и в “Литературке”, специально надевают закорючковые очки, когда глядят на советскую жизнь. Но я не думал, што, пользуясь Гласностью, можно так фантастически лгать...”

— Я хочу добавить, Илья Семёнович, — подняла руку Волкова. — По поводу статьи Лопатникова.

— Да, да. Хорошая статья. Он мне её прислал, и мы сразу поставили в номер.

— Статья не просто плохая. Она лживая. Такими материалами мы отбиваем у читателей возможность верить нам.



В небольшом конференц-зале стало так тихо, что люди вздрогнули от скрипа стула под кем-то.

— У меня здесь заключения разных специалистов, — показала Волкова папку. — По каждому факту — несколько экспертных оценок. Я их не собираю. Мне их принесли. Штобы не задерживать товарищей, скажу только о нескольких примерах. Лопатников пишет: качество советских тракторов настолько плохое, што среднее время их работы до первого ремонта — 40 минут. Специалисты на цифрах показывают, што это полная чушь. Мы экспортируем в год до 40 тысяч тракторов. Разве какой-нибудь дурак стал бы покупать такие трактора, когда есть много других предложений?

Дальше. Он говорит: “Абсурд плановой экономики виден даже в том, што в СССР — невероятный избыток тракторов. Реальная потребность сельского хозяйства в три-четыре раза меньше”. Но вот как выглядит действительность. На каждую тысячу гектаров пашни в Германии 124 трактора, в Бельгии — 82, в Дании — 58, в США — 30, а в Советском Союзе — 12 тракторов.

Новый житель Штатов нам сообщает, што СССР вырабатывает в два раза больше электричества, чем США. А значит, энергооборужённость у нас должна быть лучше. Просто не умеют использовать. На самом деле в прошлом — 90-м году — в Советском Союзе выработано почти в два раза меньше электричества. Понимаете, товарищи? Всё прямо наоборот.

Ну, и наконец, совсем бред. Он пишет, што японцы готовы покупать наши плохие трактора “Кировцы”, переплавлять их на металл и выпускать свои машины. У нас здесь кто-нибудь, наверное, представляет... одно дело — купить тонну готового проката, а другое — потратить деньги на разборку трактора, переплавку, утилизацию резины и так далее. В этом случае тонна металла обойдётся в двенадцать раз дороже. Продвинутые авторы внушают нам, а мы это передаём читателям, што в рыночной экономике умеют считать. Так кого Лопатников принимает за идиотов? Японцев? Или нас?

Наталья понимала, что сейчас будет. Внутри у неё всё дрожало, но она собрала силы и ровным голосом сказала:

— Гласность — это медаль, у которой две стороны. Одна — свобода слова. Другая — ответственность за слово. Мне кажется, такую медаль мы и должны носить.

Пока Наталья говорила, все смотрели на неё. Теперь головы повернулись к началу стола. Там, во главе сидел Янкин, слева от него — Кульбицкий, справа — первый заместитель главного редактора Лещак.

Первым пришёл в себя ответственный секретарь. Он был ещё молод — лет тридцати пяти, но всем казался намного старше своих лет. Небольшого роста, со сморщенным лицом, с обширной плешинной на яйцевидной голове, Илья Семёнович имел и соответствующий голос — немного скрипучий, при возбуждении — пронзительный. А возбуждался он очень легко. Стоило кому-нибудь опспорить его суждение, разумеется, кроме главного и двух его заместителей, как ответственный секретарь сразу переходил на крик. Янкин то и дело осаживал Кульбицкого. Однако ценил за бурную, вулканическую энергию, каким-то чудом вмещающуюся в его довольно чахлые формы. Под напором этой энергии большинство оппонентов быстро сдавали свои позиции и, даже будучи внутренне несогласными, прекращали спор. Большинство. Но не Волкова. И об этом в редакции знали.

— Если я правильно понимаю, — заскрипел пока что осторожно Кульбицкий, мысленно выстраивая отдельные слова в цепь для наступления, — вы перечёркиваете всё, што делает газета... Чем по праву гордится наш коллектив... Оплёвываете линию, которую проводит главный редактор Грегор Викторович...

— Подожди ты, — перебил Янкин. — Тут есть над чем задуматься.

Он нисколько не сомневался, что Волкова права. Но не откровенное искажение фактов обеспокоило главного редактора. В этом его газета не отличалась от других изданий и многих телевизионных передач. Бывало, надолго вырывалась вперед. Иногда уступала “Огоньку”, “Литературной газете”, “Комсомольской правде”. Под лозунгом Гласности шло соревнование, кто

найдёт больше фактов, показывающих мерзость советской истории и, особенно — сегодняшней жизни. Все, кто работали на этой “кухне” — от руководителей до простых корреспондентов, прекрасно понимали, что многое передёргается, что-то положительного сознательно вычёркивается и замалчивается, а дурное, на фоне того положительного незначительное, также осознанно преувеличивается. И если по первости, перед публикацией какого-то “взрывного”, подтасованного материала, Янкин немного мандражировал — вдруг Горбачёв стукнет кулаком и потребует строгой проверки фактов, то очень быстро понял: бояться не надо. У него и его коллег есть защитник и опекун — член Политбюро, главный идеолог Гласности Александр Николаевич Яковлев. Грегор Викторович лично ходил к нему с наиболее опасными статьями и видел в приёмной других таких же главных редакторов, ждущих своей очереди за индульгенцией.

Он довольно быстро понял Яковлева. Проницательным, постоянно пульсирующим умом просвечивал его насквозь. Не только чувствовал, но даже воочию различал, когда тот врёт. Если Серый кардинал начинал говорить о развитии социализма, под кустистыми, мохнатыми бровями останавливался тусклый холод. Однако стоило коснуться удачной публикации в газете, показывающей очередной изъян социалистической действительности, глазки начинали блестеть и в голосе появлялась звонкость. Яковлев сильно не любил Систему, в узком кругу неохотно говорил в её защиту и с трудом это скрывал. Грегор Викторович как-то даже подумал: если бы раненый Яковлев попал не в советский медсанбат, а к немцам, то стал бы, наверное, активным пособником фашистов.

Поэтому, чувствуя и понимая суть Серого кардинала, он не ждал опасности с той стороны.

Забеспокоило Янкина другое. Не повредит ли возможный скандал, а Волкова сказала о каких-то заключениях экспертов, его личным замыслам? В нарастающем развале уходящей действительности выкристаллизовывалась новая жизнь, и Грегор Викторович не хотел упустить в ней своё место. Он провёл акционирование газеты. Большинство акций разными путями пришло к нему. В Москве и Ленинграде власть взяли демократы. В доверительных разговорах стали прорабатываться возможности превращения акций в недвижимость — какой-то рыжий молодой человек из Ленинграда назвал этот процесс “конвертацией”. Янкин не возражал против любого названия. Главное — надо было “конвертировать” записи в журнале, высокопарно названные акциями, в большое шестиэтажное здание в центре Москвы, часть которого занимала редакция. А тут — скандал. Поэтому Кульбицкий, вместо поддержки своего наступательно-льстивого пролога, услышал от главного раздражённый отлуп.

— Ты чево тащишь в газету? Каких авторов? Может, он сумасшедший? Или провокатор?

— Нет, нет, я его знаю, — поспешил прогнуться ответственный секретарь, не привыкший к публичной порке. — Мой хороший товарищ.

— Хорошие товарищи здесь сидят. А там — американский господин. Ему-то наплевать, как будет выглядеть газета.

Янкин, даже сидя заметно возвышавшийся над Кульбицким, многозначительно поглядел сверху вниз на соседа:

— Может, и тебе тоже наплевать?

Помолчал и подвёл итог.

— Давайте будем заканчивать. Но эта история должна стать уроком. А вы, Наталья Дмитриевна, зайдите ко мне. Посмотрим на возражения экспертов.

После той “летучки” Волкова сразу улетела в Иркутск, а ответственный секретарь, выбрав момент, завёл с Янкиным разговор об увольнении Натальи. Доводы приготовил заранее. Она оспаривает позиции газеты в освещении таких поворотных моментов, как события в Тбилиси, в Нагорном Карабахе, в Прибалтике. Поддерживает консервативные, антидемократические силы и прежде всего “Союз” — это агрессивное объединение так называе-

мых патриотов. Похоже, сама скоро станет красно-коричневой — русской фашисткой. Если уже не стала. А как подрывает престиж главного редактора!

Кульбицкий не догадывался, что Янкин на интригах собаку съел и потому без труда видел истинные причины обзлённости ответственного секретаря. “Мелкий ты, парень. А она крупная. Не по зубам тебе”. Однако вслух начал успокаивать:

— Нельзя так, старичок... нельзя.

“Старик”, “старичок” — были распространённые обращения друг к другу в среде интеллигентско-творческой молодёжи в конце 50-х — начале 60-х годов — в период позднего Хрущёва и раннего Брежнева. Этим молодые люди стремились показать, что, несмотря на небольшие годы, они успели многое пережить. “Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок”, — проникновенно шептали есенинские слова охмуряемым девушкам студенты филфаков, рассчитывая на сострадательное понимание.

Со временем остывал кураж, редели волосы, менялись формы обращения. Но Янкин в душе оставался “шестидесятником”. Постаревшим пижоном той ненадолго раскованной поры, которую он когда-то назвал “размороженным временем”. “Мы — дети размороженного времени”, — любил повторять Грегор Викторович, пока однажды не услышал от сына: “А мы — дети эпохи стиранных пакетов”. Так был переброшен мост через времена, по которому Янкин шёл с привычным обращением.

— Ты ведь сам, старичок, всем объявляешь, што демократия — это наличие разных мнений. Плюрализм, как любит повторять Михал Сергеич... И вдруг — на тебе: давай уволим. Нельзя так, старичок. Нельзя.

Теперь, услышав от Натальи, что она не хочет писать о создании Сибирской республики, главный редактор вспылил. Всякий раз, покидая как руководитель очередной творческий коллектив, он оставлял после себя странный людской конгломерат. Будучи творчески одарённым человеком и видя, что при строгом исполнении его указаний получают хорошие результаты, Янкин стал признавать в основном авторитарный метод управления. “Я — за демократию! — говорил он, и добавлял: — Но когда она у меня в кулаке!” Пройдя через такое “сито”, в коллективах оседали по большей части “чево изволите?” конформисты, и по меньшей — глубоко законспирированные протестанты. Однако те и другие умели ещё при первых глубинных толчках улавливать импульсы руководящего настроения.

— Непонятно твоё заявление, Наталья, — сказала Альбан. — Тебя ведь посылали не на экскурсию... Байкал посмотреть... Человек, действительно, имеет право на идею.

— Какая идея, Вероника? Я уж не говорю — любая идея должна быть выстрадана. Эту мысль — про республику — привезли странному чудаку из Москвы.

— А вы хотите, штоб великую идею родил какой-нибудь ваш Ванька из деревни Гадукино? — проскрипел, вставая за столом, Кульбицкий. Он вспомнил недавнюю “летучку”, принародный позор, спровоцированный этой женщиной. “Главного можно понять, — с ревнивым отвращением подумал Илья Семёнович, глядя на красивую фигуру Волковой, её приподнятые сзади светло-каштановые волосы, почти не тронутые помадой чувственные губы. — Но ведь стерва! Не наша”.

— Почему-то некоторые наши работники решили, — начал он возбуждаться, — такое себе присвоили право... вот это в интересах демократии газета должна печатать, а вот то — не достойно внимания общества. Волкова не увидела в предложении иркутских товарищей большого политического явления. Представьте себе, товарищи, — уже перешёл на крик Кульбицкий, — люди задумались об этой концлагерной... ненужной многим стране. Решают... думают, как изменить в ней жизнь, а наш спецкорр принимает решение за них.

— Я увидела там другое. Намерение с помощью газеты организовать новые очаги политической напряжённости. Мы спровоцируем развал уже не Советского Союза, а России. Вам это нужно, Илья Семёнович?

Кульбицкий выскочил из-за стола. Двинулся по комнате к тому месту, где тоже возбуждённая, встала Волкова. Остановился напротив. Меньше её

ростом, щуплый, но с такой исторгаемой энергией, что Наталья невольно отшатнулась.

— Это нужно демократии в России! Пусть граждане сами делают выводы! Наша задача представить разные точки зрения! Это наше кредо!

— Што вы говорите? — воскликнула с издёвкой Волкова. — А не вы ли отвергаете материалы некоторых авторов только потому, што они имеют другие взгляды? Не такие, как ваши, Илья Семёнович! Вы забыли? — я вам принесла письмо депутатов Верховного Совета СССР... Я до сих пор его помню... почти дословно. О том, што вокруг Москвы задерживаются сотни вагонов с продуктами и различными товарами. Разгрузочные станции пикетируются... А статья депутатов из группы “Союз” о проамериканской деятельности Шеварднадзе... Где она, товарищ Кульбицкий?

— Газета — не помойное ведро, куда можно валить всё подряд. Я даю только то, што волнует народ... интересуется его.

— Какой народ? Может, вы нам уточните? Или для вас все, кто не хочет уничтожения государства, это Ваньки из деревни Гадюкино? Я вам недавно напомнила о свободе слова в вашем понимании. Один писатель у нас заявляет: “Россия — сука, ты ответишь за это...” Другой пишет... я прочту, штоб не обвинили в искажении...

Наталья открыла блокнот, с которым ходила на заседания редколлегии и на “летучки”.

— “Русские — позорная нация. Они не умеют работать систематически и систематически думать. Первобытное состояние, в котором пребывает народ — производное его умственных возможностей”. Так в нашей газете говорят писатели. А вот мнение правозащитника. Негодай вообще обнаглел. “Русский народ — это общество рабов в шестом поколении”. Скажите, Илья Семёнович (Волкова старалась всегда чётко выговаривать имя и отчество Кульбицкого), про другой народ вы разрешили бы так написать? Про тот, который вы тоже неплохо знаете...

— Слушай, ты, — моментально понизив голос, яростным полущёпотом процедил ответственный секретарь. Он уже не мог себя сдерживать. Всё накопившееся зло против этой враждебной ему женщины требовало выхода. — На што намекаешь, фашистка русская? Тебе давно надо быть не с нами, а там... Где ходят с хоругвями... Псалмы воют... Молотятся... вместо того, штоб делать дело.

У Натальи на миг перебило дыхание. Такой ненависти, испепеляющей злобы даже не к себе, а к мысленно увиденным ею тысячам людей — она не встречала. И не слышала такого оскорбления по поводу себя. Её, дочь фронтовика, раненного фашистами, назвать фашисткой?

Первое, что инстинктивно дёрнулось — рука. Владимир научил её нескольким приёмам самозащиты и постоянно тренировал их, чтобы в опасный момент всё сработало автоматически. Она могла костяшками кулака резко и коротко ударить в горло противника. Это лишит человека чувств и голоса. Могла каблуком туфельки ткнуть в мошонку. Разведённый Кульбицкий вряд ли сможет после этого радовать женщин. “Если он сейчас это умеет”, — мелькнула брезгливая мысль.

Но то, что пришло в голову, Наталья никак не ожидала. Она поднесла к себе узкую свою ладонь, плюнула на неё и с отяжкой хлестнула по морщинистой щеке Кульбицкого. Едва ль не все полтора десятка человек ахнули одновременно.

— Это — за русскую фашистку.

Грегор Викторович мучился так, словно внутри что-то разорвалось. Он, хитроумный и сообразительный человек, уже с трудом придумывал, как прикрыть Наталью, чтобы оставить её в редакции, не знал, что предпринять, чтобы она отошла от борьбы с Кульбицким и теми, кто, по сути дела, выполняет его — Янкина — волю.

Но последний инцидент на “планёрке” просто кричал: надо что-то сделать. Не потому, что он боялся влияния Волковой на коллектив. Нет, в этом

он снова поработал успешно и успел вырастить коллектив на одно идейное лицо. Вернее, на один ум и на один голос.

И даже пересуды в редакции его не волновали. А то, что они начались, обладающий звериной интуицией Янкин почувствовал. На Веронику Альбан никто не обращал внимания. Да и сам главный редактор стал с нею резче, строже, что она не замедлила передать теперь уже почти мужу и другу Грегора Викторовича.

Казалось бы, угодникам надо поворачиваться к обретающей влияние Наталье. Однако они догадывались, что здесь выстраиваются какие-то противостественные отношения, и потому не торопились присягать новой фаворитке.

А Янкин сидел за столом в кабинете, вертел в руках вытщенный из ящика силуминовый бюстик Ленина и не знал, как поступить. Уволить Наталью было выше его сил. Но и оставлять уже было нельзя. Она пошла в открытую против его идей, да ладно идеи, чёрт с ними, тут можно подвигаться туда — сюда. Главное, покушается на его власть, а это дороже всяких идей...

Грегор Викторович написал от руки приказ. Перешёл через приёмную в кабинет своего первого заместителя Лещака.

— Слушай, старичок... Тут такая хреновина. Я завтра утром улетаю в Париж.

Лещак с удивлением посмотрел на начальника. Он давно знал об этой поездке.

— Я написал приказ... Волкову надо... Ты утром его отдай... Пусть напечатают... Ознакомь Наталью... Дмитревну. Число поставь сегодняшнее... А вручи — завтра. Одной... Не при всех.

## Глава десятая

Первый месяц лета — июнь бывает, как правило, более влажным, чем предыдущий май. Савельев не раз читал объяснения метеорологов на этот счёт. С повышением температуры огромные массы нагретого приземного воздуха устремляются вверх, там остывают и образуют мощную конвективную облачность, которая обрушивается вниз дождём. Поэтому дожди в июне чаще, осадков больше.

Но почему этот июнь — 1991 года — был такой “сырой”, Виктор ни у кого внятного ответа не находил. По количеству осадков он перекрывал норму всех предыдущих лет в два с половиной раза! И дождело своеобразно. С утра — сверкающее солнце на чистом голубом небе, к обеду — облака. Потом — дождь, нередко гроза, а к вечеру снова всё успокаивается и опять блестит умытое светило.

Особых беспокойств это Савельеву не доставляло, если бы не пропускная система в Кремль. Приходилось открывать портфель, чтоб показать содержимое. А значит, доставать складной зонт “Три слона”, без которого сейчас нельзя было ходить — его Виктор клал на самое дно, и из-за этого выкладывать диктофон, блокноты, сигареты, ключи от квартиры, кабинета и машины.

Впрочем, это были мелкие неудобства по сравнению с общей напряжённой атмосферой в стране, предгрозовое состояние которой чувствовалось во всём. В газетах, по телевидению не переставали говорить о забастовках. Государственные продовольственные магазины стояли почти пустые. Очереди вырастали за всем. Даже, казалось бы, за ненужным товаром. Истеризм нарастал с каждым днём. Люди не знали, кому верить, на что надеяться, к чему прислониться. На митингах одни надрывали голоса в поддержку демократов, предавая анафеме консерваторов, другие, наоборот, разоблачали деструктивные действия демократов, которые всё откровенней призывали к разрушению государства в его существующем виде. А те, кто чувствовали опасность с той и другой стороны, всё больше надеялись на чудо. Популярней знаменитых артистов, спортсменов и даже многих политиков, за исключением разве что Горбачёва и Ельцина, стали экстрасенсы, маги, прорицатели. От заклинаний Кашпировского погружались в сон стадионы. Под напором

желающих прозреть, выбросить костыли и войти в блаженство через слова великого целителя-психотерапевта дрожали стены огромных залов. А для более гарантированного исцеления от всех существующих на земле болезней вышедшие из обморока-гипноза пациенты Кашпировского садились перед телевизором, чтобы глянуть в добрые глаза другого излучателя невиданной энергии — Аллана Чумака. “Крэм... Вот этот крэм... если вы помажете им больную ногу, она станет здоровее здоровой”. Впрочем, “крэм” был не самым большим чудодейством Чумака. Он мог зарядить исцеляющей энергией даже водопроводную воду. Достаточно было налить её в банку, хотя бы в трёхлитровую из-под маринованных огурцов, поставить сосуд перед экраном телевизора, и после некоторых волшебных слов Чумака хлорированная жидкость становилась целебным напитком.

Савельев смеялся над этим, издевался, услышав от кого-нибудь про “чудеса через телевизор”, но видел, что иррациональное становится для многих достоверней рационального. Даже в редакционном буфете, где фрондирующее вольнодумство часами высасывало чашечку кофе, неожиданно для себя услышал, что такой дождливый июнь — это не к добру. “Знамение нам является... Знамение, — сказала отзывчивая сорокапятилетняя машинистка Галя, редко кому из редакционных мужчин отказывающая в доброй женской ласке. — Много зла накопилось в людях”. Савельев, избежавший забот теплотворной машинистки, хмыкнул. “Слепцова бы сюда, — вспомнил Виктор весеннюю охоту. — Он бы им рассказал про сову и другие приметы”.

Пройдя Спасские ворота Кремля, Савельев свернул к зданию, где теперь работал Верховный Совет СССР. На неровностях асфальта ещё не высохли лужицы вчерашнего дождя. Утренний воздух был сильно свеж и чист. Откуда-то из кремлёвских посадок доносился запах жасмина.

Виктор бывал и на заседаниях прежнего Верховного Совета, который он называл “догробачёвским”. Тот собирался дважды в год. Каждый раз — всего на несколько дней. Заседал в длинном зале Большого Кремлёвского дворца, который в сталинские годы сделали по проекту старого российского архитектора Иванова-Шица, разобрав внутреннюю стену между двумя залами — Андреевским и Александровским. Наверное, это была одна из немногих работ, которой не хотел бы гордиться семидесятилетний архитектор — автор здания театра “Ленком”, Морозовской больницы и десятка других украшений дореволюционной Москвы. В том помещении из президиума с трудом можно было разглядеть задние ряды. Да при тогдашнем парламенте этого и не требовалось. Незапланированных выступлений не было. Рук с места никто не поднимал. Когда здесь собрался на первое своё заседание новый Верховный Совет, образованный из части Съезда народных депутатов СССР, оказалось, что задним на трибуну не попасть. Их поднятых рук просто не замечали из президиума. Экстремисты поняли: трибуну надо захватывать.

Потом в проходах установили микрофоны, и схватки во время заседаний перекатились к ним.

Позднее Верховный Совет стал работать в другом здании. В отличие от большинства старинных сооружений Московского Кремля, это здание было новоделом. Его построили в середине 30-х годов, но учли стиль и пропорции сохранившегося рядом здания Сената, возведённого во времена Екатерины Великой архитектором Казаковым. Теперь в бывшем Сенате работало правительство СССР, а рядом заседал новый парламент.

Виктор ходил сюда, как на вторую работу. Если прежний Верховный Совет собирался на несколько дней в году, то каждая из двух сессий этого Совета — весенняя и осенняя — длились по три-четыре месяца. У коммуникабельного и, при необходимости, обаятельного Савельева тут была масса знакомых. Не только среди депутатов, но и среди аппаратчиков. Если требовалось, он мог быстро получить любые документы и стенограммы.

Центральным событием сегодняшнего заседания должно было стать выступление премьер-министра СССР Валентина Павлова. Его отчёта потребовал на прошлой неделе Верховный Совет. Что скажет депутатам Павлов?

Какие предложит меры для обуздания инфляции, наполнения магазинов продуктами и товарами? И можно ли что-то быстро сделать в этой обстановке? — думал Савельев, поднимаясь по широкой лестнице в главное фойе перед залом заседаний. Здесь, в светлом, просторном фойе, с большими окнами на Москву-реку, в обычном броуновском движении ходили депутаты, их останавливали журналисты, почему-то всё время куда-то торопились работники аппарата. Тут не раз Горбачёв “застукивал” Савельева, когда Виктор, не заметив подошедшего сзади Президента, энергично агитировал депутатов в пользу Ельцина.

Теперь они оба были для него источниками беды. Один — по скудоумью породивший разрушительный поток. Другой — по маниакальной страсти к власти оседлавший этот поток и готовый сокрушить вместе с противником миллионы других людей. “Што я за человек, чёрт возьми! — с раздражением подумал Виктор о себе. — То в одно дерьмо вяпаюсь, то в другое. Поверил в Горбачёва... Глотку рвал, пупки карябал... Потом — в Ельцина. Борец... Демократ... Этого хоть быстро раскусил... Но всё равно вяпался. Теперь бы обоих, — вспомнил Виктор присказку деда, — связать по ноге, да пустить по воде”.

— Кого ищешь, Сергееч? — услышал Савельев. — Не меня ли?

— А-а, Коля! — обернулся на знакомый голос Савельев, выходя из сердитого самобичеванья. — Тебя я всегда рад видеть. Даже несмотря на твои заблуждения.

— История п-покажет, кто из нас б-блудил, — слегка заикаясь, добродушно улыбнулся сухошавый мужчина лет сорока пяти, с чуть вытянутым вперёд лицом. Мягкие, негустые волосы, зачёсанные набок, открывали выпуклый лоб. Прищуренные глаза смотрели приветливо. Это был Николай Травкин. Дважды народный депутат — союзный и российский, Герой Социалистического Труда, председатель недавно созданной Демократической партии России.

Савельев знал его несколько лет. Впервые написал о нём, когда Травкин был ещё бригадиром и активно внедрял на стройке коллективный подряд. С той поры у них установилась необычная форма обращения друг к другу. Савельев звал его по имени, Травкин — по отчеству. Что, впрочем, не мешало обоюдному уважению.

Потом Николай Ильич стал начальником строительно-монтажного управления. Получил Героя Социалистического Труда. Возглавил трест. Пошёл в политику. И все эти годы, при каждом удобном случае, Виктор поддерживал Травкина.

Но в последнее время они всё чаще расходились в оценках Ельцина и его окружения из “Демократической России”. Разочаровавшись в Горбачёве, Травкин со своими сторонниками повернул к российскому лидеру, что только добавило разрушительной энергии опасному человеку. Поэтому Савельев предостерегал строителя — демократа: “Гляди, Коля. Ответишь перед историей”.

Впрочем, сейчас его интересовало только предстоящее заседание Верховного Совета.

— Как думаешь, с чем придёт Павлов?

— Я думаю, п-премьер хочет чрезвычайного положения, — сказал Травкин. — Погляди, какое решение он предлагает нам принять. Его люди подготовили п-проект.

Савельев взял лист бумаги с текстом, не читая, положил в портфель. Полукруглый, устроенный амфитеатром зал заседаний уже наполнялся депутатами. Члены Верховного Совета занимали каждый своё место, отмеченное табличкой с фамилией. Просто народные депутаты СССР, а на заседание имел право прийти любой из них, садились, где придётся — мест в зале было достаточно.

Виктор отстал от Травкина, задержался, чтобы поздороваться с двумя знакомыми депутатами из группы “Союз”, помахал идущему по проходу к своему месту с табличкой коллеге из Ленинграда — журналисту — демократу Ежелеву, и уже собрался уходить из зала на балкон — во время заседаний пресса находилась там, как вдруг почувствовал, что его трогают за рукав.

— Здравствуйте, гражданин Савельев.

Виктор отдернул рукав, нахмурился. Его так называл единственный человек — депутат Катрин.

— Ну, привет. Теперь кого будем вешать?

— Зачем же так сразу? — негромко засмеялся, прикрывая рот рукой, невысокий, ниже савельевского плеча, мужчина. — Вы меня неправильно понимаете. Надо просто изолировать. Вон пошёл Алкенис... Виктор. В погонах. Я уж молчу про Когана. Еврей, а хуже русского шовиниста. Эстонцы его правильно ненавидят. Просится тоже... на изоляцию пока... Вон Сухов — харьковский шоферюга. Стародубцев. Колхозник.

— Какой Стародубцев? Их два брата. Оба колхозники. Оба народные депутаты СССР. Или сразу обоим петлю?

— Тульского надо брать. Старшего. Василия. Но я вам про другое написал свои соображения.

Савельев тоскливо поглядел на маленького человечка. Представил, какие соображения тот снова мог изложить. Два месяца назад он уже получал от этого депутата со странным именем и такой же фамилией три плотно исписанных листа. Встретив его потом в фойе Верховного Совета, спросил:

— Вам письмо вернуть, товарищ Катрин? Или пусть останется у нас? Публиковать его нельзя.

— Моя фамилия Катрин, гражданин Савельев. Зовут — Лемар Тихонович.

Увидев широко раскрывшиеся в удивлении глаза журналиста, покровительственно объяснил:

— Лемар... Это Ленин — Маркс. А почему вы не хотите обнародовать мою точку зрения?

— Да страшная она, Лемар Тихонович. Нам сейчас надо искать пути консолидации общества... Какого-то успокоения. А какое может быть спокойствие, если один из лидеров “Демократической России” — вы ведь относите себя к лидерам?

— Да.

— ...предлагает арестовать всех не согласных с вашей программой. А не согласных-то — миллионы. Вы хотите повторить большевиков 18-го года?

Савельев давно заметил, что все маленькие ростиком, шуплые мужчинки, неугасаемо страдающие от своего выпадения из стандарта, также непереставаемо помнят о том, что и Бонапарт был низеньким. Но ведь стал Наполеоном! И помнящие денно и ночью о возможностях маленького человечка стать большим Наполеоном, они стараются попасть во власть, туда, где станут командовать людьми, решать их судьбы и наслаждаться своей низенькой высотой. Поэтому протискиваются хоть в маленькие, но в прокуроры, в милицейские следователи, в оперуполномоченные, в другие такие же работы (только без риска для жизни) и, не показывая начальству своего внутреннего, “наполеоновского” огня, ждут случая или поворота судьбы, как его дождался Бонапарт.

Депутат Катрин был из таких. И маленький рост, и веру в большие возможности он унаследовал от отца — плотника фабрики валяной обуви Тихона Кузьмича Катрина. Конечно, ни о каком Бонапарте Тишка, как его звала жена, не подозревал. Про Наполеона что-то слышал, а как его дальше звали, не интересовался. Зато собственным видом и жизнью был недоволен. По пьянке шумел, что он лучше директора фабрики знает, какие валенки бабы с руками оторвут, подыргивал, чтоб удачей стукнуть сомневающуюся жену, однако, получив успокаивающий тычок в грудь от рослой, широкоплечей формовщицы той же фабрики, падал на кровать и засыпал.

Свои ускользящие надежды переложил на сына, решив его выделить среди всех остальных уже именем. Жена Тихона, тогда ещё молодая, здоровая крестьянка, поглядела на мужа, как на придурка, и решила, что в загсе такое чудное имя обсемят. А значит, муж согласится на её предложение: называть мальчика Петей.

Однако регистраторше загса, наоборот, понравилось сочетание двух великих фамилий: Ленин и Маркс — не Комбайн ведь! — и сын честолюбивого плотника пошёл в жизнь под необычным именем.



В студентах Лемар быстро выбился в комсомольские активисты. Особо заметные результаты показывал, когда расследовал недостойный поступок кого-нибудь из товарищей.

После института долго работал помощником районного прокурора в большом областном центре Нечернозёмной России. С родителями, оставшимися в фабричном посёлке, общался мало. Они не вписывались в его предназначение. Поправил фамилию на более звучную. Женился и скоро разошёлся. Говорил, что семья мешает полностью отдаваться работе. При этом взгляд его бледно-голубых, почти прозрачных глаз выдавал тайную похоть. Но это выскальзывало редко. В основном, взгляд нечернозёмного Бонапарта сурово предупреждал, что Лемар Тихонович видит всех насквозь и разглядит преступление даже под железобетонной плитой невинности. То есть там, где его нет.

Когда началась кампания по выборам в народные депутаты СССР, Катрин, понимая, что ни от каких общественных организаций ему не выдвигнуться — он не был даже филателистом, а общество гомосексуалистов находилось в глубоком подполье, сделал ставку на разоблачение режима. Самым проверенным способом обратить на себя внимание становилась критика незаслуженных привилегий власти. Помощник прокурора сходил в столовую облисполкома. Пообедал. Остался недоволен, ибо столовая прокуратуры, где он ел каждый день, была богаче и сытней. Но, уходя, прихватил меню.

Через пару дней отправил в московскую газету (местная не взяла) большое, на несколько страниц, письмо под заголовком: “А дети страдают”. В нём рассказал о дачах обкома партии, о пойманном на браконьерстве, но не наказанном председателе облисполкома. Для большей доказательности страдания детей приложил меню.

После публикации заметки про дачи его с работы выгнали. Маленький — 154 сантиметра ростом — борец с режимом организовал два митинга. С одного из них местное телевидение дало короткий сюжет в передачу “Телемост с избирателями”, которую вёл Савельев. Разумеется, никакого Катрина Виктор не запомнил — у него в каждой передаче проходило по несколько таких сюжетов, но нечернозёмные избиратели уволенного борца заметили. “Маленький уж больно, — переживали дородные местные молочницы. — Пряма пацан. Как ему у наших волков правду отгрызть? Вот Ельцин — этот видный мушкетёр”. “Мала блоха, да кусуча”, — успокаивали, сами не слишком великаныстые, мужики.

После избрания Катрин незамедлительно примкнул к демократам, стал пробиваться к ельцинскому окружению. Там его долго не привечали — слишком невзрачный, может дискредитировать рослого вождя. Скажут, нашёл Ельцин, на кого опереться.

Но юридические знания бывшего помощника прокурора, а главное, его кипящая злость к политическим противникам со временем оказались весьма кстати в развернувшейся борьбе за власть между Горбачёвым и Ельциным. Лемар Тихонович стал внедрять в близкое ельцинское окружение мысль о том, что для обрушения горбачёвского Центра надо перевести союзные министерства, крупные заводы, банковскую и налоговую структуры под юрисдикцию российского правительства. То же самое ельцинским поводырям настойчиво рекомендовали сделать зарубежные советники, теперь уже вылезавшие из Москвы. Зёрна падали в благодатную почву. Демократическая опора Ельцина, пропуская через себя все эти рекомендации, доносила их лидеру. Частично, как свои, но в большей мере, как идеи самого Бориса Николаевича, ибо Ельцин не терпел ничьих советов, если они не казались ему собственными замыслами.

Маленький Катрин стал вырастать в большую фигуру демократических сил. Одновременно набухал тревожной значительностью. Он с каждым днём чувствовал, что время наполеонов подходит. Кто первый схватит железной рукой врага, тот станет Бонапартом. Сторонники сохранения Союза были разрозненны. Они не верили Горбачёву, а других — взамен ему — не было; не могли смириться с выходом нескольких республик, скандалили между собой и даже объединиться против опасных действий демократов этой разобщённой массе не удавалось.

Демократическая среда тоже была не однородна. Зато у неё имелся харизматичный лидер и радикальное ядро. Ядро это пылало, как голова кометы, увлекая за собой демократическую пыль. Заряженные энергией ядра частицы пыли поверили в то, что, дорухив обветшалое здание прогнившей системы, они сообща построят новую, такую, как на Западе, демократическую жизнь. Но для этого надо, считал Катрин, убрать с политического поля самых опасных игроков противника. И прежде всего, новое правительство во главе с Павловым, который решительно выступал за наведение порядка. Верховный Совет должен потребовать у Горбачёва его отставки. А помогут депутатам шахтёры, которым будет передана эта директива.

— В своих записках, гражданин Савельев, я предлагаю...

— Никак не отвыкнете от прежнего обращения?.. Гражданин... Вроде как к подследственному. По-другому... по-людски... не получается?

— Я по-другому не признаю. Разве каждый мне может быть товарищем? Он за красных, я за белых. Какие мы товарищи? А господин... Это уж совсем не туда. Идёт, например, какой-нибудь... (Катрина скосоротило отвращение) — а я ему: господин! Гражданин — самое то. Хоть на допросе, хоть здесь. Так вот, о предложениях... Я хочу призвать Верховный Совет — через вашу газету... он должен объявить вотум недоверия правительству. Там одни враги нашего народа. Обокрали его реформой цен... Но им мало! Продолжают грабить. Если Верховный Совет не пойдёт на это, значит, там тоже враги.

— Чёрт возьми! Как вы надоели с врагами! — сердито воскликнул Савельев. — Ваше воззвание даже на заборах висело. Про врагов в правительстве. А вы снова... Чево вы хотите, Катрин? Ещё больше хаоса? Но вроде уж некуда. Я, по правде говоря, не знаю, где сегодня больше врагов. Там? — показал он на заполняемый зал. — Или на Краснопресненской набережной\*.

Лицо депутата мгновенно изменилось. На скулах окаменели небольшие бугры. Губы сжались в полоску ножа. Он откинул голову назад, чтобы снизу вверх поймать взгляд журналиста.

— Вы чужой человек, гражданин Савельев. Мы это вам запомним. Не забудем и не простим.

— Ничё себе! Эт как злодеяния фашистов?! Вы в своём уме, Катрин?! А если я сейчас скажу прокурору — вон он идёт, што вы угрожаете мне?

Лемар Тихонович негромко засмеялся, прикрыв рот рукой.

— Вам никто не поверит. Нет доказательств. А нам они не нужны. Мы будем без них знать, кто вы.

Он тихо отскользнул от Савельева и сразу затерялся среди депутатов в зале. А Виктор, пока поднимался на балкон, всё время чувствовал какой-то неуют от нешуточно зловещего голоса.

## Глава одиннадцатая

О том, каким будет заседание, Савельев, помимо собственных представлений, судил по количеству прессы. Если первые ряды балкона сплошь заняты длинноногими штативами, на которых установлены видеокамеры и фотоаппараты с "телевиками", значит, прессе заранее поступил сигнал — чаще всего от демократов: ждите сенсации.

В такой день пишущим журналистам из газет приходится искать места выше, и не всегда удобные. Савельева это не касалось. Он сразу застолбил себе место в середине первого ряда и не давал загораживать его, даже устраивая скандалы. Однажды чуть не свалил дорогую камеру, оттолкнув какого-то волосатого оператора. С ним перестали связываться.

Достав фирменный редакционный блокнот, Виктор открыл его на чистой странице. Записал: "17 июня. Понедельник". Ниже: "Павлов. Положение в стране".

---

\* На Краснопресненской набережной в Москве размещался Верховный Совет РСФСР (прим. авт.).

Председатель Верховного Совета монотонно объявил о присутствующих — почти целиком всё правительство, Комитет Конституционного надзора, вице-президент. Значит, Горбачёв в своём Ново-Огарёве, подумал журналист. Один из депутатов, с которым Виктор останавливался, сказал, что в Верховный Совет сегодня-завтра поступит новый Союзный договор.

В это время к трибуне подошёл премьер-министр. С недалёкого балкона была хорошо видна его плотная фигура, одутловатое лицо с большими очками, стриженные “ёжиком” волосы. Савельев включил диктофон и одновременно стал записывать.

Сначала Павлов говорил, какое он получил наследство. Потом перешёл к нынешнему состоянию.

— Положение в стране катастрофическое. Республики не перечисляют средства в госбюджет. Нарушены экономические связи. Меня спрашивают — как совместить суверенитет республик с идеей сохранения единого экономического пространства? Отвечаю: суверенитет всегда ограничен. Либо это делается добровольно, либо принудительно.

...Главный дестабилизирующий фактор, с устранения которого надо начинать — это политическая нестабильность. Страна вступила в критическую фазу. Ближайшие несколько месяцев решат: или мы овладеем ситуацией, или нас ждёт полнейший распад.

Савельев знал о разных выступлениях премьера. В конце марта на заседании Совета безопасности Горбачёв объявил: через два-три месяца нечем будет кормить страну. Хотя хлеб в стране есть. Ситуация складывается, как в 1927 году. То есть накануне сталинской коллективизации. Предложил всем подумать и собраться завтра.

На следующий день Павлов сообщил: только Украина и Казахстан могут сами себя прокормить, да и то едва-едва. В Москве на булочных либо замки, либо в них пусто. Из десятков городов поступает информация о готовности к забастовкам.

Теперь, к середине июня, обстановка стала совсем угрожающей, и премьер не скрывал тревоги.

— Главное — это уборка урожая. Нельзя допустить ошибок прошлого года. Если мы не сумеем убрать урожай, то страна должна будет встать на колени.

...Я вам скажу прямо: если будет продолжаться конфронтация с Россией, то государство развалится. Той страны, о которой мы сегодня говорим, в которой выросли, жили и работали, не будет.

...В условиях экономического и политического кризиса сплошь и рядом возникают ситуации, которые требуют мгновенного реагирования, быстрого претворения принятых решений в жизнь. Поэтому правительство должно обладать соответствующими полномочиями.

...Есть ли сейчас у Кабинета Министров СССР такие права? Ответственно заявляю — нет. Поэтому прошу Верховный Совет предоставить правительству дополнительные полномочия.

Савельев напрягся. Вот, оказывается, ради чего Павлов пришёл в парламент! Он расстегнул портфель, вынул полученный от Травкина листок бумаги. Ну-ка, что за проект решения подготовил премьер для Верховного Совета? Начал читать. “Шестой год так называемой перестройки привёл к развалу экономики и политической системы. В экономике происходят процессы, которые поставили страну на грань катастрофы. Падают выпуск продукции, национальный доход. Упала дисциплина на производстве. Расстроена денежная система. Практически потеряно управление народным хозяйством. Объявленные суверенитеты привели страну к гражданской войне. В результате мы имеем сотни погибших и около миллиона беженцев”.

“И эту правду он собирается узаконить? — изумился Савельев. — Это же будет официальное осуждение всего, что сделал Горбачёв!”

Виктор вспомнил другие выступления Павлова, рассказы некоторых коллег-журналистов о его разговорах в узком кругу. Премьер с каждым днём отдалял себя от Президента, не очень скрывал своё несогласие с действиями

Горбачёва. Да и сам Горбачёв, насколько можно было судить, уже жалел, что не послушал совета павловского предшественника Рыжкова.

Свалив все свои ошибки на бывшего главу правительства и, по сути, предав покладистого “непротивленца” Рыжкова, Горбачёв, как ни в чём ни бывало, 12 января 1991 года приехал к тому в больничную палату, где Николай Иванович выходил из обширного инфаркта. Увидев его, растерялся. Рыжков был худой, с зеленоватым цветом лица. Тем не менее, стал спрашивать, кого лучше поставить во главе Кабинета министров — так теперь было решено назвать правительство. Неокрепший Рыжков слабым ещё голосом давал точные характеристики, поскольку работал с каждым в обстановке, когда год за два идёт. После нескольких фамилий президент назвал Павлова. “Хороший финансист, — сказал Рыжков, — но промышленности, производства не знает совсем. И ещё одно — он пьёт... Опасно. Не верю я ему, не выдержит, начнёт срываться...”

Горбачёв подумал тогда, что пьянство — не самая большая беда для сильного министра финансов, кем в те дни был Валентин Павлов. Пьёт же Ельцин. За границей и дома не просыхает. В каждый понедельник лицо увеличивается вдвое. А народ всё твердит: “Наш человек!” Павлов хоть знает финансы... Остановил бы он крушение несущегося под откос государственного состава. Как-нибудь поправил экономику. С финансами что-то сделал, пока он, Горбачёв, ищет кредиты. Обещают американцы. Канцлер Коль должен помочь — отдал ему ГДР почти бесплатно. Потом из разорванных обломков он, Нобелевский лауреат мира, соберёт свою страну. И те, кто кричат сейчас: “Долой Горбачёва!”, будут благодарить его за создание нового советского государства. Пусть оно будет меньше... Потом и те придут, кто захотели самостоятельности... А не придут — всё равно много останется. Только останется ли?

Последний вопрос страшил его и мучил, как исчезающая зубная боль. Он даже жене не говорил об этом страхе. Но она — умная, проницательная, понимала его страх, видела скрываемое даже от неё отчаяние, с которым он возвращался домой после тяжёлых, вязких переговоров с представителями республик, и каждый раз старалась своими словами перевести его сознание в другие временные ситуации, в отдаляющиеся, а может, потому особенно согревающие, моменты их прошлой жизни.

Он видел эти её старания и переживал ещё больше. Разве думал он 11 марта 1985 года, когда все присутствующие на заседании члены Политбюро (кое-кто попасть не успел) беспрекословно согласились с предложением министра иностранных дел Громько избрать его Генеральным секретарём ЦК КПСС, что через пять лет рядом с ним не будет ни этих людей, ни той мощи государства, которое он возглавил. Оно, конечно, было проблемным — это государство СССР. И правильно, что он начал его обновлять. Но как, в какие моменты происходили ошибки, когда действовали неправильно его люди, теперь обвиняющие в промахах своего вчерашнего кумира? Ничтоже-ства! Он если и ошибался, то в самых мелочах. Главные ошибки делали они. Те, кого он поднимал и так же решительно потом убирал. Как же не разглядел он их — недостойных его таланта, его способностей. И почему получился такой результат? Вторая империя мира, занявшая огромную часть земного шара, а вместе с социалистическими странами и просто сателлитами охватившая едва ли не треть планеты, сегодня осталась одна и рассыпается сама. Такого он не мог представить себе даже в бреду. Думал уйти в историю властелином великой державы, оставить её в расцвете и мощи благодарным потомкам... Будут памятники ему... Обязательно и им двоим, потому что без неё он не стал бы тем, кто он есть.

Но люди, которым он доверял, подвели его. Теперь приходится искать новых. Надо выкарабкаться сейчас... Пусть займётся этим Павлов...

Через два дня после разговора с Рыжковым Президент назначил Павлова премьер-министром. Ему понравилась идея денежной реформы, которую подготовил министр финансов. Товаров и продуктов в торговлю поступало всё меньше, а наличных денег в стране становилось всё больше. Это стремительно поднимало цены: то, что позавчера можно было купить за пару рублей,

вчера — за пятёрку, сегодня приближалось к десятке. Кроме того, Павлов откуда-то имел сведения, что за границей специально накоплена значительная масса советских денег для вброса их в нужный момент на территорию Советского Союза. Такая акция могла стремительно разрушить финансовую систему, парализовать жизнь государства. Он предложил Президенту провести молниеносное изъятие старых крупных купюр, обменяв их на новые. При этом резко ограничить количество разрешённых к обмену денег. Горбачёв согласился.

Через восемь дней после назначения Павлова премьер-министром Президент подписал Указ об изъятии из обращения пятидесяти- и сторублёвых купюр образца 1961 года. Всего за три дня их надо было обменять на мелкие. Причём, поменять не больше одной тысячи рублей на человека. Возможность обмена большей суммы решалась специальными комиссиями. Одновременно со сберкнижки можно было снять до 500 рублей.

По замыслу автора реформы, такие жёсткие меры должны были оставить в обороте вместо 133 миллиардов рублей наличных денег чуть больше 50 миллиардов. Остальные превращались в ненужные бумажки.

Главный удар предназначался теневой экономике и организованной преступности, поскольку именно там, а не у населения, скопилось огромная наличность. Однако расчёты оправдались частично. Все страдания приняли на себя рядовые граждане. Возле отделений Сбербанка мгновенно возникли огромные очереди. Люди стояли днём и ночью, давили друг друга, падали в обморок.

Паника охватила тех, кто копил на машину или кооперативную квартиру и держал деньги дома. В специальных комиссиях они должны были доказать, что эти деньги накоплены честным путём за много лет. А кто думал, что надо десять-пятнадцать лет хранить документы.

Реформа взбудоражила страну. Отношение к правительству стало злым. От него ждали не столько хорошего, сколько какой-нибудь пакости.

И она случилась. В виде апрельской реформы цен. За её разрешением Павлов дважды обращался в Верховный Совет. О необходимости повышения розничных цен говорили на разных уровнях власти. Запущенную проблему бурно обсуждали республиканские парламенты. Все понимали: нельзя сохранять низкую цену товара, если себестоимость его производства в полтора-два раза выше. Это не укладывалось в рыночные законы экономики, введения которых требовали демократы. В конце марта Россия и одиннадцать других республик подписали с Президентом Союза ССР Горбачёвым Соглашение о реформе цен. От Российской Федерации документ утвердил заместитель Ельцина профессор-экономист Руслан Хасбулатов. Впервые после Хрущёва предусматривалось увеличить государственные розничные цены в среднем примерно в полтора раза.

Однако местные власти, получив карт-бланш под названием “повышение цен”, не только подняли установленные барьеры где в два, где в три раза, но и включили туда непредусмотренное: коммунально-бытовые услуги, тарифы на городской транспорт.

Реформа павловского правительства оказалась как нельзя кстати для окружения Ельцина. “Демократическая Россия” огромным тиражом отпечатала заявление, смысл которого сводился к известному когда-то призыву: “К топору!” Именно это воззвание имел в виду Савельев, отвечая депутату Катрину. Не только со страниц газет, но даже с фонарных столбов и заборов людям бросался в глаза непривычно грубый текст под крупно набранным заголовком:

***Держи вора!***

***Граждане России!***

***Второго апреля 1991 года совершён грабёж, крупнейший за все советские годы. Ограблена ВАША семья, похищены ВАШИ трудовые сбережения. Так называемой реформой цен правительство Павлова в один день понизило свою задолженность народу на сотни миллиардов рублей...***

***...Второе апреля — день похорон Горбачёва как государственного деятеля. ...Отказавшись платить долги народу, грабительский Центр кричит, по-***

**казывая пальцем на парламент Ельцина: “Держи вора!” Мы утверждаем: за новое ограбление народа несёт полную ответственность правительство Горбачёва—Павлова...**

**...Ради содержания КГБ, роскошных госдач и потайных привилегий Центр отнимает кусок хлеба у ветерана, чашку молока у ребёнка... Нет — поддержке военно-промышленного комплекса за счёт народа! Требуем правительство народного доверия!**

И вот теперь, подумал Савельев, премьер хочет получить от депутатов дополнительные полномочия? Да разве они их дадут после таких неуклюжих его действий?

С другой стороны, всё написанное в проекте решения правильно. Если не принять каких-то экстраординарных мер, процесс развала и последующий крах не остановить. Но понимает ли это Горбачёв? И как он сам относится к просьбе... Нет, Павлов уже не просит... Премьер требует дополнительных прав!

Действительно, стоящий на трибуне плотный мужчина с причёской “ёжиком” в этот момент громко произносил слова: “Я требую полномочий! Не для себя лично! Они нужны для спасения страны!”

Едва он закончил, как зал зашумел. Люди в рядах перекрикивались друг с другом. Некоторые из тех, кто не были членами Верховного Совета и не имели специально оборудованных кресел с кнопками для записи на вопрос, кричали так, что их было слышно на балконе.

Вдруг снизу раздался визгливый голос:

— Зачем тебе ещё полномочия?! Хочешь совсем ограбить народ?!

Савельев узнал Катрина. Он даже не назвал премьер-министра по имени-отчеству, не произнёс фамилии. Главе правительства большого государства кричал как соседу за пивным столом. Виктор разглядел сверху плешь на редковолосой голове депутата, который дёргался прямо под ним. Первое желание было — уронить диктофон. “Жалко. Можно плюнуть, но попадёшь на другого”.

А Павлов, сдерживая кипящую в нём ярость, тоже громко ответил:

— Я сказал, для чего. Если вы не понимаете, то надеюсь на разум других.

Несколько раз премьера спросили: согласованы ли его требования с президентом? Это был не простой для него вопрос. Сначала он ответил уклончиво:

— Рабочий день президента — 14 часов. Он несёт ответственность за многие вопросы. Если всё “замкнуть” на него, даже 24 часов не хватит. С моей точки зрения, многое президент вообще не должен брать на себя.

Потом депутат из Украины потребовал чёткого ответа:

— Вы выходите с предложениями от Кабинета Министров? Или это согласовано с президентом? Ответьте, пожалуйста, с максимальной откровенностью.

Павлов взял стоящий на трибуне стакан с водой. Сделал глоток. Сказать, что согласовано, нельзя. Через несколько минут узнают. Вон сидит в первом ряду Яковлев. Теперь он не член Политбюро — демонстративно вышел. Не член Президентского совета. Но всё равно, рядом с Горбачёвым. Его старший советник. Сейчас поднимется и захромает за сцену, в комнату президиума. Позвонит Президенту. Потом, как депутат, попросит слова.

Горбачёв и без того едва сдерживает неприязнь. Премьер видел, как тот недавно обжёг его чёрно-угольными глазами на заседании Совета Федерации, когда Павлов объявил, что золотой запас страны упал с 85-го года в 10 раз, а внешний долг, наоборот, в пять раз вырос. Все поняли, кто виновник. Горбачёв вышел и до конца заседания не вернулся.

Поэтому нельзя говорить, что требования согласованы. Депутаты вряд ли поверят. Наверняка обратили внимание, что за всё время почти часового выступления премьер ни разу не сказал “Михаил Сергеевич”. Слова “Президент Горбачёв” произнёс только однажды и то по поводу предстоящей встречи того с главами семи государств. “Деньги будет кланчить, — с неприязнью подумал Павлов. — И не понимает, што не дадут. Под што давать? И кому? Растерявшему страну побирушке? Ездит по миру... Тарахтит... Строит из себя целку после семи абортот”.

— Я не считаю нужным кривить душой в таких вопросах и на такой трибуне, — сказал Павлов. — В этот раз вопрос не обсуждался. Хотя вы можете обратить внимание, что этот вопрос я ставлю не первый раз.

Зал то успокаивался, то начинал шуметь. Гвалт поднимали не члены Верховного Совета, лишённые возможности, в отличие от своих коллег, нажать кнопку и попросить слова. Председатель Лукьянов с каменным лицом сфинкса глубоким, утробным голосом регулировал очерёдность записавшихся с места и сдерживал буйство вышедших без приглашения к микрофону. Наученные опытом первых съездов, когда микрофоны работали всё время, и говорить — кричать мог каждый, кому удавалось прорваться к ним, теперь микрофоны включали по команде.

— Депутат Коган! Ваш вопрос.

Из середины рядов медленно, аккуратно ставя костыли, чтобы не наступить кому-нибудь на ногу, вышел огромного роста молодой бородатый мужчина. Савельев невольно улыбнулся. У него всегда поднималось настроение при виде этого бородатого великана. Он хорошо знал его. Делал с ним интервью. Готовил большую статью депутата. К 37-ми годам Евгений Коган стал легендарной личностью. Когда в Эстонии начали создавать Народный фронт, Коган, в противовес националистам, организовал Интердвижение. Это было естественно для него. Родился и рос в интернациональном Владивостоке, в семье морского офицера и бухгалтерши. Там поступил в такой же разноплеменный институт, хотел стать кораблестроителем. Доучивался в Таллине, куда переехала семья. Простым судомехаником ходил на рыболовецких судах в море с людьми разных национальностей. Хотел перемен в стране. Но не её разрушения. Когда этот огромный молодой мужик появлялся на митингах, после его страстных выступлений ряды готовых примкнуть к националистам редели. Люди переходили в Интердвижение. Зато оставшиеся ещё сильнее ненавидели его.

Перед выборами народных депутатов СССР произошла беда. На междугородней трассе большой автобус лоб в лоб ударил в “Жигулёнка”, на котором Евгений за рулём ехал на очередной митинг. Его собирали по кусочкам. С началом избирательной кампании легенды о Когане разнеслись по всей Прибалтике. Почти неподвижного мужчину на носилках приносили из больницы на митинги и встречи с избирателями. Проходили минуты, и люди забывали, что перед ними инвалид. Могущая убеждённая в необходимом сохранении страны сделала Интердвижение и её лидера единственной помехой наглеющим сепаратистам. Подулёжа в кресле, он участвовал в телевизионных спорах. Эрудированный, волевой человек, скрывающий собственную боль, Евгений болел за будущее своей страны, громя ораторским мастерством националистов.

Русские избиратели Таллина избрали Когана народным депутатом СССР. С того времени Савельев узнал этого человека лично. Почти ровесники — Виктор был не намного старше Когана, они и политически трансформировались одинаково. После выборов Евгений вступил в Межрегиональную депутатскую группу, к зарождению которой приложил руку Савельев. Однако прозрение наступало быстро. “Не могу я слышать про эту шайку разрушителей, — сказал как-то Коган, выскывая взглядом в фойе кресло, где он собирался сесть, чтобы отдохнуть от костылей. — Если у них и раньше были такие цели, то я дурак, Виктор Сергеич, што не разобрался сразу”. “А какой я дурак, ты себе, Евгений Владимирович, и представить не можешь”.

После этого Коган стал одним из создателей депутатской группы “Союз”, выступавшей за сохранение СССР. А ещё раньше — открытым критиком Горбачёва. Савельев сам видел, как съёживался и мрачнел Горбачёв, когда к трибуне шёл на костылях бородатый рослый мужчина, способный сказать ему в лицо, и через телекамеры всей стране, что он думает о деятельности близорукого перестройщика.

Теперь он шёл к микрофону, чтобы спросить о чём-то премьера.

— Валентин Сергеевич! Вы сказали, што от антиалкогольной кампании страна получила 200 миллиардов рублей убытков. Это громадные потери для финансовой системы государства. Кто несёт за это ответственность? Правительство? Президент?

— Могу просто рассказать историю — я говорил это и журналистам. Один человек не подписал документ... самый главный... антиалкогольный... Раз не подписал, второй, третий. А на четвёртый раз приехал домой ночью мрачный и сказал, што подписал, потому што ему заявили: или партбилет положишь и уйдёшь с работы, или...

Закончить премьеру не дали. Зал загудел. Но было и так ясно: Павлов разве что фамилию Горбачёва не назвал.

Тем не менее, и по вопросам, и по выступлениям Савельев чувствовал: сторонников дать правительству дополнительные полномочия — не большинство. Что останавливало остальных людей? Боязнь показаться консерваторами, которые своим решением прервут развитие демократических процессов? Или откровенная радость по поводу ускоряющегося распада, за которым наступит какая-то новая жизнь? Какой она будет в реальности, никто не представлял. Знали ту, что есть сейчас, и лишь миражные видения о другой, западной. Не догадываясь, в силу разных причин — умственных возможностей, малой осведомлённости, что мираж он и становится сладостно-волнующим только для ослабленного организма.

Виктору стали надоедать эти волны слов. Тем более, не всегда имеющие отношения к тому, что происходило за стенами зала. Там стояли шахты, с переборами работала промышленность, на селе, судя по заметкам в его же газете, которую он утром взял в редакции по пути в Кремль, был тоже хаос. Он выключил диктофон, стал просматривать газету и, углубившись в неё, не сразу понял, что кто-то предложил сделать заседание закрытым.

— Эт про какое заседание говорят? — повернувшись к соседу-журналисту из главной профсоюзной газеты, спросил Савельев. — Про следующее што ль?

— Да нет. Хотят это заседание продолжить в закрытом режиме. Будут выступать председатель КГБ и два министра — обороны и внутренних дел. Они попросили закрыть.

Вслед за этим объявили перерыв.

С одной стороны, Савельева такой поворот обрадовал. Он с удовольствием пошёл в курилку. С другой — заинтриговало: какую неизвестную информацию сообщат “силвики”?

Вместе с тем, Виктор скептически отнёсся к самой идее закрытости. Сохранить тайну при таком политическом раздрае депутатского корпуса — всё равно, что удержать пикантный секрет про одну из женщин, сообщив его нескольким её конкуренткам.

Но, поразмыслив, решил, что в виду чрезвычайной обстановки могут быть выложены убийственные сведения. “Тогда зачем их прятать от прессы, а значит, от страны?”

Как бы то ни было, а послушать надо, подумал Виктор и двинулся к стенографисткам.

Служба записи и расшифровки заседаний занимала несколько комнат. Звук и видеоизображение из зала поступали в небольшую комнатку, где с принимающей аппаратурой работали трое молодых мужчин. Всех их Виктор знал и они его тоже. Перед каждым праздником он приносил бутылку водки, какую-то закуску и, когда наступало затишье, в комнатке начинался лёгкий пир. Как правило, принесённого не хватало. Ребята доставали свою бутылку, на что Савельев всякий раз реагировал репликой: “Верно говорят: бери две, чтоб не бежать за третьей”. Несмотря на частокол “расписок” и “подписок” о “неразглашении”, ребята были раскованные, а постоянная жизнь внутри политического виногрета наполняла их то тревогой, то скептицизмом. При этом и политические пристрастия здесь тоже были разные, из-за чего вскоре после начала тихой выпивки децибелы спора выходили за рамки подпольной допустимости.

Журналист тоже возбуждался, но, спохватившись, шёл в большую соседнюю комнату. Сюда от “техников” передавались кассеты, и несколько женщин с наушниками расшифровывали всю муть, которую несло из зала заседаний.



Виктор не забывал и стенографисток. Через знакомую директоршу магазина доставал им бутылку шампанского и коробку хороших конфет, что стало к тому времени невероятной роскошью. Вынув из своего вместительного портфеля “подарок девочкам”, он забирал старшую стенографистку Зою в комнату “техников”. Там нити разговора уже напоминали клубок, которым поиграл котёнок.

Весёлый, стройный Савельев нравился тридцатипятилетней Зое. И он, живущий по принципу: не пропускай ни одной юбки, если в ней хорошее тело, тоже давно заглядывался на неё. Однажды, когда “техники” и стенографистки, объединившись, особенно загуляли, Виктор вывел Зою в коридор, чтобы найти какой-нибудь закуток. “Не здесь, — сказала женщина. — У нас есть одна комнатка...”

Больше такие обстоятельства не складывались. Но тёплые отношения, готовые в любой момент вспыхнуть страстью, к удовольствию обоих, остались. Запомнил Виктор и назначение комнаты. Здесь стояла резервная аппаратура звуко- и видеотрансляции из зала заседаний. Теперь Савельев решил попросить Зою послушать там закрытую часть. Женщина немного поколебалась — она шла на явное нарушение. Но глядя в тёплые, светло-карие, упрашивающие глаза, согласилась. “Только возьмишь наушники. Звук не должно быть слышно”.

## Глава двенадцатая

Савельев заперся изнутри. Зоя показала, что включать и как. На экране появился несколько опустевший зал. Он надел наушники и как будто оказался в зале. Можно было разобрать приглушённый разговор в президиуме, голоса из первых рядов, а видеочамера, медленно проходя по лицам присутствующих, показывала даже их мимику. “Вот это я устроился! — самодовольно погордился собой Виктор, подсоединив диктофон к разъёму в аппаратуре и по привычке открывая блокнот. Для бравады хотел записать: “закрытое заседание”, но остановил себя. Мало ли что может получиться.

Уже с первых минут начавшегося заседания ему стало понятно, что силовики пришли в Верховный Совет не просто проинформировать депутатов о положении в стране, а жёстко поддержать требования премьера о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий.

— Заканчиваются переговоры по сокращению на 50 процентов наступательных стратегических вооружений, — рыкающим командным голосом бросал в зал слова министр обороны маршал Язов. — Нам придётся уничтожить около шести тысяч единиц ядерных боеприпасов и примерно 800 ракетно-носителей. На это потребуются пять миллиардов рублей. Вывод войск из Венгрии закончен. Из Чехословакии осталось отправить пять эшелонов. Из Германии, после объявления Горбачёвым о том, что мы сократим на 50 тысяч человек, в этом году предстоит вывести ещё четыре дивизии.

“Надо же, какие затраты! — подумал Савельев. — Где возьмёт Павлов деньги, если республики отказываются перечислять их в союзный бюджет?”

А пожилой, грузный человек в маршальском мундире продолжал докладывать депутатам, словно не Горбачёв, а они были Верховным главнокомандующим, в каком сегодня состоянии находится армия. Уволили 100 тысяч офицеров. Треть из них — не смогут получать пенсии. В то же время недокомплект офицерского состава — в три раза больше всех уволенных.

— Республики приняли законы, по которым призыв практически невозможен. Вооружённых сил у нас скоро не будет.

Когда камера задерживалась на грубом бугристом, лице маршала, Виктор видел, как трудно тому говорить обо всём этом. Дмитрий Тимофеевич хмурился, время от времени сжимал в кулак лежащую на краю трибуны руку. Интонация, с которой была вскользь произнесена фамилия Горбачёва, говорила об отношении министра обороны к президенту. А ведь поначалу он едва ль не боготворил его. За внезапное вознесение на вершину армейского Олимпа.

Так бы и оставаться Язову, вплоть до ухода в отставку, заместителем министра обороны по кадрам, если бы Горбачёв и Яковлев не воспользовались подвернувшимся случаем и не убрали активных противников разоруженческой политики генсека. Летом 1987 года в центре Москвы, рядом с Кремлём, сел маленький самолётик молодого немца Матиаса Руста. Его могли уничтожить несколько раз, но цепь загадочных случайностей, скорее напоминающих тщательную подготовку провокации, уберегла пилота от той судьбы, которая настигла пассажиров южнокорейского “Боинга”, сбитого над советской территорией за пять лет до того. Все, самые жёсткие противники антиоборонного курса, во главе с министром обороны маршалом Соколовым, были разгромлены. И неожиданно для всех, а главное, для него самого, министром обороны стал Язов. Он был, конечно, не худший генерал в армии. Но были лучше. Смелее. Масштабнее. Твёрже. Образованнее. В конце концов, больше на слуху. Один из таких — Валентин Варенников. Прошёл всю Отечественную войну. Воевал в Сталинграде, брал Берлин. По личному указанию Жукова встречал Знамя Победы в Москве, привезённое из Берлина. Потом участвовал в параде Победы. После войны закончил две военных академии и Высшие курсы Генштаба, что равнялось третьей. К моменту “операции Руст” несколько лет был первым заместителем начальника Генерального штаба.

Однако Горбачёв и Яковлев выбрали Язова. Считая его более управляемым и, значит, более надёжным. Им нужны были именно такие. Для страховки Горбачёв три года держал Дмитрия Тимофеевича на высшей военной должности в ранге генерала армии, чего никогда в истории страны не было. Только в 90-м Язов стал маршалом.

Как человек дисциплины министр ещё сохранял верность Горбачёву. Но это было на пределе. Пожилой солдат всё чаще переступал субординацию. Когда организованная в яковлевских СМИ вакханалия о потерях в Великой Отечественной войне достигла невиданных цифр, министр обороны потребовал на заседании Политбюро утвердить заключение долго работавшей Специальной комиссии о потерях и опубликовать его. “С начала перестройки сделалось популярным, — сказал он, — увеличивать цифры потерь до 30, 40, 50 миллионов с целью принизить значение Победы и подвиг народа. Это неправда! В действительности военные потери составили 11 миллионов 444 тысячи человек. В том числе 6 миллионов 330 тысяч убитых и умерших от ран. Остальные — пропавшие без вести, попавшие в плен, умершие от болезней и несчастных случаев. Безвозвратные потери Германии и её союзников на Восточном фронте — 8 миллионов 650 тысяч человек”.

Требование министра обороны отвергли. “Я категорически против публикации подобных материалов, — нервно вскричал Шеварднадзе. — Их ещё надо перепроверить!” Также агрессивно выступил Александр Яковлев, который как раз и говорил везде: “В войне с Германией погибло не менее 30 миллионов человек, — добавляя при этом: — Я думаю, цифра больше”.

Ушёл от конкретного решения и Горбачёв, хотя видел, что дискредитация армии уже перешла в её моральное уничтожение. С помощью прессы военных делали врагами народа, третиговали нравственно и психологически. Особенно отличались националисты в республиках. В ноябре 90-го года маршал заявил Горбачёву: “Пора прекратить, Михаил Сергеевич, возрождение национализма и экстремизма. Может плохо кончиться”.

Но тот опять залопотал о пробуждении национального самосознания, как о достижении перестройки, и не увидел надвигающейся беды.

С каждым днём в военной среде нарастало отторжение Горбачёва, и 67-летний маршал всё больше разделял эти взгляды. Президента почти в открытую называли предателем интересов страны, заинтересованным в зарубежных похвалах, а не в оценках своего народа. Дмитрий Тимофеевич вспомнил выражение лица министра обороны США Дика Чейни на ужине в честь его прибытия в Москву. Они прохладно относились друг к другу, что было вполне естественным. Однако протокол надо было соблюдать. За год до прилёта Чейни в Советский Союз маршал Язов был его гостем в Вашингтоне. Теперь на подмосковной даче Министерства обороны проходил ответный

приём. Шли дежурные тосты, в разных концах стола военные обеих стран, где через переводчиков, где на пальцах, объяснялись в уважении к армии стратегического друга — противника.

Вдруг слово попросил Чейни. Пока он говорил про объединение усилий в борьбе за демократию и хвалил перестройку, советские генералы кисло улыбались, даже в чём-то поддакивали. Но едва американский министр обороны с восторгом сказал о присуждении Горбачёву Нобелевской премии мира за 1990 год, за столом наступила угрожающе мёртвая тишина.

Лицо Чейни побагровело. Он выглядел так, словно громко испортил воздух в присутствии всего застолья. Американец сообразил, что в этой среде нельзя говорить о заслугах Горбачёва за границей, поскольку в своей стране люди связывали с его именем только плохое.

Армия не была исключением. Перед самым заседанием Верховного Совета Язов собрал командующих военными округами и флотами. Центральной частью всех выступлений была критика Горбачёва. Люди говорили жёстко и грубо. Предлагали министру обороны действовать решительней. Ясней других мнение большинства сформулировал командующий Волжско-Уральским военным округом генерал-полковник Альберт Макашов. Поджарый и горбоносый, как степной орёл, он почти взлетел на трибуну и потребовал прямо на собрании принять заявление о недоверии президенту.

Но Язов оборвал все эти предложения. “Вы што, из меня Пиночета хотите сделать? Не выйдет!” — рявкнул он.

Он ещё верил Горбачёву. И хотя это были уже остатки веры, готовые погаснуть, как огонёк свечи на ветру, маршал не мог не держаться за них. Ведь сам же президент предложил ему, председателю КГБ Крючкову, министру внутренних дел Пуго и премьеру выступить на этой сессии и рассказать без украс о ситуации в стране. Потому он и стоит здесь на трибуне, перед людьми, половину которых старый солдат видеть бы не хотел. “Я не пойму, — говорил он своим приближённым, — почему демократы лучше консерваторов. Консерваторы хотят сохранить страну, а демократы развалить её, растащить армию. И это лучше?”

— Теперь, товарищи депутаты, как на нас сегодня смотрят в мире. В последнее время стали звучать реваншистские нотки. Выдвигаются требования о пересмотре наших границ. Раздаются голоса даже о расчленении Советского Союза и о необходимости установить международную опеку над ядерными силами и отдельными районами. Мы превратились во второразрядную державу.

“Примеры... Примеры приведи! — разволновался Савельев. — Всё это затёртые слова... Не трогают сознание... Конкретные факты нужны... Один-два убийственных факта... Што сказал американский министр обороны... Его советник... Што говорят заметные люди в Англии... в Штатах... Как формулируют требования о пересмотре границ... Пара цитат о международном контроле над ядерными силами... Нужно бить по чувствам... Они дадут сигнал в мозг... Неужели рядом нет ни одного живого помощника?” — с раздражением подумал Виктор о министре обороны и сбросил наушники на стол.

Он даже поначалу не стал слушать выступление министра внутренних дел Пуго. Лишь машинально следил за изображением на экране монитора. Телеоператор, снимающий для “архива”, не заболтился об эффектных кадрах. Медленно водил объективом по залу, изредка останавливался на ком-то, кто вызывал его личный интерес. Вот на экране прошло сосредоточенное лицо харьковского шофёра Сухова — громогласного, грубоватого критика горбачёвской перестройки и ельцинских демократов. Спокойно и даже равнодушно слушал министра савельевский коллега и давний его знакомый ленинградский журналист Анатолий Ежелев.

Потом на мониторе появилось худое, сердитое лицо знаменитой 38-летней чеченки Сажки Умалатовой. Эта женщина первой из всех депутатов год назад заявила Горбачёву, что он должен уйти в отставку с поста президента Советского Союза. С нею тогда согласились немногие, но рабская слепота большинства не остановила неистовую бригадиршу из Грозного. С той поры

белокурая чеченка с чёрными, как антрацит, глазами, не переставала говорить о гибельности для государства горбачёвской политики.

Теперь её что-то особенно встревожило. Савельев снова надел наушники. Сначала не понял, о чём говорит министр внутренних дел. Тот перечислял количество бронемашин и пулемётов, автоматов и пистолетов. “Оружия што ль дополнительно просит?” — подумал журналист. Однако вскоре сообразил: Пуго называет изъятое в местах межнациональных конфликтов вооружение. “БМП у бандитов! Уму непостижимо! — поразился Савельев. — Крупнокалиберные пулемёты! Пять лет назад эти слова сочли бы бредом сумасшедшего!..”

А плотный 54-летний мужчина с удлинённым лицом и большой залысиной, делающей заметный лоб ещё выше, сурово говорил депутатам:

— Преступность быстро растёт, организуется и политизируется. Никогда в истории страны не получала такого размаха пропаганда секса и насилия. Миллионы людей требуют принятия решительных мер против вопиющей безнравственности и преступности. Поэтому мы считаем: для эффективной борьбы с преступностью требуются меры чрезвычайного характера...

Послушав ещё немного министра внутренних дел и записав в ежедневнике: “Пуго тоже поддерживает Павлова”, Виктор собрался было пойти покурить, оставив при этом диктофон включённым. Однако вспомнил, что, выйдя из комнаты, больше в неё вернуться не сможет — замок не имел предохранителя. Пришлось опять браться за наушники. И, как оказалось, вовремя: на трибуне появился председатель КГБ Владимир Крючков.

То, с чего он начал, сразу захватило Савельева:

— Пользуясь тем, што заседание закрытое, позвольте мне, может быть, несколько обострённей, откровенней изложить, как Комитет госбезопасности видит ситуацию в нашей стране и вокруг нашей державы. Реальность такова, што наше Отечество находится на грани катастрофы. То, што я буду говорить вам, мы пишем в наших документах Президенту и не скрываем существо проблем.

Если в самое ближайшее время не удастся остановить крайне опасные разрушительные процессы, то самые худшие опасения станут реальностью. Не только изъяны прошлого (Крючков на миг затормозил, словно колеблясь: говорить или нет)... но и просчёты последних лет привели к такому положению дел. Главная причина нынешней критической ситуации кроется в целенаправленных действиях антигосударственных, сепаратистских и других экстремистских сил, не получающих должного и решительного отпора. Сегодня очевидно, што их конечными целями, идущими вразрез с интересами абсолютного большинства народа, являются изменение существующего конституционного строя и ликвидация Союза Советских Социалистических Республик.

“Увидели только сейчас? — сердито подумал Савельев. — А Тбилиси? А война в Карабахе? А Молдавия и Вильнюс? Ещё два года назад можно было загасить пробные костерки националистов. Китайцы ведь не дали разгореться пожару... Можно было и на Ельцина надеть узду. У таких смелость до первого кнута и пряника. Теперь его руками рвут страну”.

Вспомнив о Ельцине, Виктор вдруг пришёл к парадоксальной мысли. Вот кто мог бы беспощадно растоптать любых сепаратистов, окажись каким-то чудом во главе того Советского Союза, который достался в 85-м Горбачёву. Но “пятнистый”, как его зовёт Андрей Нестеренко, и здесь просчитался. Вырастил себе могильщика...

А председатель КГБ продолжал:

— Нет ни одного государства в мире, в котором демократия и гласность действовали бы в отрыве от правопорядка. У нас же в этом — серьёзный разрыв. И с каждым днём он становится губительней. Нельзя выступать за всемерное развитие демократии и вместе с тем не бороться за правопорядок, за торжество Закона... Пока мы рассуждаем об общечеловеческих ценностях и гуманизме, страну захлестнула волна кровавых межнациональных конфликтов. Миллионы наших сограждан подвергаются моральному и физическому террору. И ведь находятся люди, внушающие обществу, што всё это

нормальное явление, а процессы развала государства — это благо для каждого человека.

Крючков говорил бесцветным, ровным голосом, не повышая его даже в тех местах, где опытный оратор обязательно выделил бы важные слова интонацией. Он сообщал депутатам о разрыве сложившихся хозяйственных связей, о большом экономическом ущербе от забастовок, о снижении промышленного производства и прогнозируемой безработице. Савельев поморщился. Всё это он слышал и читал каждый день. Что нового скажет человек, отвечающий за безопасность страны? Такого, ради чего закрыли заседание парламента и что объединит разных по разумению людей, сидящих в зале, на судьбоносное решение?

Вдруг журналист насторожился. Председатель КГБ заявил, что хочет сделать отступление и привлечь внимание к одному примечательному документу.

— Он небольшой, — сказал Крючков почему-то извиняющимся тоном. — Всего полторы странички. Называется: “О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан”.

“Ну-ка, ну-ка! — мысленно воскликнул Савельев. — Как это выглядит в документе? В жизни мы эту публику видим на каждом шагу”.

О самом понятии “агент влияния” Виктор знал давно. Упоминание о нём встречал в исторической литературе, в мемуарах политиков, в записках дипломатов. Явление это было настолько же древним, насколько размытым в определении. Сюда, например, даже относили женитьбу, по распоряжению Александра Македонского, ста видных юношей из Греции и Македонии на знатных девушках завоеванной им среднеазиатской Согдианы. Якобы так великий полководец рассчитывал через десятилетия получить элиту, лояльную интересам своей родины — Македонии. То есть агентов влияния.

На протяжении веков людей, действующих против своего государства в интересах другого, зачастую враждебного, обретали путём подкупов, идеологической привлекательности, с использованием национального фактора. Прямым и откровенным агентом влияния российского императора Александра Первого стал министр иностранных дел наполеоновской Франции Талейран. Он работал за деньги. Причём за большие. Также не бескорыстно почти двадцать лет трудился на благо России и министр иностранных дел Австрийской империи Меттерних.

Вообще люди, связанные с дипломатией, всегда привлекали особое внимание зарубежных правителей и их спецслужб. Подумав об этом, Виктор вспомнил о Шеварднадзе, недавнем министре иностранных дел Союза. Он обратил на него внимание ещё в брежневские времена, когда неумная льстивость грузинского представителя по отношению к Генсеку сделала его всеобщим посмешищем. На съездах и пленумах каждый республиканский и областной секретарь считал необходимым “лизнуть” “дорогого и любимого Леонида Ильича”. Но до такого обилия восхвалений — за пределами холуйских и рабски угодливых, заставляющих краснеть даже самых бессовестных функционеров — не доходил никто. В одном из своих выступлений на партийном съезде Эдуард Шеварднадзе, в ту пору первый секретарь грузинской парторганизации, славословил Брежнева больше двадцати раз! При этом по выпренности сравнений превзошёл сталинского наркома путей сообщения Лазаря Кагановича, который на юбилее вождя в 1939 году назвал Иосифа Виссарионовича “локомотивом нашей эпохи”.

Потом Шеварднадзе, так и не научившийся толком говорить по-русски, изощрённо ругал “застой Брэжнева” и взахлёб хвалил начинаемую перестройку. Неожиданно для всех стал министром иностранных дел. Не имея ни соответствующего образования (медицинский техникум и пединститут), ни малейшего опыта дипломатической работы, располагая только покровительством Горбачёва, которому также неумно льстил, как недавно Брежневу, новый министр иностранных дел вскоре начал всё заметнее действовать в интересах американской стороны. В этом его публично обвиняли народные депутаты СССР. Называли конкретные факты неоправданных уступок американцам в разоружении, в сдаче советских позиций в Восточной Европе и, наконец, в тайном подписании Соглашения о передаче Штатам спорного участка шель-

фа в Беринговом море площадью свыше 50 тысяч квадратных километров. Какой это стало удачей для американцев, можно было судить даже по такому факту. Сенат США, обычно годами изучающий межгосударственные соглашения с другими странами, ратифицировал документ о стратегическом подарке в течение нескольких дней. Чтобы в СССР не успели опомниться.

Депутаты группы “Союз” потребовали немедленной отставки Шеварднадзе. Некоторые настаивали привлечь агента влияния и к уголовной ответственности, однако Горбачёв ограничился лишь отставкой своего соратника. Поэтому Савельев ожидал услышать от председателя КГБ не только общие слова об агентуре влияния, но и некоторые фамилии. Хотя бы того же Шеварднадзе. И удивлялся, почему Крючков этого не делает.

Виктор не знал, что главный чекист уже собрался было назвать Шеварднадзе, о котором имел гораздо больше негативных сведений, чем снимавшие его депутаты. Так, министр иностранных дел нарушил существовавшее до того правило и перестал направлять членам Политбюро записи своих бесед с зарубежными представителями. О чём он договаривался с иностранцами, приходилось верить ему на слово или догадываться. Встречаясь с госсекретарём США Бейкером, Шеварднадзе не всегда допускал на эти переговоры советских сотрудников, и даже переводчик зачастую был только американский. Во время встречи Горбачёва с Бушем на Мальте Бейкер улучил момент и сунул в карман Шеварднадзе записку. Уже это напоминало контакт резидента со своим агентом. Ещё удивительнее было содержание записки. В ней предлагалось прекратить помощь семи странам — союзникам СССР: Вьетнаму, Кубе, Афганистану, Анголе, Камбодже, Никарагуа и Эфиопии, а на высвободившиеся деньги построить в Союзе завод по выпуску зубной пасты и мыла. По сути дела, агенту влияния давалась инструкция о направлении действий...

Однако время шло, а Крючков лишь продолжал рассказывать общими словами о методах работы ЦРУ по вербовке агентов влияния. Он сам понимал, что от него ждут конкретных фактов, имён, должностей или хотя бы прозрачных намёков. Ждут, прежде всего, депутаты группы “Союз” — его идейные и стратегические сторонники. Два месяца назад представители этой влиятельной парламентской фракции пришли к Горбачёву и, как когда-то Сажи Умалатова, потребовали его отставки. “Вам надо уходить! Вы ничего не можете. Надо созвать внеочередной съезд народных депутатов СССР и оформить сдачу власти”.

Горбачёв поднял истеричный крик, заявил, что пришедшие никого не представляют и сам он никуда не уйдёт. Теперь глава госбезопасности должен был вооружить сторонников сохранения страны дополнительными фактами о действиях горбачёвской “команды развала”.

Но он не решался этого сделать. Несмотря на то, что факты были не об одном Шеварднадзе. Крючков пришёл на заседание Верховного Совета с большим материалом. В отдельной папке лежали тексты некоторых агентурных документов, в том числе — из иностранных спецслужб, об организации взрыва Советского Союза изнутри силами “пятой колонны” при активном участии агентов влияния. Здесь же был алфавитный список этой агентуры. Не всех. Только наиболее активных и опасных. Полный список хранился на Лубянке. С подробными сведениями о прохождении учёбы в различных зарубежных Фондах, Центрах, Институтах. С копиями расписок за полученные деньги. С текстами выступлений “учителей” и самих “учеников”. Кое-кто из них сидел в этом зале, и Крючков, отрывая на какое-то время взгляд от доклада, сквозь очки хорошо видел их лица.

Такой момент старался поймать оператор. Он тут же направлял камеру на председателя КГБ, и Савельев внимательно разглядывал этого человека. Небольшая почти круглая голова. Круглое, в мелких морщинках, лицо. Редкий пушок на вершине черепа. Обыкновенный гражданский костюм. Как и министр внутренних дел Пуго, главный чекист всегда ходил в штатской одежде. Мундир генерала армии надевал только в особых случаях.

В один из эпизодов доклада, когда Крючков рассказывал о том, что ЦРУ заранее подбирало людей, способных в дальнейшем занять важные посты в Советском государстве, оператор, ведя объектив камеры по залу, неужи-

данно задержал его на сидящем в первом ряду Яковлева. Савельев увидел, как вздрогнул и нахмурился “серый кардинал” перестройки, как сдвинулись лохматые брови на его грубом, бульдожьем лице. И тут же камера перешла на выступающего.

Оказалось, не один Савельев заметил невольную реакцию Яковлева. Бесстрастное до того лицо Крючкова внезапно изменилось. Виктор увидел, как сердито сжались губы председателя КГБ, а глаза за большими стеклами очков блеснули гневом. “Ого! У вас, ребята, оказывается, особые отношения! — удивился журналист. — Тут пахнет чем-то весьма серьёзным”.

Он решил, что причиной крЮчковской неприязни является главная роль Яковлева в создании разрушительной “гласности”, ибо как раз в этот момент председатель КГБ говорил о “враждебной существующему строю группировке”, которая, “овладев ключевыми рычагами в средствах массовой информации, активно объединяет свои усилия”. И не подозревал, что у руководителя госбезопасности страны были основания выдвигать “серому кардиналу” куда более серьёзные обвинения. Глава КГБ Владимир Александрович Крючков считал недавнего члена Политбюро и секретаря ЦК партии Александра Николаевича Яковлева действующим агентом Центрального разведывательного управления США.

### Глава тринадцатая

Впервые в поле зрения советской контрразведки Яковлев попал в 1960-м, после годичной стажировки в Колумбийском университете Нью-Йорка. Объясняя свои контакты с некоторыми американцами, оказавшимися сотрудниками ФБР, Яковлев представил дело так, будто несанкционированное общение с разными людьми помогло ему достать в закрытых библиотеках важные для Советского Союза материалы. Поскольку ещё окончательно не замёрзла хрущёвская “оттепель”, в инициативу насчёт нужных материалов поверили, и подозрения относительно молодого перспективного партийного работника не получили развития. Он снова, как и до стажировки, стал работать в аппарате ЦК КПСС. При этом довольно быстро пошёл в рост, поднявшись до руководителя отдела пропаганды Центрального Комитета.

Ситуация изменилась после публикации в ноябре 1972 года в “Литературной газете” его статьи “Против антиисторизма”. В ней он громил национализм и шовинизм, который якобы стали проповедовать некоторые литературные журналы. В основном русской направленности. Через несколько месяцев Яковлева отправили послом в Канаду.

Для амбициозного профессора всеобщей истории, разоблачавшего в своих диссертациях — кандидатской и докторской — продажность буржуазной литературы и американский империализм, видевшего себя во главе центрального идеологического аппарата, направление послом в какую-то Канаду показалось несправедливой ссылкой. Он затаил обиду на руководство партии.

В Канаде Яковлев близко сошёлся с премьер-министром страны Пьером Трюдо. Они вели продолжительные разговоры, ездили на охоту и на рыбалку. Посол оставлял рабочее место порой на несколько дней, и никто не знал, где он находится с премьером, о чём там говорят, что внушают советскому дипломату и какие идеи отстаивает сам Яковлев.

А узнать было бы интересно. В мае 1978 года он беседовал с одним из членов канадского правительства. Незадолго перед тем к американцам сбегал советский дипломат, пять лет работавший заместителем генсека ООН, Аркадий Шевченко. Он имел невероятный доступ к секретной советской информации. Об экономике СССР. О позиции советской стороны на переговорах по ограничению стратегических вооружений. О сотрудниках КГБ и ГРУ, работавших под дипломатической “крышей”.

Всю массу информации, а также сведения обо всех агентах КГБ за рубежом он выдал американцам.

Жена перебежчика отказалась следовать за ним и вернулась в Союз. Через два месяца покончила с собой.

Обсуждая эту историю, Яковлев энергично одобрил поступок Шевченко, а заодно раскрыл государственную тайну. Сообщил некоторые подробности завершившейся за два месяца до того операции по внедрению в агентурную сеть канадских спецслужб сотрудника КГБ Анатолия Максимова. Разразился громкий скандал.

К сожалению, на Лубянке узнали об этом лишь через несколько лет. Стенограмма беседы была добыта нашими разведчиками в 1987 году, когда Яковлев стал уже членом Политбюро и секретарём ЦК партии.

Также с опозданием дошла информация и от другого источника. После появления Яковлева в Канаде один почтенный англичанин предупредил своего давнего знакомого, сотрудника советского посольства в Оттаве: “Будь осторожен с новым шефом”. И дал понять, что тот “на крючке” у американцев.

Тем считанным единицам в КГБ, кто познакомился с этой информацией, трудно было поверить, что член Политбюро и секретарь ЦК по идеологии, постоянно требующий со всех трибун “больше социализма и гласности”, имеет какое-то отношение к иностранной разведке. Тем более, что материалы пришли от агента, работающего в Штатах. Не специальная ли это операция, цель которой дискредитировать второе лицо в перестроечной команде Горбачёва? Крючков, руководивший тогда Первым главным управлением КГБ СССР — советской внешней разведкой, высказал даже неудовольствие одному из своих заместителей за неразборчивость в работе с поступающей информацией.

Но прошло полгода, и теперь уже более надёжный источник — непосредственно из ЦРУ, известил советскую разведку о том, что Яковлева давно, ещё со времени стажировки в Колумбийском университете, считают в американской спецслужбе “своим человеком”. При этом возлагают на него “большие надежды”.

А вскоре ещё один советский агент и тоже сотрудник ЦРУ сообщил примерно о том же. Не обращать внимания на поступившие сведения было нельзя. Их доложили тогдашнему председателю КГБ Чебрикову. О том, что он их, как говорили в канцелярских сферах, “положил под сукно”, Крючков догадался в самое ближайшее время. В октябре 1988 года Чебриков уходил в отставку. На его место заступал Крючков. При передаче дел зашёл разговор о необычных сведениях по поводу Яковлева. Экс-председатель мрачно буркнул сменщику:

— Будь осторожен. Учти: Яковлев и Горбачёв — одно и то же. Через Яковлева не перешагнуть. Можно сломать шею.

Чем сильнее перестройка ломала страну, тем активнее становился “серый кардинал”. И если каждое дело, к которому он был причастен, зарождало у аналитиков советских спецслужб беспокойные вопросы, то у их коллег за океаном — определённое удовлетворение. Об этом не переставали сообщать в КГБ работающие в разных странах агенты советской разведки. В 1990 году поток сведений о Яковлеве стал настолько плотным, что Крючков решил пренебречь советом своего бывшего шефа. Особенностораживающая информация поступала из США. Завербованный пять лет назад высокопоставленный сотрудник ЦРУ Олдридж Эйме доносил на Лубянку, что, по оценкам его ведомства, Яковлев занимает очень выгодные для Запада позиции, надёжно противостоит консерваторам в советском руководстве и на него можно твёрдо рассчитывать в проведении нужной политики. Этому агенту, имеющему оперативный псевдоним “Циклоп”, в Москве очень доверяли, и не без оснований. Он входил в руководство управления, которое координировало контрразведку против Советского Союза, раскрыл десятки агентов ЦРУ, работавших в СССР. В том числе несколько ответственных советских разведчиков и контрразведчиков, давно завербованных американцами.

Последним толчком стало сообщение о том, что одному американцу поручили переговорить с Яковлевым и попросить от него большей активности. Крючкову было известно: такие разговоры ведутся с теми, кто когда-то дал согласие работать на разведку, но в нужное время не слишком проявляет себя.

Председатель КГБ собрал в папку необходимые документы и пошёл к Горбачёву.



До избрания Горбачёва Генеральным секретарём начальник внешней разведки лично с ним не встречался. Знал, что на том заседании Политбюро, где Громько предложил кандидатуру Горбачёва, тогдашний председатель КГБ Чебриков, “от лица всех чекистов”, энергично поддержал министра иностранных дел. После прихода Горбачёва к власти встречи случались, но эпизодические. Зато потом, когда Крючков в 88-м году возглавил Комитет, стали чаще.

Они не всегда проходили в полном согласии. Новый председатель КГБ порою аккуратно не соглашался с Генсеком, дипломатично высказывал свою точку зрения. Тот многословно спорил, иногда сердился, но через некоторое время сделал Крючкова членом Политбюро. Это позволило главному чекисту, теперь уже при регулярном общении, всё глубже узнавать натуру Горбачёва, его характер и манеру поведения.

Первое, что заставляло задуматься — это отсутствие какой-то чёткой, продуманной стратегии действий в переустройстве страны. Привыкший просчитывать ходы наперёд, обладающий ровным аналитическим умом Крючков с беспокойством догадывался, что перестройка начиналась, скорее всего, спонтанно, под влиянием импульсивных желаний, а не трезвого расчёта. Как говорят в народе: “на авось”.

Одновременно становились заметными не самые лучшие черты характера — нетерпимость к любой критике в свой адрес и непоследовательность действий. Могли сколько угодно критиковать страну, его предшественников на посту руководителей (в чём Горбачёв сам активно участвовал), даже членов “перестроечной” команды — всё это воспринималось спокойно. Однако едва с негативным оттенком произносилась фамилия Горбачёва, он мгновенно взрывался. В зависимости от ситуации и окружения, мог отхлестать критиков матом. Впрочем, и литературные выражения в таких случаях порой балансировали на грани пристойности.

Гораздо хуже, на взгляд Крючкова, было непостоянство генсека. Он то и дело менял собственные ориентиры, а отсюда — и цели других, без видимых причин отказывался от взглядов, недавно высказанных им самим, и бросался в противоположную крайность, обещал кому-то поддержку и вскоре отворачивался от этого человека. Как руководитель ведомства, которому, в силу специфики, должно быть известно очень многое, Крючков знал, что Михаил Сергеевич стал Генеральным секретарём ЦК Компартии только благодаря Андрею Андреевичу Громько. В ходе закулисных переговоров через посредника Громько согласился выдвинуть Горбачёва и назвал единственное условие: перейти с дипломатической работы, которой отдал сорок шесть лет, в Верховный Совет СССР. Горбачёв заявил посреднику, которым был Яковлев, чтобы старый дипломат не волновался. “Скажи ему, я умею держать слово”.

Но очень скоро Громько понял, что сделал ошибку — рекомендовал в руководителя государства не того человека. Он чувствовал свою вину и признавался в этом не одному Крючкову. А Горбачёв не долго “держал слово”. Через три года под его давлением Громько ушёл из Верховного Совета СССР. Ещё через год умер. И, стоя у его гроба в Доме Советской Армии, глава КГБ размышлял не только о неблагодарности Горбачёва, который даже последнюю церемонию не разрешил сделать в подобающем для Громько месте — Доме Союзов. Он думал о несовершенстве мироустройства и человеческого разума в нём. В какие только глубины материи и духа ни проникли учёные, в том числе из его ведомства, а просчитать последствия тех или иных своих шагов люди по-прежнему не могут. Знать бы, что принесёт народу твоя соглашательская или, наоборот, жесткая позиция, поддерживаешь ли ты этим глобальное добро или, напротив, рождаешь огромное зло, и как заранее предугадать, не лучше ли проявить жестокость по отношению к одному, чтобы, тем самым, спасти миллионы?

Эти мысли не раз появлялись у Крючкова после похорон Громько. Поэтому, идя к Президенту, он ещё раз пытался проиграть в уме возможные варианты разговора и уровень достоверности информации по Яковлеву. Полагал: надо допроверить. Однако в главном был убеждён: у него в папке жутковатая, но — правда.

Увидев входящего в кабинет главного чекиста, Горбачёв встал навстречу. Поздоровался.

— Какие новости в твоей грозной епархии?

— Всякие, Михаил Сергеевич. В том числе — неважные.

— Да ты садись, садись! — показал Горбачёв на место за приставным столом из карельской берёзы. Сам сел за свой рабочий из того же дерева. — Рассказывай.

Крючков открыл кожаную, в полпортфеля толщиной, папку. Взял из неё тонкую, пластиковую.

— Нехорошие сведения, Михаил Сергеевич... Об Александре Николаиче Яковлеве.

Горбачёв сразу нахмурился. Яковлев несколько раз намекал ему, что председатель КГБ лезет не в свои дела, копает под близких Президенту людей, всё больше сходится с ретроградами из группы “Союз”.

— Так уж нехорошие... У тебя за каждым кустом шпион...

Крючков ожидал такой реакции. Поэтому, прежде чем передать папку Президенту, стал рассказывать. Когда заканчивал, подал донесения агентуры. Разумеется, там не было никаких зацепок, дающих возможность вычислить агента. Чем меньше людей знают внедрённого сотрудника или завербованного человека, тем безопасней его судьба. Андропов как-то рассказывал Крючкову, своему давнему протеже и надёжному помощнику, работавшему в тот момент начальником секретариата председателя КГБ, об одном разговоре с Брежневым. После доклада агентурных материалов по поводу завербованного англичанами крупного советского специалиста Брежнев спросил, надёжна ли информация? Андропов ответил: весьма надёжна. И хотел было назвать имя агента, от которого поступили исчерпывающие сведения. Но Брежнев замахал руками: “Не надо, Юрий, не надо... А то я где-нибудь нечаянно проговорюсь”.

Это стало уроком для будущего начальника внешней разведки и председателя КГБ.

Горбачёв начал читать документы, и Крючков увидел, как меняется президент в лице. Вместо всегдашней самоуверенности и плохо скрытой иронии, с которыми Горбачёв встречал в последнее время председателя Комитета, появилось смятение, переходящее в протрацию. Он молча глядел перед собой, не имея сил что-либо сказать. Наконец, совладал с чувствами. Дрогнувшим голосом спросил, показывая на папку:

— Насколько этому можно верить?

— Источник абсолютно надёжный. Но я считаю: нужна ещё одна проверка. Каналы и способы есть. Очень эффективные. Всё можно сделать в сжатые сроки.

В какой-то отрешённости Горбачёв поднялся из-за стола. Пошёл в дальний конец кабинета. Вернулся к тоже вставшему Крючкову. Снова молча прошёл туда-сюда. Остановился возле чекиста.

— Неужели это Колумбийский университет? — вырвалось у него. — Неужели это старое? Да-а-а... Нехорошо... Нехорошо это...

Опять начал ходить по кабинету. Потом, ускорив шаг, подошёл к Крючкову. Заглядывая в глаза, торопливо заговорил:

— Возможно, с тех пор Яковлев вообще ничего для них не делал?... Сам видишь, они недовольны его работой... Поэтому хотят, чтобы он её активизировал.

Увидев тень на бесстрастном лице председателя КГБ, опомнился. За молчал. Видно было: о чём-то лихорадочно думает. Вдруг, обрадовавшись, заявил:

— А поговори-ка ты сам с Яковлевым! Напрямую. Посмотрим, што он тебе на это скажет.

Выдержку Крюčkова знали многие. Но тут даже он опешил. Прийти к подозреваемому, выложить, что о нём знает разведка... Невероятно!

— О чём поговорить?

— Ну, скажи, што есть вот такие материалы.

Перед тем, как направиться к Президенту, главный чекист готовился к различным поворотам беседы. Предполагал, что Горбачёв, как он часто это делал, постарается уйти от трудного решения, начнёт крутить, предложит подождать, как будут развиваться события. Но рассказать самому Яковлеву!

— Этого делать нельзя, Михаил Сергеевич. Я приду и выложу ему всю оперативную информацию, чем выдам наших разведчиков. Такого ни у кого в практике не было. Мы же предупредим Яковлева. Спугнём его. Они всё закроют и на этом дело кончится.

— А ты как-то так... попробуй.

Председатель КГБ смотрел на Президента и видел, что тот его уже почти не слушает. Понял: если он сейчас откажется, то Горбачёв сам предупредит Яковлева. А это может быть хуже.

Все, кто шёл на приём к Горбачёву, первым делом попадали в кабинет руководителя его аппарата Валерия Ивановича Болдина. Он составлял график рабочего дня президента. В этом же кабинете ждали вызова из первой приёмной. Председатель КГБ не составлял исключения. Поэтому, направляясь к Горбачёву, Крючков осторожно рассказал Болдину, которого знал, как единомышленника, с чем идёт к президенту. Выйдя оттуда потрясённый, передал состоявшийся разговор. Успокаивая Крючкова, Валерий Иванович предложил организовать как бы случайную встречу втроем. Потом он выйдет, а они останутся.

Через некоторое время Болдин сообщил Крючкову, что на приём к президенту собрался Яковлев. Естественно, зайдёт к нему. Можно подъезжать.

С Лубянки до Кремля — езды несколько минут. Поднявшись на третий этаж здания бывшего Сената, где располагались рабочие апартаменты главы государства, председатель КГБ вошёл в кабинет руководителя президентского аппарата. Поздоровался с хозяином и гостем. Перебросились ничего не значащими фразами. Болдин взял какой-то документ. “Сейчас вернусь” — и вышел.

— Александр Николаич, у меня к вам разговор, — немедленно начал Крючков. — Есть одна неприятная информация.

Яковлев без интереса поглядел на “жандарма”, как он теперь иногда называл председателя Комитета. “Опять начнёт: гласность выходит за опасные пределы...”

Когда-то Яковлев считал Крючкова едва ли не либералом. В середине 80-х годов тот критиковал колхозно-совхозную систему, выступал за перемены в разных областях государственной жизни. Вполне вписывался в перестроечную команду людей с “новым мышлением”. Именно с подачи Яковлева генсек сделал Крючкова председателем КГБ. Однако не учёл Александр Николаевич возможного влияния системы. Сейчас рядом с ним сидел махровый консерватор, то и дело встречающий в процесс резких перемен.

— Слушаю, Владимир Александрович. От вас получить приятную информацию, как летом дожждаться снега...

Крючков улыбнулся краешками губ и заговорил. Он пересказывал Яковлеву некоторые донесения агентуры, приводил обобщённые оценки его возможностей “той стороной” и, не отрываясь, внимательно наблюдал за реакцией. Для Яковлева всё это оказалось полнейшей неожиданностью. Сначала он окаменел, потом взмок от страха. “Что это? — лихорадочно думал он. — Предупреждение о завтрашнем аресте? Или предложение к самоубийству, чтобы не раскручивать историю дальше?”

Крючков замолк, ожидая, что скажет Яковлев. Но тот ничего не мог из себя выдать. Только тяжело выдохнул что-то похожее на “ах-х-ха-х” и разбито молчал. Из-под кустисто разросшихся бровей подавленно взглянул на Крючкова. “Пойдёт ли к Горбачёву или будет принимать решение сам? Нет... сам не решится. Смелости не хватит. Не осмелится сам”. Он запоздало поблагодарил Бога за то, что два года назад предложил Горбачёву заменить Чебрикова именно Крючковым. Многолетний помощник Андропова. Явный чиновник по натуре и стилю работы. Услужливый. Старательный. Безотказный.

Перед тем “серому кардиналу” с Генеральным секретарём удалось под корень вычистить реальную и потенциальную оппозицию в армии. Помогла операция “Руст”. Молодой очкастый авантюрист из Германии на крошечном самолётике прилетел на Красную площадь в Москве и сел возле собора Василия Блаженного. Как они тогда разгромили всех недовольных политикой “разумного разоружения”, протестовавших против сдачи американцам лучших советских ракет, в том числе новейшей ракеты “Ока”. Однажды он пришёл к своему в ту пору ещё “однокоманднику” Лигачёву и, не застав его, с восторгом протянул ладони к помощнику. “Во! Все руки в крови! По локоточки!” Сняли не только министра обороны, начальника Генштаба, командующих округами, флотами. Уволили, исключили из партии, посадили в тюрьмы десятки людей, вплоть до командиров дивизий и полков. Американцы сравнили этот погром со сталинской чисткой армии в 37-м году. Пусть сравнивают. Пусть кто-то бормочет, что молодого немца специально подготовили и операцию “Руст” провели западные разведки, чтобы помочь Горбачёву убрать из армии противников ослабления обороны. На многие важные армейские посты поставили своих людей. Вскоре сменили и Чебрикова. История заговора против Хрущёва с участием председателя КГБ Семичастного должна была постоянно напоминать, что во главе Комитета нужен свой человек. Как Андропов при Брежневле.

Таким казался и Крючков. Но из него вышло совсем другое. Как же я просчитался? — думал Яковлев, пытаясь прийти в себя и не зная, что сказать председателю КГБ, чтобы не ухудшить положение.

Молчал и Крючков. Так продолжалось, пока не пришёл хозяин кабинета Болдин.

В тот же день Крючков доложил Горбачёву обо всех деталях встречи. Рассказал, каким ошеломлённым выглядел Яковлев и как ничего не мог произнести в ответ на информацию председателя КГБ. К удивлению главного чекиста, Президент молча выслушал доклад и, никак на него не отреагировав, сразу дал понять, что у него есть более важные дела. Крючков ушёл без всякого решения.

Проходило время — неделя, месяц. Пару раз, встречая Яковлева, председатель КГБ испытующе глядел на “серого кардинала”. Ждал реакции на высказанные подозрения. Но тот прятал взгляд под клочковатыми бровями и торопился быстрее уйти.

“Может, он объяснился с Горбачёвым?” — думал Крючков, зная об их почти ежедневных встречах. Однажды спросил президента. Михаил Сергеевич отрицательно покачал головой.

— Тогда надо што-то делать! — заявил председатель КГБ. — Разрешите всё-таки провести проверку.

— А стоит ли? — спросил, скорее сам себя, Горбачёв. И, немного подумав, снова обескуражил руководителя госбезопасности.

— Поговори-ка ты с ним ещё раз. Должен он тебе што-то сказать.

У Крюčkова едва не вырвалось сердитое: “Да вы в своём уме!?” Помогла многолетняя привычка не показывать эмоций на приказания начальства. Успокоившись, ровным голосом сказал:

— Нельзя так, Михаил Сергеевич. Мы уже открыли ему карты.

— Карты, карты... Поэтому: поговори. Надо не гадать на картах, а узнать мнение самого Яковлева.

Глава госбезопасности подавил в себе возражения и вышел из кабинета. Он даже не стал заходить к Болдину. О чём рассказывать? О странном поведении руководителя государства, который почему-то не даёт довести до конца расследование о своём ближайшем сподвижнике? Делает вид, что не верит, или боится? Скорее, боится. Если подтвердятся факты, надо будет принимать меры. Арест, следствие. Это значит, огласка. А для теряющего остатки уважения страны Горбачёва факт сотрудничества “архитектора перестройки” с американскими спецслужбами может оказаться роковым.

Но выполнять указание было нужно. Придумав пустяковый повод для визита именно к Яковлеву, Крючков поехал в ЦК КПСС на Старую площадь.

Оба суровых заведения — комитет советской госбезопасности и руководство единственной, а потому правящей партии — находились друг от друга на расстоянии двадцатиминутной ходьбы пешком. Оба занимали помпезно перестроенные в советское время дореволюционные здания. КГБ — дом страхового общества “Россия” на Лубянке, партийная элита — гостиницу “Боярский двор” на Старой площади. Ещё недавно обе резиденции олицетворяли тайную и явную власть в стране. Теперь, после отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли КПСС, власть партии рушилась на глазах. Да и могущество КГБ стало давать трещины. Мог ли Крючков представить лет десять назад, что к явно подозреваемому в работе на иностранную разведку человеку он должен будет ездить два раза за какими-то объяснениями?

Обсудив накоротке проблемку, ради которой он вроде и приехал, председатель Комитета, как бы между прочим, поинтересовался: не говорил ли Яковлев с кем-нибудь об их недавней беседе? Может, с Горбачёвым? Или ещё с кем? “Вопрос-то серьёзный, Александр Николаич... Мало што может быть...” Ответом было еле слышное: “Нет”.

На этот раз Крючков подготовил Президенту более обширный доклад. Вторая встреча с Яковлевым была в нём фрагментом. Председатель КГБ принёс Горбачёву тщательно выверенный список людей, проходящих по материалам госбезопасности, как агенты влияния иностранных спецслужб. Коротко рассказал о поведении Яковлева. Не дождавшись какой-либо реакции Президента, приступил к главному. Напомнил о записке Андропова в Центральный Комитет КПСС относительно давних планов ЦРУ по вербовке агентов влияния. Сообщил некоторые подробности о наиболее заметных фигурантах списка. Горбачёв слушал, не перебивая. При необходимости он умел сыграть любую роль, и Крючков хорошо это знал. Сейчас надо было отвлечь внимание чекиста от сообщения про Яковлева, и Горбачёв исполнял роль человека, заинтересованного более серьёзной информацией. Председатель КГБ решил подыграть президенту-артисту. Не теряя момента, положил досье перед Горбачёвым. Тот стал читать, а Крючков, чтобы не давить взглядом, незаметно обвёл взглядом кабинет. И сразу увидел перемены. В кабинете снова, какой уже раз, поменяли мебель. Она была опять из карельской берёзы, дорогая, и, если бы не наблюдательность главного чекиста, почти совсем не отличалась от прежней. “Зачем сменили?” — удивился он. Да и шёлковую обивку стен, похоже, обновили, отметил Крючков.

Вообще зуд Горбачёва к перестройкам и переделкам испытал на себе прежде всего его рабочий кабинет. Став Генсеком, Горбачёв не захотел въезжать в кабинет Брежнева—Андропова—Черненко. Приказал сделать себе новые апартаменты. Стены, в отличие от прежних властителей, которым нравились дубовые панели, обили шёлком пастельно-жёлтых тонов. Однако на этом дело не кончилось. Капризному хозяину всё время что-то не нравилось, и начиналась новая перестройка, которая, как понимал Крючков, тянула за собой большие затраты. “Меняет мебель, — подумал он, — а надо, как в анекдоте про бордель, кадры менять”.

Додумать о кадрах председатель Комитета не успел.

— Ты што мне принёс?! — сердито спросил Горбачёв. — У тебя в агентствах влияния кто? Цвет нашей интеллигенции! Межрегионалы — ладно... Эти... (он скривился). А деятели культуры? Поссорить хочешь?

— К сожалению, Михаил Сергеевич, у многих из них (Крючков показав рукой на лежащее перед Горбачёвым досье) — двойное дно. Мы располагаем серьёзными материалами... Их работа координируется... Прикрываясь гласностью и демократией, люди выступают за смену политического строя. Я прошу разрешения на дальнейшую разработку их деятельности.

Крючков подумал: если Горбачёв даст “добро”, под этим прикрытием можно будет вернуться к Яковлеву. Но Президент резко заявил:

— Никакой разработки! У тебя тут почти одни евреи! Хочешь мне представить жидо-масонский заговор? Выходит, каждый, кто думает о переменах — агент влияния? Забери своё досье и штоб я его больше не видел. И никаких расследований! Никакой разработки!

Когда-то Владимир Александрович сам воспринимал масонство как нечто почти мифическое. Но те времена давно ушли. Годы работы в КГБ, и особенно в разведке, заставили относиться к этому явлению серьёзно. Нельзя было во всём видеть следы деятельности масонов, однако пренебрегать поступающей информацией об их влиянии тоже не следовало. У Крючкова пока не было достоверных сведений о том, что Горбачёв имеет к ним прямое отношение и его встреча с Бушем на Мальте в октябре 89-го лежит в русле масонской политики, о чём сейчас говорят депутаты “Союза” и русские державники. Но он помнил, как его поразили тогда сообщения разведки и контрразведки о том, что именно с Мальты Горбачёв начал сдачу ГДР, других стран Восточной Европы и советской Прибалтики. Поначалу Крючков даже не поверил донесениям. Ведь, отправляясь на Мальту, генсек имел чёткую директиву Политбюро по поводу Германии. Говорить о её объединении можно только после того, как будут распущены оба военных блока — НАТО и Варшавский договор. А он, вопреки всему, пообещал Бушу не вмешиваться в процессы смены политического строя. Постарался дать американцам больше, чем они надеялись получить. Рассчитывал расположить их уступками и заработать на этом дивиденды, а в итоге проиграл. “Скорей услужливый дурак, чем умный, думающий враг”, — определил для себя Крючков.

Это было в стиле Горбачёва. Он задумывал, как ему казалось, хитрый ход, делал неожиданные финты в разные стороны, полагая, что оппонент запутается в них, как неопытный охотник в заячьих “петлях”, и тут его он — ловкий Горбачёв, заставит играть по своим правилам. Но к хитрости и ловкости нужна ещё прозорливость ума. А этим природа наградила Горбачёва “по остаточному принципу”. Ему не хватало терпения, а главное, умности, чтобы разглядеть, что будет за вторым, третьим, четвёртым ходами, не говоря о более отдалённых. Поэтому все до одной затеи Горбачёва во внутренней политике, вместо оздоровления, шаг за шагом разрушали экономику, государственность, межнациональные отношения. Благодаря своим аналитическим службам, а также огромному массиву информации с мест, Крючков знал об этом, пожалуй, лучше, чем кто-либо.

И во внешнем мире, как правильно только что сказал депутатам Язов, с Советским Союзом перестают считаться. А Яковлев через управляемую им прессу целенаправленно помогает этому, — подумал Крючков, снова оторвавшись от написанного выступления и посмотрев на сидящего в первом ряду “серого кардинала”.

Тот тоже поднял глаза на “жандарма”. Их взгляды сцепились. Снизу на трибуну польхнула огненная ненависть, в которой, как льдинка, качнувшись страх. Сверху обдало презрением и злостью на недостижимость противника. Два пожилых человека, два ровесника, ещё недавно без предубеждения относившиеся друг к другу, сейчас знали одно: кто-то должен проиграть. Крючков рассчитывал на чрезвычайное положение, которого они требовали у Верховного Совета для премьера. Яковлев надеялся на обязательства Горбачёва перед ним. Он уже давно понял, что нужен генсеку-президенту не только в качестве поводыря-советчика по дебрям паутины, в которой всё сильнее запутывался Горбачёв. Его физическое присутствие является гарантией необратимости перемен, за которые западная пресса поднимает советского руководителя на пьедестал исторического величия. А именно это больше всего радовало и волновало Горбачёва.

Они оба полагались на ближайшее будущее. Крючков рассчитывал всё-таки “достать” Яковлева, а тот, видя, что президент его не сдаёт, готовился убедить Горбачёва убрать “жандарма”.

И не знали, что через два месяца и два дня в их жизни начнутся крутые перемены. Обвиняющий превратится в обвиняемого, а подозреваемый в работе на иностранную разведку увязнет во лжи, объявит, что всю жизнь хотел сломать возводимый им лично идеологический трон, на котором удобно сидел несколько десятилетий и при этом никому не позволял даже царапнуть трон сомнениями в его величии.

Но это будет потом. Сейчас же, заканчивая своё выступление перед Верховным Советом, Крючков решил в качестве последнего аргумента провести историческую параллель:

— Через несколько дней будет ровно полвека, как началась война против Советского Союза. Самая тяжёлая война в истории наших народов. И вы, наверное, сейчас читаете в газетах, как разведчики информировали тогда руководство страны о том, што делает противник, какая идёт подготовка и што нашей стране грозит война.

Как вы знаете, тогда к этому не прислушались. Очень боюсь, што пройдёт какое-то время, и историки, изучая сообщения не только Комитета госбезопасности, но и других наших ведомств, будут поражаться тому, што мы многим вещам, очень серьёзным, не придавали должного значения. Я думаю, што над этим есть смысл подумать всем нам.

Крючков аккуратно сложил листки с напечатанным текстом. Удовлетворённый, глянул на сидящих в правительственной ложе министра обороны и министра внутренних дел. Осмотрел зал. В переднем ряду Яковлева уже не было. “Пошёл звонить Горбачёву”, — безразлично подумал Крючков. Он ожидал, что сейчас выступят один-два депутата и начнётся голосование. Но, видимо, чувствуя настроение большинства, которое не могло решиться на предоставление чрезвычайных полномочий правительству без одобрения президента, председательствующий — сам откровенный горбачёвец, с удовольствием объявил о закрытии заседания.

Разочарованный председатель КГБ пошёл к выходу, где его ждала машина. На шаг сзади держался помощник. И в тот момент, когда Крючков вышел в кремлёвский двор, с неба обрушился ливень. Помощник едва успел раскрыть над руководителем большой зонт. Главный чекист от неожиданности на какое-то время задержался возле машины. На асфальте мгновенно запузырилась вода. Ливень, похоже, был сильнее, чем тот, который одиннадцать дней назад переполошил хозяйственников президентской резиденции. Тогда, впервые за всю двухсотлетнюю историю здания Сената, сильно протёк потолок в рабочем кабинете главы государства. Ни с кем из прежних правителей такого не случалось, хотя их кабинеты располагались на том же третьем этаже.

Горбачёва в Советском Союзе не было. Пятого июня ему вручали в норвежской столице Осло Нобелевскую премию мира. Он встречался с королём, с премьер-министром, выступал с нобелевской лекцией. Ему нравилось быть во внимании. Это возбуждало, как наркотик. Он ушивался аплодисментами зарубежных аудиторий, ломал графики рабочих встреч, если узнавал, что его должна наградить какая-нибудь более-менее заметная общественная организация. В мае 90-го года, во время визита в США, потратил четыре часа только на то, чтобы поочерёдно получить пять наград от различных организаций, имеющих в своём названии слово “мир” или “свобода”. Эта детская радость хотя бы на время отодвигала заботы и проблемы своей раскуроченной страны.

На следующий день после вручения Нобелевской премии начался визит в соседнюю Швецию. Сытую, умиротворённую, прочно построенную. С мягкой, как на заказ, погодой. А в Москве 6 июня был сильный дождь. Впрочем, такой же, какие случались десятки раз до того. Но, как ворчали раздражённые хозяйственники, тогда не было перестройщика. Теперь, благодаря ему, разваливалась и страна, и даже его рабочий кабинет.

Не подозревая о приближении грозы, Савельев решил задержаться после заседания, чтобы переговорить с кем-нибудь из знакомых депутатов. Он хотел на других проверить свои ощущения. Несмотря на сплошные недоговорки, отсутствие какой-либо конкретности, выступление Крючкова вызвало сильную тревогу.

Но, пока прощался с Зоей и ребятами-техниками, многие ушли. Мелькнула где-то впереди маленькая фигурка Катрина, который, размахивая руками, что-то говорил рядом идущим людям. Однако возбуждённый вид “нечернозёмного Наполеона” только добавил неуюта. “Позвоню кому-нибудь завтра из редакции”, — решил Савельев, спускаясь по лестнице к выходу.

Он приоткрыл двери на улицу и застыл, как вкопанный. От земли до неба стояла водяная стена. Через неё нельзя было разглядеть даже недалёкие деревья. “Вот это ливень!” — ужаснулся Савельев. В тот же момент полых-

нула молния — длинная, почти прямая, как посланная с небес стрела, и через считанные мгновения раскатисто взорвался гром. Что-то жутковатое почудилось Виктору во всём этом природном катаклизме, и он, неожиданно для себя, вспомнил Слепцова. “Что ему видится сейчас? — подумал Савельев. — Ещё одно знаменьё?” Не верящий ни в Бога, ни в чёрта журналист хотел было мысленно усмехнуться над суеверием, казалось бы, просвещённого человека, но почему-то усмешка не получилась. Непонятное волнение захватило его и вернуло к тревожному разговору на весенней охоте. “Люди... Люди творят историю!” — чуть было не выкрикнул он, словно продолжая тот спор. И тут же сам себя остановил, почувствовав на лице водяную пыль от ливневой стихии. “А природа? Она разве не готовит людей к каким-то действиям? Не влияет на их чувства, разум? Не давит на подсознание, высвобождая в человеке самому ему неизвестные силы?”

— Ой, господи! Што ж это творится?! Просто конец света! — услышал Виктор женский голос и обернулся. Он не заметил, как сзади собрались люди. Отступил в сторону, освобождая дорогу. Но никто не сделал шагу к дверям. Все молча глядели сквозь полуоткрытую створку двери, и на лицах большинства он разглядел тот же испуг, который недавно пережил сам.

Через два дня, в среду Верховный Совет СССР, после выступления на заседании Горбачёва, раскритиковавшего просьбу премьер-министра и силовиков, большинством голосов отказал правительству в предоставлении ему чрезвычайных полномочий.

Но людей, называвших себя демократами, напугали выступления руководителей силовых структур. На следующее утро в четверг мэр Москвы Гавриил Попов попросил у американского посла Мэтлока срочной встречи. Спросив, как здоровье жены посла Сары, какие хорошие вести из Вашингтона для советской страны, столичный градоначальник в это время показывал пальцами на потолок и делал в воздухе движения, как будто пишет. Это был обычный шпионский приём: говорить нельзя — подслушивают, надо писать. Мэтлок достал блокнот, скреплённый металлической спиралью. Ведя непринуждённый разговор, Попов написал, что завтра будет осуществлён переворот с целью сместить Горбачёва и передать власть Павлову. Надо срочно предупредить находящегося в Штатах Ельцина, чтобы он вернулся в Москву. Мэтлок, всё так же щебеча ни о чём, написал: “Кто участники, кроме Павлова?” Руководитель советской столицы, демократ Попов вывел три фамилии: “Крючков, Язов, Лукьянов”. Закончив тайнопись, он смял листки и, чтоб не оставлять следов, положил их в карман. Перед уходом прошептал: “Мы рассчитываем на вас”.

Американцы немедленно развернули активную работу. Через Вашингтон, Берлин, Москву предупредили Горбачёва. Назвали фамилии потенциальных заговорщиков. Заодно, к бешенству Попова, сообщили президенту об источнике информации. Мэр-демократ, всю жизнь исправно служивший советской власти и её различным институтам, пока ещё не знал, куда повернут события. Поэтому, на всякий случай, хотел выглядеть чистым после грязных дел. Горбачёв состроил недовольную физиономию при встрече с американским осведомителем-стукачом, весело развеял опасения позвонившего президента США, а чтобы показать, что все заговорщики у него в “кармане”, заставил фотографов снять себя с тремя силовиками. Так и стояли они: улыбающийся президент и три мрачных руководителя грозных ведомств. Им было не до радости. Выступая на заседании Верховного Совета, Горбачёв заявил, что никаких поручений насчёт павловской инициативы и поддерживавших его силовиков не давал. Тем самым снова предал остатки веры идущих рядом людей.

Но оплёванная честь была не главной причиной их мрачного настроения. Горбачёв передал в Верховный Совет проект Союзного договора, после утверждения которого СССР переставал существовать как единое государство и превращался в аморфное, конфедеративное образование.



## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### Глава первая

Сорвать Волкова с хорошей рыбалки было трудно. Особенно, если они отправлялись ловить вдвоём с тестем. Низовья Волги — не подмосковные речки. Здесь можно рассчитывать на хорошую рыбу — крупного сома, сазанов по несколько килограммов каждый, лещей размером с тазик, поленообразных судаков. Тесть тоже был фанатик. Поэтому легко соглашался на предложения Владимира “посидеть ещё немного”.

Однако в этот раз Волков засобирился первым.

— Поехали домой, Егорыч.

— Ты што, Володь? — удивился тесть. — Ещё “вечёрка” не началась.

— Поехали, хватит. Всё не выловишь.

Он не мог объяснить своего беспокойства. С самого приезда в Волгоград ему было не по себе. На это обратили внимание и Наталья, и тесть с тёщей. Даже старший брат жены — Вадим, во “встречном” застолье, приглядевшись к зятю, вроде как с шуткой сказал сестре: “Видишь, к чему мужчину приводит одиночество. Кто-то Володьке сбил прицел, пока ты оставила там одного”.

Уволенная Янкиным Наталья, с согласия мужа, не стала дожидаться его отпуска, а взяла дочку и поехала к родителям. Владимир около месяца был один. Несколько раз встречался с Андреем Нестеренко и Савельевым. Журналист рассказал о закрытом заседании Верховного Совета СССР, о горбачёвском Союзном договоре, о лавине кричащих писем в редакцию. Андрей говорил о настроениях на заводе. Люди были растеряны и злы. Хотели, чтоб кто-то начал быстрее наводить порядок, и не знали, кому верить. Горбачёва крыли матом — все беды и разруху связывали с ним. На Ельцина одни надеялись, другие стали понимать, что от него опасности не меньше.

В школе Овцова демонстративно не замечала Волкова. Рассчитывая устроить ему нервотрёпку, пришла с двумя молодыми фуриями на экзамен по французскому языку. Владимир про себя развеселился. Знал, что никто из них ничего не понимает по-французски. А вслух заодно сказал классу на французском: “Гостей можете не бояться. Они пришли поглядеть, какие вы красивые и умные. Но со мной даже не пробуйте халтурить”.

После экзамена Нина Захаровна с неприязнью сказала Волкову: “Скоро вам пригодится этот язык. Разрушим советскую “империю зла”, поедете в Париж дворником. Все, кто против революций, заканчивают с метлой во Франции”.

Учитель фыркнул в усы. Насчёт разрушения — это Овцова зря старается. Не может быть, чтобы не нашлось кого-то в стране, кто остановил бы развал. Но беспокойства добавилось.

Оно создавало такой же дискомфорт, как начало простудного заболевания, когда температуры ещё нет, не трясёт озноб и боль не подошла, но уже чувствуется какая-то ломота в мышцах, сознание размягчается и человек с нарастающей тревогой понимает, что это — отдалённые признаки серьёзной хвори.

Повторяя все повороты волжского берега, Волков гнал моторку вверх по реке. Тесть, нахохлившись, сидел на дне лодки возле носовой её части. Он не понимал, что происходит с зятем. Владимира Дмитрий Егорович очень уважал. Чувствовал — дочь с ним, как с надёжной опорой. А что ещё нужно родителям, если не спокойствие и счастье детей? Все конфликты кого-то из молодых с родителями мужа или жены начинаются с разногласий именно в молодой семье. У зятя же с дочерью всё было нормально. Тогда что сейчас мучает Владимира? Настолько, что он бросил раньше времени их любимое дело.

Разные характерами — спокойный, выдержанный учитель и взрывной казак Голубцов, сошлись на общей страсти — рыбалке. Поэтому редкий отпуск Волковы, хоть на несколько дней, не приезжали в Волгоград. Здесь, на судостроительном заводе, который разросся в южной части длинного, почти семидесятикилометрового города, работали все старшие Голубцовы. Мас-

тером — сам Дмитрий Егорович, технологом — сын Вадим, до пенсии — в заводской столовой — мать Наталья и Вадима. Лет десять назад пришла на завод и жена сына.

После очередного поворота Волги далеко впереди показался неясный от расстояния монумент. Это был памятник Ленину у входа в Волго-Донской канал. Когда Волков впервые оказался рядом с ним и поднял голову, чтобы разглядеть лицо Ленина, у него свалилась кепка. “Ну и махина!” — произнёс, поражённый громадиной. “Чужое место занял! — зло сказал тесть. — Здесь стоял Сталин. Поменьше был. Да и покрасивше. Я видел, как его везли. На одной платформе фуражка. На другой — рука. На третьей — ещё што-то. Долго собирали. А сломали за одну ночь. Хрущёв — эта кукурузная башка”. “И куда дели?” — спросил Владимир. “Куда, куда... Расплавил, наверно. Из меди был...”

Потом Голубцов и Николай Васильевич Волков — отец Владимира, не раз заговаривали об этом при встречах. Ездили друг к другу часто — Воронеж и Волгоград рядом. Возили внучку туда-сюда, если молодые родители отправлялись на море. Оба оказались сходны мыслями. Терпеть не могли Хрущёва. По-разному, но уважали Сталина. В последние годы сильно оцетинились против Горбачёва. Единственное, в чём не соглашались — в оценке Ленина. Старший Волков был к нему терпимее, чем Егорыч. Пожилой казак даже захлёбывался в сердитости, когда Николай Васильевич говорил что-нибудь хорошее о Ленине. “За што ты его так не любишь? — спросил однажды зять, ещё не очень хорошо знавший отца жены. — По сравнению со Сталиным он... ну, не сказать, ягнёнок, но всё же более человечный”. “Володя! — строго, как непонятливому двоичнику, объявил жилистый, среднего роста тесть. — Запомни надолго, а лучше навсегда. Этот человечный Ленин со своей компанией развязал в народе гражданскую войну. Штоб самим удержаться у власти, они уничтожили больше, чем пятеро Сталиных. У тебя жена — из казаков. Ленинские паскудники казаков изводили под корень”. “А Сталин на Луне што ль был в это время? Тоже с ними кромсал”, — возразил Волков. “Верно, и на нём есть грех. Зайти в Волгу босиком и не намочнуть — не знай, у кого получится. Но Сталин казакам имя вернул! Те паскудники — троцкие, свердловы и вся их интернациональная шайка, запретили казакам даже называться казаками! И Ленин с ними был заодно. А Сталин ещё до войны красные казацкие лампасы пришил к штанам. Сразу, когда началась война, создал две кавалерийские части из казаков-добровольцев. Потом кино разрешил сделать. Нет, вы мне Ленина со Сталиным, если говорить про казаков, не равняйте”.

С той поры Владимир много чего узнал и о казачестве, и о двух монументах у входа в канал. Теперь смотрел на самый большой в мире памятник реально жившему человеку без почтения. Видел в нём скорее маяк или промежуточную точку отсчёта пройденного пути. Знал, что от него, до лодочного гаража тестя, остаётся сорок минут ходу.

Голубцовы жили в частном секторе. Дома подходили близко к крутому волжскому обрыву. С высокой веранды Волков любил смотреть на проплывающие по реке теплоходы, буксиры с баржами, стригущие в разных направлениях водную гладь катера. Волга работала, как могучее шоссе. Иногда на рассвете Владимира будил густой, сиповатый гудок проходящего неподалёку судна. Учитель, не открывая глаз, в полусне представлял себе этот пароход и, умиротворённый от того, что ещё ранее утро, что рядом лежит Ташка, а в соседней комнате спит дочь, снова проваливался в сон.

Ему нравилась усадьба Голубцовых. На небольшом участке выделенной государством земли башковитый Егорыч, тогда ещё, правда, просто Дмитрий, в 50-х годах начал строить дом с таким расчётом, чтобы потом его можно было расширять, пристраивая новые помещения. Ко времени появления зятя дом уже состоял из кухни, столовой и четырёх комнат. Затем с участием сына и Волкова была пристроена ванная комната и тёплый туалет. Места хватало всем. А когда Вадим получил от завода квартиру и оставил “родовое гнездо”, старшие Голубцовы затосковали. Поэтому каждый приезд дочери с зятем и внучкой был для них праздником.

Охотно ездили сюда и Волковы. Тут расслаблялись после московской нервозности, наедались овощами и фруктами. Владимир особенно любил давно придуманный тестем “живой компот” — намятую в холодной водопроводной воде вишню.

Но в этот раз только внучка была беззаботной. Сначала Наталья привезла новость: она — первая жертва новых политических репрессий. Затем приехал какой-то не в себе Волков. Часто сидел задумчивый на веранде, крутил кончик уса, оживлялся лишь, когда тесть звал на рыбалку. Будними вечерами отплывали недалеко: к острову среди Волги или в одну из множества протоков. В конце недели отправлялись с ночёвкой дальше. Спали в моторке — лодка была просторной и удобной. Однако прежнего азарта и полной отрешённости от житейских забот теперь у зятя не было. Как-то на вопрос Дмитрия Егоровича, в чём дело, ответил: “Сам видишь, што творится в стране. Гонят её к пропасти. А мы ничево сделать не можем”.

Настроение немного улучшилось, когда Наталье позвонила из Москвы редакторша Центрального телевидения, в программе которой Волкова участвовала вместе с Савельевым. Она узнала, что Наталью уволили из газеты, и предложила ей работу. Первого августа жена уехала в Москву и сразу включилась в передачу. Через несколько дней Владимир со всеми Голубцовыми сидел у телевизора и смотрел на свою красивую Ташку, которая вела разговор с двумя готовыми разорвать друг друга министрами: союзным и российским.

Наталья звонила почти каждый день. Однажды сказала, что встретила Савельева. Тот передавал привет Владимиру, завидовал ему. Пообещал после возвращения из Молдавии, куда собрался на неделю, приехать в командировку в Волгоград, чтобы хоть раз съездить на рыбалку.

О московских политических делах Наталья говорила с тревогой. Митинги шли ежедневно. Споры между ораторами стали переходить в драки. Чаще всего потасовки затевали люди, которых приводили демократы. “Народ, Володь, просто сходит с ума. Вчера нашему оператору разбили камерой лицо. Ударил какой-то дурак кулаком по камере, когда наш парень снимал зачинщика драки. Российский Верховный Совет принял закон о приватизации государственных предприятий. Никто не знает, как это будет, но верят демократам. Те говорят: всё разделим, и все будут богатые. Горбачёва сильно ругают. Прощёл пленум ЦК. Там его только критиковали. Никто не похвалил. Но не осмелились снять. Отложили на осень... На съезд”.

“А зря, — сказал Волков. — Его давно надо гнать. Выгонят — замена найдётся. Ты Виктору телефон дай. Пусть позвонит перед приездом”.

Затащив лодку в специальный гараж на берегу — в него прямо от воды по двум швеллерам ходила тележка, Владимир хотел взять только рыбу, а снасти и одежду оставить в лодке. Но Дмитрий Егорович не разрешил.

— Лазить стали. Раньше было спокойней. Сорвали народ с порядка.

Дома у Голубцовых оказался Вадим.

— Вы прям не разлей вода. Казаки-разбойники.

— А почему ты сомневаешься? — перехватив садок с рыбой в левую руку, поздоровался Владимир. — Я отцу говорил: давай пороемся в корнях. Наверняка где-нибудь с казаками переплелись. Начиналось-то казачество и с нынешней Воронежской земли.

— Кто-й-т тебе сказал? — остановился удивлённый тесть. — Самый смелый народ ниже шёл. На нашу теперь территорию. В низовья Дона. К Центру-то жались, кто терпеливей. А те, кто буйные... горячие — те в степя.

— Эт потом, Егорыч. Сначала убежали не слишком далеко от Москвы. Помещика подпалит... за то, што его девку тот поимел... И в бега. В Дикое поле. А оно — рядом. Даже трудно себе представить — все теперешние чернозёмные области лет пятьсот назад были Диким полем. Там и зарождалось казачество... Потом начало растекаться... Отчаянных-то прибавлялось. Между молотом и наковальной сформировалась самая боевая часть славянства.

— Каким ещё молотом?

— Ну, как же! Сверху — крепнущее государство. Стучало по башке, как молотом. Снизу — сперва кочевники, затем горцы. Тоже надо было отбиваться. Вот так и появилась крепкая ветвь народа.

— Пока её не порубали, гады, — насутился тесть. И, помолчав, добавил: — Нельзя нам этого забывать. Народ, у которого нет памяти о своей беде, не заметит прихода новой.

После ужина, когда за столом остались одни мужчины (бабушка с внучкой ушли на веранду), Дмитрий Егорович опять вспомнил рассказывание. Вадим приехал на машине — поэтому пил чай. А Волков с тестем, который ради приезда дочери с семьёй взял отпуск, время от времени наливали в стошки самогон.

— Вот вам об этом надо говорить. И уж тем более им, которые растут, — кивнул старик в сторону веранды. — Штоб не прерывалась память в народе. А то загомонили... эти... Демократы! Забыть, говорят, надо прошлое! Хватит прошлым попрекать! Пора начать примирение. А сами Сталина изрешетили, собаки. Вы сначала вспомните всех, кто казаков тыщами убивал. Женщин и детей казацких на пулемёты гнал. По именам назовите каждого. А потом подумаем о примирении.

— Помнить должны лидеры, — заметил учитель. — Народ — он ничего не решает.

— Не скажи! — возразил Вадим. — Он-то как раз и есть главная сила. Ты ведь не будешь отрицать: народ движет историю.

— Буду, — заволиновался Волков. В последние годы он много об этом думал и пришёл к твёрдому отрицанию марксистско-ленинских утверждений, будто не личности, а массы играют главную роль в истории.

— Не народ движет историю, а народом двигают её. Улавливаешь разницу? Народ — это пушечное мясо истории. Таран, которым разбивают подлежащее слову. Но направляют это орудие Личности! Единицы. Вся история человечества — это история Личностей. Именно они поднимают массы, поворачивают их.

Иногда Личности вырастают из массы, аккумулируют её подспудные настроения, озвучивают их, делают широкими и возглавляют сформированные под этими настроениями движения.

Но нередко бывает по-другому. Это когда Личности излучают на массы свою идею. Получают всё больше сторонников, активистов... Своего рода апостолов... проповедников. Те начинают вовлекать в орбиту идеи новых людей, становятся организующим ядром, раскачивают народные массы. После чего Личность двигает народ на реализацию своей цели.

— По-твоему, народ ничего не значит?

— Значит, — вздохнул Волков. — Когда приходит время бороться за идею. Головы класть... Но гораздо больше значат те, кто формируют Личность, её представления об устройстве мира и общества. Вот эти вложения являются главными.

— А Горбачёв, Володь, личность или кто? — спросил подвыпивший тесть, и по его интонации, по выражению суховатого, в морщинах лица, на котором нехорошим огоньком блеснули сощуренные рыже-карие глаза, Волков понял, в каком ответе тот не сомневается. Владимир вспомнил зимнюю охоту, слова Адольфа и хмыкнул, распушая усы.

— Я бы мог тебе сказать словами знакомого егеря. “Гондон штопаный”. Но, к сожалению, Егорыч, Горбачёв — тоже личность. Правда, случайная. С маленькой буквы, в отличие от многих других до него. Личности, как правило, появляются на дороге истории, когда общество замедляет ход. Возникает глубинный... массовый вопрос: идти ли по этой дороге дальше вперёд, строя её в соответствии с новыми технологиями... новыми представлениями... Или круто отвернуть в сторону... Не зная, што там за кюветом. Может, трясына... Может, обрыв...

Для таких моментов требуется Личность масштабная. Я бы даже сказал, Богом подобранная. А у нас оказался случайный человек.

— Я всё жду, когда его скинут, — заявил тесть. — В партии-то вон сколько народу! Неужель не видят? Сколько вас там, Вадька?

— По-моему, миллионов девятнадцать... Правда, сейчас много вышло.

— Вот видишь, Вадим, — невесело сказал Волков. — Целая европейская страна! А поскольку нет Личности, плавают в дерьме. И остальной на-

род в таком же разброде. Насыпали ему в мозги чёрт-те чево. Белого и чёрного. Случись што — не сразу сообразит, какую сторону занимать.

— В разброде — эт ты правильно говоришь. У нас даже не знаю, кто демократам на заводе верит. Ну, есть, может, немного. Но ведь и правительству горбачёвскому никто не верит. Про него самого — разговору нет.

— Надо порядок вернуть, — поднялся Дмитрий Егорович. Подошёл к тумбочке, на которой лежали папиросы. — Пошли, Вов, покурим (в доме он не курил и никому не разрешал). — Когда нет дисциплины, будет один бардак. Демократия будет, как сегодня, ети её мать...

Они посидели на веранде. Потом проводили Вадима. Завтра начиналась рабочая неделя, а у него — первая смена. Вернувшись в дом, тесть включил телевизор.

Владимир не захотел ничего смотреть. Снова вышел на веранду, где дочь, уже без бабушки, читала книгу. Сел рядом на скамейку. Девочка прижалась к нему, и так молча, глядя на темнеющую Волгу, на теплоходы, зажигающие первые огни, они просидели до тех пор, пока бабушка не позвала внучку в дом.

Утром, необычно рано, Владимир проснулся от какого-то строгого голоса, который доходил из кухни. Там у Голубцовых был двухпрограммный репродуктор. Собираясь в первую смену, Дмитрий Егорович обычно включал его, чтобы послушать новости. Сейчас тесть не работал, а с кухни доносился вроде как командный голос. Волков, протирая заспанные глаза, перешёл столовую.

— Што тут происходит? — спросил тещу, которая, замерев, стояла с тарелкой в руках.

— Какое-то чрезвычайное положение.

Из спальни вышел тесть. Длинные “семейные” трусы скособочены. Мятая майка где вылезла из трусов, где засунута под резинку.

— Вы чево людям спать не даёте?

В этот момент диктор, закончив читать какой-то текст, сделал паузу и суровым голосом произнёс:

#### **Указ вице-президента СССР**

**В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачёвым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей Президента СССР на основании статьи 127 пункт 7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей Президента СССР с 19 августа 1991 года.**

#### **Вице-президент СССР Янаев.**

Все трое ошеломлённо переглянулись.

— Што с ним случилось? Убили што ль? — тихо спросила теща.

— Если б убили, то сказали бы: “в связи с трагической гибелью...” — неуверенно проговорил Волков. — Может, заболел?

— Да он здоровый, как бык! — возразил тесть. — Об его лысину можно порсят бить. Наверно, до кого-то дошло...

— Подожди, Егорыч, — остановил Владимир, продолжая слушать тревожный голос диктора.

#### **Обращение к советскому народу**

**Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР.**

**Соотечественники! Граждане Советского Союза!**

**В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам! Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность! Начатая по инициативе Михаила Сергеевича Горбачёва политика реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. Страна по существу стала неуправляемой.**

**Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс**

**на ликвидацию Советского Союза. Растоптаны результаты общенационального референдума о единстве Отечества.**

Волков стоял, окаменев. Он даже не помнил, когда слышал последний раз такой строгий голос. Кажется, во время сообщения о полёте космонавтов. Но там он звучал приподнято, торжественно. А здесь из репродуктора неслась тревога.

Разинув рот, не шевелясь, слушал обращение тестя. Оно было длинным, не всё сразу проникало в сознание, но там, где было понятно, Дмитрий Егорович машинально кивал головой.

**Сегодня те, кто по существу ведёт дело к свержению конституционного строя, должны ответить перед матерями и отцами за гибель многих сотен жертв межнациональных конфликтов. На их совести искалеченные судьбы более полумиллиона беженцев. Из-за них потеряли покой и радость жизни десятки миллионов советских людей, ещё вчера живших в единой семье, а сегодня оказавшихся в собственном доме изгоями.**

Диктор говорил о разрушении экономики, о возможном голоде, о разгуле преступности, из-за чего “страна погружается в пучину насилия и беззакония”.

**Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час — значит взять на себя ответственность за трагические, поистине непредсказуемые последствия. Призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг перед Родиной и оказать всемерную поддержку Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР.**

— Ну, слава тебе господи! — вдохновенно перекрестился беспартийный атеист Голубцов. — Нашлись, наконец, люди.

— Давай-ка телевизор включим, Егорыч, — заторопился Волков. — Должны их, наверно, показать.

Он уже не сомневался, что Горбачёва отстранили от власти. С его согласия или просто плюнули на “пятнистого”, как называл его Нестеренко, но власть теперь в других руках.

Зазвонил телефон. В частном секторе установить его было трудно, однако совместными усилиями — Дмитрий Егорович, как ветеран войны, и Вадим, как заводская “номенклатура”, линию провели.

— Слыхали? — закричал Вадим, когда Волков снял трубку.

— Ещё бы! Дед пошёл телевизор включать. А у вас как дела?

— Из профкома звонили. В разных цехах рабочие хотят созвать митинг. В поддержку ГКЧП. Сами требуют.

— Людей можно понять. Лишь бы эти... новые... оказались всерьёз.

Едва Владимир положил трубку, его окликнул тестя.

— Иди сюда! Ничего не пойму. Только дикторы повторяют.

Было действительно что-то непонятное. Время шло. Страна, наверняка, хотела увидеть людей, которые образовали новую власть — тем более, что дикторы называли их фамилии, а по телевизору только повторяли уже не раз оглашённые документы, после чего на экране появлялся балет “Лебединое озеро”.

Владимир набрал по телефону свой домашний номер. Наталья не отвечала. “Видимо, уже вызвали в телецентр”, — подумал Волков, и какая-то тревога коснулась сознания. Он здесь, в безопасной обстановке, вдали от всяких событий. А что происходит в Москве? Вряд ли ельцинские приверженцы будут сидеть спокойно. И Ташка там одна.

Чтобы не будоражить проснувшуюся дочь, Волков позвал тестя с тёщей на веранду. Как мог, объяснил своё беспокойство, и, несмотря на их уверенность, что билета он не достанет, решил немедленно ехать в аэропорт. “Миланке скажете: папа срочно улетел по делам”.

Дмитрий Егорович повёз зятя на своих “Жигулях” специально через центр города. Это было намного дальше, но старик преследовал две цели. Думал растянуть время, чтобы сорвался отъезд зятя, а кроме того хотел посмотреть, что делается в центре, откуда местное телевидение иногда показывало жидкие митинги демократов. К его удовлетворению, нигде не было ни одно-

го митингующего. Люди спокойно шли по своим делам, гуляли матери с колясками и даже милицейского усиления не чувствовалось.

— Во как намучились от горбачёвского бардака! — сказал он, объезжая пустынную площадь. — А демократы-то попрыгались.

И с беспокойством проворчал:

— Как бы их бить не начали.

В здании аэровокзала народу было много. К стойке, где регистрировали пассажиров на московский рейс, стояла длинная очередь.

— Ну, я тебе говорил? — кивнул тесть на очередь. — Оставайся. Дня два-три... Потом всё устаканится... Наташка придет.

Волков, не говоря ни слова, озирался по сторонам. В дальнем углу увидел окошко с надписью: “Начальник смены”. Раздвигая людей, как буксир льдинки, возвышаясь над толпой, пошёл туда. Перед ним оказалось три человека. Каждый что-то говорил в окошко, показывал бумаги и, недовольно ворча, отходил. Когда дошла его очередь, Владимир согнулся пополам, приблизил голову к окну и улыбнулся полной крашеной блондинке.

— Я не буду вам говорить, што у меня умирает любимая бабушка. Нет у меня её. И дедушки у меня нет. Сирота я в этом смысле. Одна будет радость, если пожалеет такая, как вы, сестра.

— Ну-ну, брат, — улыбнулась в ответ женщина, промокая платочком потное лицо. — Если никого нет, то куда спешить?

— К сожалению, сестричка, дела. Я вам даже не могу назвать их... Обстановка, видите, какая?

Волков ещё некоторое время темнил по поводу обстановки и своей важной роли в ней, сожалел, что не взял в отпуск нужных документов, но, главным образом, напирал на быстро растущие чувства к нашедшейся “сестрёнке”. Если бы не срочный вызов в Москву, он обязательно дождался бы конца её смены.

Вся эта весёлая, немного скользкая болтовня развлекла женщину. Она потянулась к телефонной трубке.

— Галя! У тебя там на Москву што-нибудь осталось? А из обкомовской брони? Отдай один. Не придут. Им сейчас на месте надо быть. Кому? Придёт молодой человек. Да, красивый. Узнаешь. На Сталина похож. На молодого. Только красивей.

Пока рассаживались в самолёте и летели час сорок до Москвы, ощущения, что происходит что-то необычное, ни у кого не было. Люди шутили, смеялись, вежливо пропускали друг друга к своим местам, весело и доверительно переговаривались с соседями. Многие возвращались из отпуска в свои города, а страна издавна устроена так, что все дороги, к сожалению, ведут через Москву.

Но едва Владимир сел в машину к частнику-“бомбиле”, который в расхлябанный “Москвич” взял ещё двух женщин, как сразу почувствовал вздрюченное настроение водителя.

— Какие новости тут у вас? — спросил он худого, востроного мужичка.

— Такие ж, как у вас. Слышишь?

Шофёр прибавил громкость приёмника. В очередной раз передавали обращение ГКЧП.

— Танки ввели в Москву. С армии не видел танков. Только по телевизору. Какие-то новые. Огромные. Такой проедет по моему ветерану — и не заметит.

— Да-а... — в раздумье протянул Волков. — Значит, ребята взяли всерьёз...

Всем трем пассажирам, оказалось, нужно к площади Трёх вокзалов. Несколько раз проезжали мимо двигающихся к центру Москвы машин с солдатами. Одну колонну Волков сразу определил: десантники. Невесело подумал: “Дожили. Теперь и в столице понадобятся”.

На вокзале позвонил по телефону-автомату домой. Наталья по-прежнему не отвечала. Набрал номер телевизионной редакции. Трубку долго не брали. Наконец, ответил какой-то парень. На вопрос: “Где найти Волкову?”

сказал: уехала с оператором к Дому правительства России на Краснопресненскую набережную.

Владимир решил, что там, наверно, что-то происходит, и пошёл в метро. Спускаясь на эскалаторе, стал анализировать действия членов Чрезвычайного комитета. Странный какой-то получался переворот. Из армейской подготовки, а позднее — из многочисленных свидетельств о подобных событиях, знал, что в первую очередь берётся под контроль транспорт и связь. С мысленной умешкой вспомнил Октябрьский переворот и приказы его лидеров захватить, прежде всего, почту, телеграф, вокзалы. Перекрываются все пути сопротивления. Ленин в ночь переворота лично попросил одного из братьев Нахимсонов — Вениамина, который управлял электрической станцией в Петрограде, отключить электроэнергию, чтобы оставить разведёнными главные мосты столицы и не допустить в центр города силы усмирения. В это время другой Нахимсон — Семён, как комиссар латышских стрелков, блокировал отправку правительственных войск на железнодорожных станциях, ведущих в Петроград. А здесь, думал Волков, аэропорты не закрыты. Поезда приходят и уходят как обычно. Кого доставляют? Кого увозят? Нигде никаких проверок. Городская телефонная связь — и та не заблокирована. Нет, не похоже на серьёзных людей.

И первые сомнения в успехе затеи тронули сознание.

Выйдя из метро, он направился в сторону видного издалека высокого белого здания. Возле двух станций, где сходились радиальная и кольцевая линии метрополитена, была обычная московская толкотня. Дети с родителями шли в зоопарк. У входа в кинотеатр “Баррикады” толпился народ. На конечной автобусной остановке стояла очередь — люди ждали машины своих маршрутов.

Однако, чем дальше Волков уходил от метро, тем пустее становилась улица, и одновременно нарастал рокот моторов. Видимо, танки не глушили двигатели, ожидая начала передислокации. А пройдя ещё какое-то расстояние, учитель разглядел наконец на площади перед Домом правительства людскую массу. Остановился, раздумывая, идти ли к толпе или к видимым теперь танкам, возле которых тоже стояли небольшие кучки. С возвышения идущей к набережной улицы окинул взглядом толпу. Несмотря на разгар тёплого и солнечного дня, народу было не очень много. По врубившимся навсегда наставлениям старшины Губанова стал быстро определять количество. “Ты визуально очерти сэгмент изо всей массы. Прикинь, сколько в сэгменте солдат противника или кого... Только быстро, пока тебя самого не высчитали... Пятьдесят... Сто человек. И накладывай этот сэгмент поочерёдно на части стоящего народа. А дальше — арифметика...”

Волков “прикинул”. Получалось тысячи полторы — самое большее. И тут же представил Москву. Сколько это от 9 миллионов? А от страны?

Пока подходил к толпе, увидел в двух местах — на фонарном столбе и на ограждении стадиона, печатное столкновение позиций. На обращение ГКЧП была наклеена листовка с Указом Ельцина считать действия Комитета по чрезвычайному положению антиконституционными и квалифицировать их как государственный переворот.

Края толпы двигались, разбухали, поскольку подходили новые люди. Здесь громко разговаривали, иногда что-то кричали. В центре же толпы народ стоял плотно и молча. Головы многих были повернуты к балкону Дома правительства. Там время от времени появлялись какие-то люди, смотрели вниз, подступали к микрофонам, словно намереваясь что-то сказать, и снова уходили внутрь здания. Однажды на балкон вышел человек в рясе. Поднял голову и руки вверх, как будто призывая кого-то с неба. Судя по раскрываемому рту, произнёс какие-то неслышимые из-за людского шума слова и замолк, тоже уставившись вниз.

— Не знаете, кто это? — вежливо спросил Волков стоящего рядом парня с небольшой бородкой.

— Священник Глеб Якунин. Но он не наш. Церковный диссидент. Он ельцинский.

— А вы чьи?



Парень покрутил головой, кого-то отыскивая взглядом. Неподалёку стояли ещё несколько таких же молодых мужчин с аккуратными бородками и среди них молодой священник с большим крестом на груди. Увидев волковского собеседника, все направились к нему.

— Мы против демократов, — сказал парень. — Они — разрушители. Но эти... путчисты... ещё хуже. Так осквернить большой праздник.

— Сегодня день Преображения Господня, — возвышенно произнёс подошедший священник и перекрестился.

— Тогда зачем вы пришли сюда? — удивился Волков. — По-моему, здесь как раз одни демократы.

— Их мало, — сказал один из пришедших. — Поэтому мы пришли поддержать противников коммунистической хунты. Пусть демократы и коммунисты истощат друг друга. Уничтожат друг друга, как пауки в банке.

Он всё больше возбуждался.

— Уйдут из нашей жизни те и другие! А народ останется. Верующий народ... Боголюбивый и Богом направляемый.

— С нынешнего дня начнётся Преображение России! — подхватил, тоже возбуждаясь, ещё один из пришедших. — Открывается дорога к её светлому будущему. Как мы можем не помочь этому великому делу?

Группка миссионеров двинулась дальше. Владимир с соумышленником поглядел им вслед и стал пробираться к центру толпы. Он вслушивался в разговоры, сам расспрашивал, вглядывался в лица, стараясь понять, кто пришёл сопротивляться введению чрезвычайного положения. Значительная масса, как показалось ему, состояла из людей в возрасте от 30 до 40 лет. Судя по речи, манере держаться, это были интеллигенты — неформалы из “курилок” различных НИИ. Встречались расхристанные творческие личности — кудлатые, неуступно спорящие. Попадались экзальтированные женщины, как правило, неопределённого возраста. Было немало подростков — разношёрстно одетых, в джинсах и камуфляже, в теннисках и ветровках, поскольку дни держались тёплые, а ночи уже заметно похолодали. Некоторые вели себя, как в предвкушении какого-то концерта: смеялись, толкали друг друга с весёлыми лицами, однако большинство не скрывало тревоги.

Люди рассказывали, кто что слышал, и что кому удалось увидеть. Говорили, что выступал Ельцин. Забрался на танк, сказал короткую речь, зачитал документ, осуждающий путч, и быстро спустился вниз. За ним поспыпались все приближённые. Никто не знал, куда повернут события. Запечатлеться рядом с символом сопротивления хотелось для истории, но никак не для уголовного дела. “Как Ленин, — подумал Волков о Ельцине. — Тот с броневика, этот с танка. Тому повезло — власть оказалась слабой. Што будет с этим?”

В разных местах над толпой начали подниматься ораторы — видимо, вставали на какие-то возвышения. Через мегафоны призывали дать отпор “красно-коричневой хунте”, читали листовки, в которых говорилось, что митингующие здесь москвичи не одиноки — из некоторых городов по телефону сообщали о протестах демократической общественности. “С ума сойти! — опять удивился Владимир. — Совсем што ль мозгов у этой хунты нет? По междугородней связи организуется сопротивление”.

Один из ораторов восторженно выкрикнул новость: Соединённые Штаты не признали ГКЧП. Американский Белый дом на стороне Белого дома в Москве. Толпа тут же начала скандировать: “Ельцин! Белый дом!”, “Ельцин! Белый дом!”.

Едва мощная волна выкриков стала разбиваться на отдельные всплески, как по толпе прокатился тревожный слух: скоро начнётся штурм. Это показалось вполне реальным. На набережной стояли танки. Возле Белого дома расположились бронетранспортёры. Раздалась команда: “Делать баррикады!”

Люди направились в разные стороны, отыскивая, что может пригодиться для завалов. В одном месте с грохотом протащили ванну. В другом — начали ломать кирпичную стену. От дворов, прилегающих к Дому правительства, волокли решётки заборов. Прошло около часа, и на подходах к белому зданию появилось какое-то подобие преград. Это ещё больше воодушевило людей. Какой-то депутат в штатском, но с военной выправкой, стал собирать

добровольцев для отпора штурмующим. “Не идиот ли? — поразился Волков. — Против вооружённых десантников... против спецназовцев из группы “Альфа” выставять безоружных людей! Сам-то, наверно, спрячется, а народ положит”.

Он расстроено плюнул и решил уйти с площади совсем, понимая, что, если начнётся штурм, все эти декоративные баррикады будут сметены за считанные минуты.

Вдали большая группа мужчин раскачивала троллейбус, видимо, собираясь его свалить. “Нашли защиту. Танк превратит его в плоский лист железа, — усмехнулся Волков, разглядывая издалика копошащихся мужиков. Один из них показался ему знакомым. — Чёрт возьми, не Карабанов ли? Похож на Карабаса... Похож... Как он тут оказался? Хотя где ж ему быть, как не здесь?”

Учитель пошёл было в сторону “баррикадников”, но в этот момент в поле зрения попал человек с профессиональной видеокамерой на плече. “Оператор! — обрадовался Волков. — Может, где-то здесь и Наталья”.

Расталкивая людей, он бросился за оператором, сразу забыв и про баррикады, и про человека, похожего на доктора.

## Глава вторая

А Карабанов, действительно, пытался вместе с другими свалить набор троллейбус.

Телефонный звонок разбудил его в половине седьмого утра. Ещё не проснувшись, доктор подумал о больнице: что-нибудь там случилось.

— Сергей Борисыч! У нас переворот! — услышал он голос Горелика.

— Какой, к чёрту, переворот? — просыпаясь от ярости, грубым шёпотом скорее прошипел, нежели выговорил Карабанов. — Вы с ума сошли — в такую рань звонить? У меня дети спят... Жену, наверно, разбудили.

— Я вам серьёзно говорю, — уже строго сказал Горелик. — Включите радио и услышите. Горбачева изолировали. Власть захватил Комитет по чрезвычайному положению. Верхушка армии, милиции и КГБ. Малкин велел позвонить всем нашим. Будем определяться в действиях. Я вам ещё позвоню.

Горелик отключился, а доктор, как держал трубку в руке, так и застыл с нею. Малкин был их куратор в Институте демократизации. Работал в каком-то НИИ то ли осушения земель, то ли их обводнения. Не вылезал из-за границы. Когда находился там, людей на заседания собирал Горелик.

Карабанов включил радио. Прослушал весь набор сообщений. Разбудил Веру. Всё, о чём мечтал, к чему рвался, рушилось. Сидел на кухне, где был репродуктор, подавленный. Жена, обычно не проявлявшая чувств, заботливо гладила его, успокаивала.

— Подожди переживать. Не только нам — многим есть што терять. Люди не согласятся. Надо только поднять их.

Опять зазвонил телефон.

— Малкин связывался с некоторыми товарищами. Рекомендуют организовать сопротивление. Обзвоните, кого можете из знакомых. Пусть едут к Дому правительства на Краснопресненскую набережную. Там должны быть наши люди из российских депутатов...

Карабанов позвонил Нонне. Не называя имени — близко на кухне ходила жена, — рассказал о чрезвычайном положении. Велел поднять всех, на кого можно было положиться. Подключил ещё несколько человек. Вспомнил о Слепцове.

— Паша, у нас переворот.

— Знаю.

— Людей собирают на Красной Пресне. Поехали?

— Сейчас не могу. Должен быть на заводе.

Доктор решил ехать один. Он был сердит на людей из Чрезвычайного комитета. Одновременно хотелось плакать от жалости к себе: всё поломали

негодяи. И тут же из глубин сознания всплывал страх. Ничего подобного в последней истории государства не было, а из тех стран, где такие события происходили, советская пресса передавала зловещие сведения. Особенно много в прежние годы говорилось о Чили, где военная хунта также сбросила президента и застрелила его. Позднее, даже перестав доверять советской пропаганде, Карабанов не сомневался, что там творился жуткий произвол. Тысячи людей загнали на стадион, издевались над ними, убивали. Солдаты останавливали машины, пассажиров расстреливали. Поэтому, помня о Чили, добираться в центр Москвы Карабанов решил не на своей машине, а общественным транспортом.

К его удивлению, всё работало, ездило, возило людей. Рабочий день начинался обычным порядком. Встревоженных лиц Карабанов почти не увидел. Наоборот, сначала в автобусе, а потом в метро некоторые громко радовались чрезвычайному положению. Выходя из автобуса, он услышал, как молодая женщина с усмешкой бросила двум небритым мужикам, ругающим “хунту”, которая “пришла закручивать гайки”: “Допрыгались? Всё загадили своей демократией. Ну, наши опомнились. Они вам покажут”. И в метро Карабанов с раздражением услышал нечто похожее. “Давно надо было выбросить эту пятнистую шваль, — сурово заявил на весь вагон какой-то мужчина примерно одного возраста с доктором. — Развалил страну, мерзавец. Теперь прикинулся больным...”

А те, кто видел идущие по Москве танки, рассказывали о них скорее с интересом, чем с испугом. Некоторые при этом не скрывали надежд. Оказывается, советская армия не уничтожена и, если надо, сможет защитить народ.

Второе, что удивило Карабанова — людей возле Дома правительства на Краснопресненской набережной было невероятно мало. Сергей ожидал, что таких, как он, у кого чрезвычайное положение разбивало большие планы, так или иначе связанные с трансформацией, а лучше с разрушением Советского Союза, очень много. Они придут сюда и скажут о своём возмущении. Не будут же их сразу расстреливать — сначала арестуют, но они успеют заявить о своём несогласии с планами ГКЧП. Это подхватит зарубежная пресса, может быть даже его, Сергея Борисовича Карабанова, покажут по американскому телевидению. Увидит тётя Рая... И “хунта” побоится арестовывать известного человека.

Но время шло, а массовости не чувствовалось. Там и сям виднелись разрозненные кучки. Не было ни криков, ни шума. Люди стояли в какой-то задумчивости, некоторые с отрешённым видом, словно верующие в ожидании проповеди.

Медленно, поодиночке подходили новые не то протестанты, не то любопытствующие. Постепенно площадь заполнялась народом. Прошел слух: прибыл Ельцин. Это возбудило многих присутствующих. А когда среди людей стали распространять листовки с Указом российского президента, ставящим действия ГКЧП вне закона, у доктора появилось ещё больше надежды оказаться не арестованным.

Правда, он не был уверен, что самого Ельцина не схватят. Лично он, на месте заговорщиков, только так и поступил бы. Попади они ему в руки, думал Карабанов, расправа была бы немедленной. Крови, как хирург, он не боялся, а с идейными противниками разговор один: к стенке.

С балконов Дома правительства время от времени выступали разные люди. Они кляли членов ГКЧП, призывали толпу на площади твёрдо стоять за идеалы демократии, сообщали новости. Однажды объявили, что на сторону ельцинских сторонников перешёл танковый батальон. Много это или мало от всего количества боевой техники, подступившей к Дому правительства, большинство собравшихся не знали. Значительная часть разбухающей толпы состояла из женщин, молодых девиц, подростков и мужчин явно не армейского вида. Однако психологически факт перехода поддержал демонстрантов.

Потом кто-то крикнул, что с одного из “танков демократии” выступает Ельцин. Толпа качнулась. Многим захотелось увидеть и услышать лидера сопротивления. Но оказалось, что выступал он не там, где собралась основная масса народа, а с другой стороны здания, в более безлюдном и безопасном

месте. Основными слушателями были журналисты, его охрана и немногие демонстранты. К тому же зачитал он свой Указ и обращение к народу быстро, и когда наиболее ретивые из основной толпы добрались к месту выступления новоявленного вождя, танковая броня была давно пустой.

Возбуждённый Карабанов, в отличие от других, не мог устоять на месте. Он ходил туда-сюда, пробирался в наиболее густые уплотнения толпы, выкрикивал вместе со всеми какие-то призывы и всё время хотел действий. Однако на площади ничего, кроме обсуждения листовок и вспыхивающих по чьей-то команде скандирований, не происходило. Пока не разнеслась молва о готовящемся штурме Дома правительства. А следом не раздался клич делать баррикады.

Вот тут-то Карабанов воспрянул. Он быстро сбил группу из нескольких мужчин и повёл её искать, что можно использовать для образования завалов. Подошли к капитальной ограде ближайшего двора. Верхние концы стальных прутьев были откованы в виде наконечников пик. Сами решётки смонтированы в двухметровые кирпичные столбы.

— Ломай, ребята! — крикнул один из карабановских мужиков, локтём отодвинув в сторону замешкавшегося доктора. — Круши! Пики выставим вперёд! Танки напорются.

Такого азарта Карабанов никогда не видел и не испытывал сам. Мощные решётки, сделанные, судя по толстым наслоениям краски, не одно десятилетие назад, казалось, нельзя было вырвать даже трактором в три сотни лошадиных сил. А здесь небольшая группка возбуждённых людей, вцепившись в прутья, где снизу, где сверху, с нечеловеческой силой раскачивала прочное сооружение, сделанное, может быть, похожими руками для удобства таких же горожан, и со смехом, с матерщиной ломала чужой труд. “Вот она — русская страсть к разрушению, — весело подумал доктор, сам изо всей силы дёгая решётку и упираясь ногой в цоколь ограды. — Русская? А почему русская? А я кто? Такой же, как они? Тогда почему мы с таким удовольствием громим и ломаем? Ломаем, чтобы построить защиту. Ломаем, чтобы остановить зло. Но почему радуемся этому крушению? Разве это естественно — разрушать и веселиться? А может, дело не в наших натурах? Может, довольны потому, што разрушаем чужое? Вон валят столб... Он чей? Ничейный. Ломают мостовую. Она ничья. Общественная собственность. А вон потащили ванну!”

Карабанов даже перестал раскачивать решётку, заглядевшись, как несколько молодых парней, смеясь и дурачась, с грохотом волокли по асфальту ванну. “Ванну-то где они взяли? Не из квартиры же спёрли! Пришли бы ко мне за *моей* ванной! Дуплетом по ногам — и на операцию. Легко кромсать чужое. Отучили нас от собственности. Поэтому — веселимся, ломая”.

— Дядя! Ты чево повис, как медаль, — открыл в улыбке жёлтые от курева зубы худой, морщинистый парень. — А то гляди — отнесём с решёткой на баррикаду.

— Думаю, сынок, думаю, — разозлившись на “дядю”, бросил доктор. — Думаю, што лучше сломать, чтобы хорошо построить.

— А ты не думай! Вон там, — мотнул головой в сторону Дома правительства, — за нас думают.

После ограды, которую мужчины разрушили дотла, перетаскивая в большую кучу не только решётки, но и кирпичи от столбов, азарт несколько спал. Люди чувствовали усталость. Хотелось есть. Взятые из дома бутерброды Карабанов давно съел. Кто-то из его группы сказал, что питание налаживают кооператоры. Пошли искать место раздачи. И снова доктор удивился странному действию “чрезвычайщиков”. На машинах привозят водку и даже горячую еду. В открытую устраивается кормление, что привлекает всё новых людей на площадь. Как-то нелогично и несерьёзно поступает хунта. Своих противников позволяет кормить, даёт возможность делать баррикады. Может, рассчитывают всё это оборвать одним махом, во время штурма? Говорят, прибыли десантники. А эти головорезы натренированы уничтожать таких же подготовленных противников, не говоря о безоружных демонстран-

тах. Вон как Володя Волков расправился с кабаном, когда, казалось бы, у него не оставалось ни одного шанса.

И опять холодный, парализующий страх подкатил к сердцу.

Груша, с которой доктор крушил ограду, разбрелась. Но Карабанову не терпелось ещё чем-нибудь усилить неприступность “своей” баррикады. Он увидел, как вдали люди толкают троллейбус. Быстро пошёл к ним. Пристроился. Снова вошёл в азарт. Даже стал командовать. На него косо посмотрели: своих командиров хватало. Однако возбуждённый голос доктора подмял остальных, и вскоре под крики Карабанова троллейбус стали валить набок.

Едва стих грохот падающей машины и звон разбитого стекла, как доктор услышал знакомый голос:

— Серёжа! Карабас!

Он обернулся. К нему шёл Слепцов.

— О-о, Паша! Как ты меня нашёл?

— Да я тебя не искал. Случайно.

— Вот видишь, пока ты работаешь на ГКЧП, мы отстаиваем демократию.

— Работают, Сергей, все. Ельцин и Гаврила Попов — московский мэр, призвали к всеобщей забастовке, но их никто не послушал. Представляешь, никто!.. Ни один завод... Ни одна контора не забастовала в Москве...

Он усмехнулся:

— Кроме биржи. Но это разве предприятие? Так себе... мусор.

— Откуда ты знаешь? — с невольным испугом спросил доктор, вытирая сразу вспотевшее лицо. Получалось, что их, большую по размерам одной площади, но ничтожно малую в масштабах страны, массу протестантов никто не хочет поддерживать? Или все остальные выжидают? Ждут, на чью сторону начнёт падать качающаяся пока тяжёлая плита репрессий, чтобы в последний момент успеть ускользнуть, а потом запрыгнуть на неё вместе с другими и, радуясь своей осмотрительности, бить по дёргающимся из-под плиты рукам и ногам менее сообразительных граждан.

— Знаю, Сергей. Знаю... Моя информация, можно сказать, из стана наших врагов.

Павел вздрогнул от собственных слов. Это что же — его родной отец в рядах врагов? Но разве может человек, давший ему жизнь, родной по крови и, до последнего времени, близкий по духу, оказаться настолько чужим, чтобы его можно было поставить рядом с теми, кого он, Павел Слепцов, сегодня утром возненавидел, как разрушителей близкой и радостной цели? “Вылезли всё-таки, сатрапы, — бросил он утром за завтраком, не поднимая головы от тарелки с манной кашей, которую любил с детства. — Хотят снова всех построить в колонну. Не получится... Народ проснулся”. “Не смешивай народ и кучку расчётливых негодяев, рвущихся к своим корыстным целям, — сухо сказал отец. — Как много раз показывала история, народ, поверив их крикливой, циничной демагогии, потом расплачивается миллионами жизней. Спихнулись наконец-то имеющие силу. Может, ещё удастся остановить страну на краю пропасти”. “Это жандармы-то спасают страну? Где ты такое видел? Они только прольют реки крови. Вот посмотришь, их никто не поддержит”. “Всё зависит от того, как поведут себя эти Робеспьеры и Наполеоны”.

Вечером, уходя с завода, Павел позвонил отцу. Весь день поступала противоречивая информация, и он хотел получить от генерала более объективные сведения. Отец, похоже, говорил не всё, что знал. На вопрос сына о положении на местах сказал, что везде спокойная обстановка. Протестующие собрались только в Москве у Дома правительства РСФСР (отец помолчал и нехотя поправился: “у Белого дома”), а также небольшие группы у здания Ленсовета в Ленинграде. В союзных республиках затихли. Одни руководители дают понять, что происходящее в Москве их не касается. Другие — намекают о готовности сотрудничать с Комитетом по чрезвычайному положению. А лидер грузинских националистов Гамсахурдия открыто объявил о своей поддержке ГКЧП. С таким же заявлением выступил председатель Либерально-демократической партии России Жириновский. Партию

эту пока ещё мало кто знал, зато её руководитель — шумный, скандальный, неожиданно для всех занял третье место на недавних выборах президента России.

Куда-то пропали некоторые известные деятели, ещё вчера плясавшие политическую чечётку на советской власти. В Москве никто не мог найти председателя правительства России Силаева, “архитектора перестройки” и “отца демократии” Александра Яковлева. В Литве исчез из поля зрения, блеклый, как моль, Ландсбергис.

Всё это Слепцов пересказывал сейчас доктору и, видя, как у того мрачнеет лицо, сам наливался тревогой.

— Гамсахурдия... Вот поганец, — сплюнул Карабанов. — Развязал у себя бойню, а теперь наложил в штаны.

Павел с удивлением посмотрел на товарища.

— Да, да. Никакой там демократией не пахло, — хмыкнул доктор. — Тогда надо было спустить с поводка нацистов... Очень удобный был момент. Первый съезд депутатов... Горбачёв хочет выглядеть демократом. Ненавидит армию...

— Значит, это была наша площадь Тяньаньмэнь? Только с другим результатом?..

— Результат ещё будет. Говорят, пригнали десантников. Если им прикажут, они быстро похваляют, кого надо.

Карабанов помолчал, испытующе глянул на Павла.

— Ты к нам в гости? Или насовсем?

Слепцов огляделся вокруг. За ближайшими группами не видно было всей территории, заполненной людьми. Но пока он пробирался к замеченному издалека Карабанову, успел разглядеть, что на подступах к Белому дому, как его назвал отец, на набережной Москвы-реки, возле застывшей без движения бронетехники народу собралось немало. Публика была разношёрстной. Много молодёжи. Люди средних лет. Слепцову встретился священник в сопровождении опрятных парней с аккуратными бородками. Сосредоточенно обсуждали возможности баррикад и способы обороны несколько казаков. Усатые, с чубами из-под фуражек, с лампасами на брюках и в кителях с какими-то странными погонами, они резко выделялись среди людей в ветровках, простеньких куртках и потёртых джинсах-“варёнках”. Немолодые женщины кормили солдат. Кто-то раскладывал прямо на броне творожные сырки, шоколад, пачки печенья. Из термосов наливали горячий кофе — к вечеру погода стала портиться и заметно похолодало. В разных местах зажгли костры. Неподдалёку два молодых мужика — один с иссечённым фурункулами лицом (Слепцов ещё усмехнулся: как от картечи следы), другой — маленький, метра полтора ростом, кричали неизвестно кому: “Ломайте скамейки для костров! Пусть этой власти ничего не останется!”

— Остаюсь на ночь.

— Обещают штурм.

— Жалко, если сомнут. Жить хочется. Но жить при такой власти — теперь не знаю как... Если выстоим, представляешь, какая прекрасная жизнь начнётся! Только бы не оставить эту площадь.

Слепцов обвёл рукой пространство, заполненное людской массой.

— Нашу площадь Тяньаньмэнь.

— Нельзя доставить радость таким, как Нестеренко, — возбуждённо сказал Карабанов, с благодарностью пожимая руку экономиста. — Вольт при слове “демократ” хватается за свой пятизарядный МЦ-20. Как Геринг при слове “интеллигент” — за кобуру парабеллума.

— Мне жалко его, — нахмурился Павел. — Жалко, што мы оказались по разные стороны баррикад.

— Чево жалеть? — вскричал доктор. — Начнись атака войск и окажись Андрей здесь, он, наверняка, пошёл бы против нас. Целил бы в тебя... Или в меня. Сейчас, наверно, ждёт, когда разнесут эту площадь... Сидит себе спокойный и довольный. Думает, его время пришло...

## Глава третья

Но как раз в этот момент Андрей Нестеренко был далёк от спокойствия. Утром он, на самом деле, обрадовался так, что к горлу подкатил комок, и несколько секунд электрик не мог ничего сказать. В мыслях стучало одно: “Наконец-то! Наконец-то!” Он знал, что многие на заводе также ждали каких-то решительных действий от власти. Только не представляли: от какой власти? В Горбачёва не просто не верили. Его массово ненавидели. Ельцинскую братию воспринимали с опаской. Говорил он правильно. О ликвидации привилегий. Об улучшении жизни народа. О том, что Россия должна меньше давать своих богатств республикам, а больше оставлять себе. Но действовал российский президент по принципу: чем хуже, тем лучше. Разваливал союзное управление. Призвал в России не выполнять законы Союза ССР. После чего начался бардак. Никто никого не слушал. Начальники не знали, кем руководить, подчинённые — кому подчиняться. Действовавшие много лет кооперативные связи стали обрываться. Поставки на завод комплектующих изделий от партнёров то и дело останавливались.

Всё это надо было прекращать. Но кому? И вот теперь нашлись в руководстве страны силы. Взяли на себя ответственность.

В то, что Горбачёв заболел, Андрей ни капли не поверил. Его отстранили от власти. И будет совсем хорошо, подумал Нестеренко, если пристрелят при попытке к бегству. Столько зла стране не причинил ни один правитель, сколько натворил этот самовлюблённый и самонадеянный недоумок. И что ж это за партия у нас, если в ней не созданы механизмы оздоровления по инициативе снизу? Наверно, в самом деле, разложилась она, оказалась бездейственной. Хотя вряд ли справедливо сказать это обо всей партии. Особенно, о низовых звеньях. Виктор Савельев не раз рассказывал, что редакции газет, особенно “Правды”, завалили тысячами писем и резолюциями собраний, где рядовые коммунисты требовали немедленно снять Горбачёва с должности. А верхушка трусит. Продолжает смотреть на пятнистую куклу, как лягушата на ужа. Теперь военные наведут порядок.

— Мама, кажется, мы пережили “пятнистую” чуму, — сказал Андрей матери, садясь завтракать.

— Дай бы Бог... А то выздоровеет и снова вернётся.

— Не-е-т, — рассмеялся Андрей. — Он здоровей всех нас. Просто ему лапоточки сплели. Со звоном цепей. Штоб не бегал за Нобелевскими премиями, а сидел в камере. Если, конечно, не пристрелили. Я с завода Милке позвоню. Как там себя хохлы ведут? Надо сказать, штоб детей далеко не отпускала. И ты повремени выходить. Всё же Чрезвычайное положение.

Жена Людмила в субботу уехала с обоими сыновьями к родителям в Харьковскую область. Андрей предлагал подождать его — со следующего понедельника у него начинался отпуск. Но она как предчувствовала что-то. Да и мать поддержала её.

Надежда Сергеевна Нестеренко — мать Андрея — жила с сыном и снохой уже восемь лет. После смерти мужа и отъезда младшей дочери ей стало неуютно одной в трёхкомнатной квартире, которую когда-то дали от завода старшему Нестеренко на семью с двумя разнополыми детьми. Здесь всё ей напоминало о рослом, широкоплечем мужчине, много лет назад вынесшем её на руках из горящего частного домика подруги, где они, студентки, натащевались до упаду, уснули в новогоднюю ночь. Мужчина проходил мимо. Когда увидел в окнах зарево, стал дёргать дверь. В это время стёкла лопнули от внутреннего жара и сквозь разбитые рамы повалил дым. Прохожий рванул дверь так, что она выпала вместе с петлями. Подруга в полубморочном состоянии смогла подползти к выходной двери. Махнула рукой в глубину: “Там...”

Это было 1 января 1953 года. Михаилу Ивановичу Нестеренко объявили благодарность и выдали премию. От денег он не отказался и потратил их на платье спасённой девушке. Через некоторое время могучий 29-летний мужчина, с грубоватыми, словно из-под топора, чертами лица и широкими чёрными бровями повёл худенькую, светловолосую девушку в загс.

Впоследствии она, инженер-технолог, ни разу не пожалела, что приняла предложение простого рабочего. Михаил Иванович стал высококлассным наладчиком турбинного оборудования. К военным наградам добавились две трудовых. А главное, ей было с ним надёжно. Так и казалось, что в любое мгновение может спрятаться под рукой могучего, доброго человека.

Но война время от времени напоминала о себе. Болело сердце, возле которого прошла немецкая пуля. Давал знать застуженный в ледяном Днепре позвоночник.

Михаил Иванович умер перед самым рождением второго внука. Андрей с женой, при согласии матери, назвали мальчика в честь деда. А когда вышла замуж и уехала к мужу сестра Андрея, Надежда Сергеевна предложила обменять свою трёхкомнатную и двухкомнатную квартиру сына на две других. Теперь она жила с сыном и снохой в четырёхкомнатной, а в однокомнатную прописала старшего внука.

На пенсию ушла всего год назад, хотя на заводе отпустить не хотели. Но она решила оставшееся время отдать внукам и сыну со снохой, взгляды которых на жизнь, на политику были ей близки и понятны. Поэтому радость Андрея от введения чрезвычайного положения Надежда Сергеевна разделяла, хотя и не без сомнений. Смогут ли эти люди из ГКЧП заставить народ поверить их власти? Не к худшему ли времени хотят повернуть страну? И есть ли возможность сохранить разваливаемый Союз без жертв и репрессий? Многие поверили демократам, их обещаниям свободы для каждого человека и хорошей жизни для всех.

— Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, — сказал Андрей, снимая с вешалки в прихожей куртку-ветровку. — Если кто-то хочет себе компот, а остальным помой, значит, он такой же демократ, как я — сын Чингисхана. Ты умная, образованная женщина, понимаешь, что настоящая демократия — это строгое соблюдение закона. А наши демократы не признают никаких законов.

— Хотя среди них много интеллигентных... И не стыдно им так поносить свою вчерашнюю веру?

— Интеллигенция у нас всегда, прости меня за грубость, проститутская публика. Особенно так называемая творческая. Вчера лизали руки одному. Сегодня — другому. Завтра — пообещают им благ и званий, обнимут ботинки третьего. И пока он их не оттолкнёт, будут стирать пыль с ботинок своим носовым платком... Штобы потом сморкаться в рукав.

Ты боишься жертв... Больших жертв не будет. Конечно, кто начнёт стрелять в правительственные войска, пусть будет готов получить пулю в ответ. Большинство сообразят, что лучше всего свернуть свою разрушительную работу. Они нахраписты, когда против них нет силы. Надеюсь, первое, что сделают члены Комитета — арестуют весь демсинклит.

— Кого?

— Ну, их руководство... демократов. Поверь, мне, их немного. Демонстрации, которые показывают — это несогласные с жизнью по-горбачёвски. А после ареста — сразу, не откладывая на потом, начать расследование диверсий. Я только так называю все подрывные действия последнего времени. Помнишь, говорил тебе о сотнях железнодорожных составов с товарами и продовольствием вокруг Москвы? Это — не слухи. Нам рассказал Фетисов — наш товарищ по охоте, база которого была под завязку забита продуктами и промтоварами. Что портилось, вывозили на свалки. Потом такие составы несколько раз показывали по телевизору. Это разве не диверсия? Не преступление врагов народа? А остановка на ремонт в одно время сразу всех табачных фабрик?

— Тебе-то это пошло на пользу, — улыбнулась Надежда Сергеевна.

— Мне — да. А политической системе? Государству? У всякого решения, мама, есть фамилия, имя, отчество. Расследовать эти и другие диверсии — не состав труда. Где, конкретно, вина Горбачёва. Где Ельцина. Где других людей. Один предложил. Другой — поддержал. Третий — подписал. И у каждого в кармане паспорт. Разгружать составы с продовольствием и товарами не давали какие-то люди. Кто они? Кем поставлены? Арестовать их — раз плю-



нуть. Пройти по всей цепочке... сверху донизу... А потом всех показать народу. Не втихоря, а с портретами в газетах... с их признаниями по телевизору.

— Но ведь они, Андрюша, будут сопротивляться. Кому захочется стать преступником? Будут, может, насмерть отбиваться...

— Не хочу говорить громких слов... ты меня без этого знаешь... Но если потребуется для спасения страны... шобы осталось отцом завоёванное... я, наверно, решусь и на такое.

— Упаси тебя, Бог! Выбрось это из головы. Иди, а то опоздаешь.

В сборочном цехе только и разговоров было о ГКЧП. С кем бы Нестеренко ни встречался, первый вопрос ему был: как ты, Андрей Михалыч, относишься к неожиданной новости? Андрей рассказывал, с ним соглашались, издевались над Горбачёвым, прикидывали, что будет делать Ельцин.

Потом начала поступать какая-то странная информация. Вроде как возле Дома правительства России собираются люди, протестующие против введения чрезвычайного положения. К ним якобы выходил Ельцин, который не признал ГКЧП. Зачитал свой Указ, обращение к народу, где призывал людей к сопротивлению.

Сведения эти одни узнавали по обычному городскому телефону, другие — ушлышали из передач оживившихся зарубежных радиостанций..

Нестеренко был потрясён. Что ж это происходит, думал он. Ельцин и его компания активизируются, страна молчит, а члены ГКЧП бездействуют. Может, им нужна поддержка народа?

Андрей заспешил в партком завода. Секретарь партийного комитета Климов ещё несколько месяцев назад намекал ему о каких-то людях, которые готовятся сместить Горбачёва. Теперь намёки стали реальностью, и Нестеренко был уверен, что парторг ухватится за его идею.

— Владислав Петрович, мы можем с вами поздравить друг друга. Но обстановка требует решительных действий. Вы знаете, што происходит возле Дома правительства России?

Климов молча кивнул.

— Ельцинисты собирают сопротивление, — нетерпеливо продолжал Нестеренко, — а те, кто поддерживает наведение порядка в стране, сидят по домам и по заводам. Я готов вывести свой цех. Мы быстро доберёмся к Белому дому — так теперь его называют демократы, и встанем на площади впереди танков.

— Нельзя, Андрей Михалыч. Не было разрешения сверху.

— Вы в своём уме? — вскрикнул Нестеренко, вперив гневный взгляд в моложавое, упитанное лицо пятидесятилетнего секретаря. — Какое, к чёрту, разрешение? Ельцинисты у кого его спрашивали? Да мы, наоборот, должны поднять всю страну... всех, кто против разрушения государства. Вы обращение-то к народу слышали? — с подозрением спросил он. — ГКЧП обращение? Там прямо просят граждан поддержать чрезвычайные меры.

— Всё я слышал, — раздражённо сказал Климов. — Не глухой. Другие оглохли. Я сейчас попробую ещё раз созвониться с горкомом.

— Да плюньте вы на них! К вам народ стучится! Возглавьте хотя бы наш завод. Мы колонной тронемся, и, уверяю вас, все заводы пойдут к этому Белому дому. Пусть увидят, сколько их и сколько нас!

Нестеренко пошел к двери.

— Я буду в цехе ждать, Владислав Петрович.

Возле своей энергослужбы собрал рабочих. Передал разговор с Климовым. Сказал, что сейчас наступил момент, когда нельзя быть в стороне. Люди, которые отстранили Горбачёва, хотят остановить развал государства. Но возле Дома российского правительства в Москве собираются как раз те, кто намерен вернуть Горбачёва. А значит, продолжать разрушение. Можно им это позволить?

— Ответ вы сами знаете, Андрей Михалыч, — сказал высокий сборщик Колтунов, выделяющийся щеголеватостью даже в рабочей одежде. — Што мы можем сделать?

— Прийти на митинг разрушителей и показать, сколько нас, которые против.

— Это же гражданская война! — воскликнул инженер отдела труда и зарплаты Самойлов — коротконогий мужчина лет сорока, с лысиной на темечке, из-под которой вниз распушались, как раскрытый веер, тёмные волосы. — Вы нас зовёте к войне?

— Война начнётся, когда вы решите отсидеться дома. Она вас достанет в сортире и на мягком диване.

— В рабочее время, наверно, будет нельзя, — в раздумье сказал бригадир слесарей Анкудинов, поглядев на электронные часы с зелёными цифрами. — А после работы всем цехом и пойдём.

Когда расходились, посоветовал энергетика:

— Надо бы вам, Андрей Михалыч, с другими цехами провести работу. Заводом двинуться.

Но вскоре работу начали проводить с самим Нестеренко. Сначала подошёл секретарь цеховой парторганизации — тридцатилетний мужчина с тонкими усиками и торчащими из кармана рубашки, как газыри у горца, фломастерами. Партийная должность для инженера по технике безопасности со временем должна была обернуться кадровым ростом, и потому он нёс свой крест так же стойчески, как покупатель дефицитных итальянских туфель воспринимал вручаемые ему, в качестве обязательной нагрузки, галоши из лисий резины.

С этим человеком Нестеренко объяснился быстро. Парторг ушёл, нервно двигая усиками и зачем-то всё время теребя газыри-фломастеры.

Потом позвал к себе начальник цеха.

— Што ты задумал, Андрей Михалыч?

Андрей стал рассказывать. Сухой лицом, с причёской “ёжиком”, в куртке, напоминающей военный френч, начальник цеха с удовольствием знал, что сильно смахивает на главу Временного правительства России 17-го года и гордился, когда его за глаза называли Керенским. Слушал он невнимательно, смотрел то в календарь, то в лежащую на столе бумагу. Похоже, был уже проинформирован в деталях.

— Зачем тебе это надо? Наведут порядок без нас. Мы, как люди дисциплинированные, должны выполнять постановление ГКЧП. А там што сказано? Каждый работает на своём месте... выполняет свои обязанности и не лезет в дела других. Директор завода знает о твоих... как бы это сказать — предложениях. Очень не одобряет. Считает, справится без нас... Без нашей поддержки. У них — армия. Внутренние войска. Госбезопасность с “альфами” и “омегами”. А ты кто? Главный энергетик сборочного цеха.

“Керенский” многозначительно помолчал. Потом вздохнул и добавил:

— Пока.

— Если вы меня пугаете, то я не боюсь. Вас не боюсь... А за страну — вот за неё боюсь... Когда у неё такой партхозактив, то нас ждёт большой пассив.

— Ты чево из себя строишь?! — неожиданно вскричал “Керенский”. — Спаситель Отечества! Попробуй только ещё будоражить рабочих! Кто пойдёт на баррикады, будет уволен. У нас серьёзное производство, а не фабрика игрушек.

— Вы на меня не кричите, — зловещим голосом, привставая, произнёс Андрей. — Я — человек пугливый. С испугу могу не знай што сделать... Укусить могу с испугу.

Начальник цеха откинулся в кресле и замер, как окаменел. А Нестеренко, выходя из кабинета, уже не сомневался, что его личный долг — организовать поход рабочих к Белому дому.

Однако в цехе обстановка была уже иной. С людьми после него поработал цеховой парторг. Некоторые, узнав о запрете “Керенского”, прятали глаза. Другие ещё соглашались, но, похоже, при первой возможности могли уйти в сторону.

Андрей наметил сбор за проходной. Рассчитывал не только на своих рабочих. Его посланцы побывали в других цехах. Теперь он стоял на площади у заводской Доски почёта и с волнением наблюдал, как к его группе подтягиваются новые люди. Минут через двадцать после конца смены здесь собралось сотни три рабочих.

Нестеренко уже готовился объявить народу продуманный им маршрут: до какого места — общественным транспортом, где снова сбор, откуда колонной к Белому дому, как вдруг на выступающий цоколь Доски почёта поднялся секретарь парткома Климов.

— Товарищи! Как вы видите, в стране очень сложная обстановка. Государственный комитет ввёл режим Чрезвычайного положения. Это означает запрет на всякие демонстрации и манифестации...

— А почему вы не сказали об этом Ельцину и его приспешникам? — крикнул какой-то мужчина средних лет. — Они с самого утра митингуют возле ихнего Белого дома.

— Это их дело. Они будут за это отвечать.

— А што думает ваша партия? На чьей она стороне? — раздались другие голоса.

— Партия пока не определилась. Центральный Комитет должен выяснить, што случилось с Михаилом Сергеевичем, и только потом примет решение. Мы будем его ждать. А пока...

— А пока, — громко перебил Климова поднявшийся рядом с ним рослый Нестеренко, — отойдите в сторону и не мешайте нам спасать свою страну. Товарищи! Секретарь не говорит нам, што Горбачёв уже подготовил договор, по которому Советского Союза не будет.

— Ах, гад!

— ГКЧП выступил против этого! А те, кто копошатся сейчас у Белого дома, хотят вернуть Горбачёва и дать ему возможность закончить своё дело.

— Все вопросы надо решать демократическим путём! — послышался из толпы знакомый Андрею голос. Он пригляделся: точно, секретарь цеховой парторганизации.

— Вы думаете, кто это говорит о демократии? — воскликнул Нестеренко. — Парторг нашего сборочного цеха! Его у нас зовут “художник на охране”. Ему лишь бы тихо высидеть какую-нибудь должность. Так вот, оказывается, с чьей помощью мы с вами захлёбываемся, как в дерьме, в нынешней демократии! Составы с продуктами не пускают в торговлю — это демократия? Выбрасывают добро на свалки, только штобы нам с вами не досталось. Армию клеймят, пацанов в форме шпыняют — им в автобус нельзя войти — это тоже демократия? Страну раздирают на клочья, штобы власть захватить и забрать себе общенародные богатства. И это демократия? Тогда што же мы должны назвать бандитизмом? Назвать бардаком, который устроил Горбачёв при участии вот этих подручных!

Нестеренко показал на Климова и пробравшегося к нему из толпы цехового парторга.

— Они сами трусливы... Не могли выбросить на свалку... туда, куда везут сейчас демократы добро... не могли выбросить Горбачёва. А теперь мешают нам подняться против таких демократов... защитить страну не дают.

— Товарищи! Нестеренко провоцирует вас на опасный поступок. Директор завода против похода наших рабочих к центру Москвы. Мы — предприятие строгой дисциплины. А вы знаете, што бывает за её нарушение. Могут уволить...

По толпе прокатился ропот. Кто-то заматерился, кто-то громко назвал директора “шкурой” — на заводе теперь плохо говорили об избранном директоре и жалели о прежнем, назначенном. Но общее настроение явно надломилось. Андрей почувствовал это.

— Нас хотят запугать, товарищи! — крикнул он. — Какое право имеет директор запретить рабочему человеку или инженеру пойти после работы, куда он захочет? Он, наверно, набрался этой демократии в Эстонии... Там русских называют животными... Там фашистов носят на руках, как героев. Может, ему и наша страна совсем не нужна?

— Вы думайте, што говорите, Нестеренко, — всколыхнулся Климов. — Мы можем потребовать от вас объяснений в парткоме. Партия не допустит вседозволенности.

— Ай-яй-яй, не допустит... Вы бы раньше не допускали этой вседозволенности! А то позволили Горбачёву разрушить всё в стране, кивали и под-

дакивали, а сейчас, когда решается: быть или не быть Советскому Союзу... в самый, может, ответственный момент, не позволяете народу выказать свою поддержку наведению порядка. Тогда зачем вы нужны, такие бесхребетные? Андрей прыгнул с возвышения.

— Пошли, товарищи! Не слушайте этих предателей! Собираемся, как решено, в Москве, возле выхода из метро.

...Он приехал вместе с десятком человек. С теми, кто работал под его началом, и кто не из страха, а из уважения поддерживал энергетика. Они стояли полчаса. Подошло ещё трое. Через двадцать минут добавились два человека. Однако вскоре люди стали расходиться. “Мало нас, Андрей Михайч. Если бы не увольнение...”

Нестеренко растерянно улыбался, понимающе кивал. Говорить не мог: что-то случилось с голосом. Молча глядел из-под чёрных бровиц на очередного уходящего, и грубое, словно рубленое лицо его выражало такое страдание, что собравшийся уходить поспешно отворачивался и стремился быстрее раствориться в людском потоке.

### Глава четвёртая

Весь вечер Волков то и дело успокаивал жену. Наталья на какое-то время забывалась, иногда даже улыбка вспыхивала на красивом лице, но потом опять хмурилась, аккуратно промакивала покрашенные глаза.

— Ну, чево ты принимаешь всё это так близко к сердцу? — удивлялся Владимир. Брал её руку, трепал пальцами жены свои усы, обнимал за плечо. — А то ты не знала, как они работают.

— Но не так же внезапно, Володя! Не было никакой демонстрации демократов на Октябрьской площади! Си-эн-эн показала давно отснятые кадры. Год назад там был митинг. А его выдали за протест против ГКЧП 19 августа.

— Да пошли они к чёрту — и американцы со своей брехнёй, и наши заговорщики! Не было демонстрации на Октябрьской, значит, надо было орать об этом на весь мир. Показать, сколько их было сначала возле Белого дома. Я своими глазами видел. Посчитал. Да и ты снимала.

— Снимала. Но не дали. Зато сиэнэновские кадры крутили по всему миру. В Москве тоже смотрели. И шли к Белому дому. Соппротивление создали искусственно. Из сотен стали расти тысячи.

— Вот поэтому, Ташка, “чрезвычайники” — ослы. Я не журналист, не идеолог, а сообразил бы, как информационно раздавить ельцинистов. Митинг рабочих в Москве... На одном... другом заводе. Показать по телевизору. Да не короткие сюжеты, а подробно... Пустить демонстрацию сторонников. Направить колонны к Белому дому...

— Драка же была бы! Там к вечеру — половина пьяных. Кооператоры бесплатно раздавали водку. Привозили на машинах.

— Вот и пусть, — жёстко заявил Волков. — У них плакаты: “Долой советскую власть!”, а мы бы их по башке транспарантами: “За Советский Союз!”.

— Ты-то с какой стати? — улыбнулась Наталья.

— Позвали бы — пошёл. Понимаешь, страну надо поднять. А они, рыбы морды, “лебедей” крутили. Теперь, видишь, што начинается. Да успокойся ты! Лишний раз будем знать, што такое информационная война. Мы к ней оказались не готовы.

В это время зазвонил телефон. Наталья, думая, что звонят ей, взяла трубку.

— Володя! — закричал кто-то в трубке. Наталья протянула трубку мужу.

— Володя! Привет! Я тебе звонил девятнадцатого. И потом звонил. Все дни...

— Я не был дома, Паша, — сдержанно сказал Волков.

— Ты помнишь сову? Ну, зимой кричала! Володя! Конец советской власти! Я говорю вам: вещая птица. Всё кончено! Советский строй кончился! Социализму конец!

— Чему радуешься, дурак? — рывкнул Волков. — Думаешь, тебе от этого будет лучше?

На другом конце провода почувствовалось замешательство — Слепцов растерянно засопел. Он никогда не слышал учителя таким грубым.

— Я думаю, всем будет лучше, — осаженно проговорил Павел. — Зря што ли мы стояли под дождём перед танками? Ребята погибли... Трое... Ты видел похороны? Мы с Серёжей Карабаныным были на них...

— Не видел. Зато смотрел по телевизору, как нападали на боевые машины десанта. По глупости погибли ребята. Жалко их. Экипаж теперь затакают... А его благодарить надо, што не устроил кровавой каши.

— Ты о чём говоришь, Франк? Они — герои! Горбачёв дал каждому Героя Советского Союза! Как сказал... не помню кто... на митинге сказали... их подвиг будут помнить вечно. И я согласен с этим. А ты не в ту степь идёшь. Вроде моего отца.

— Я бы гордился идти с ним. Хорошая компания.

— Чем гордиться? Он всё видит в мрачном свете. Оправдывает нашу фамилию. Жалеет, што путч провалился.

— Жалеют многие. Особенно сейчас, когда началась вся эта вакханалия. Но молчат. А твой отец — смелый человек.

— Ты его не знаешь. Он изменился... Неузнаваемый стал.

— Это ты, Пашка, изменился. За личные обиды хочешь всему свету отомстить. Теперь отрекаешься от отца. А он, я думаю, лучше нас с тобой видит, кто победил и кто проиграл.

Волков с удивлением слушал Слепцова. Что произошло у Павла с отцом? Даже сквозь всегдашнюю скрытность экономиста товарищи чувствовали, как тот почтительно относится к отцу, как дорожит его мнением. Должно было случиться что-то необычное, чтобы так переменялось отношение.

А произошло, по мнению Павла, действительно, из ряда вон выходящее. Во время одной перепалки, которые стали в последние дни особенно накалёнными, отец сказал, что ради спасения жизни миллионов людей мог бы пожертвовать жизнью даже близкого человека.

— Моей што ль? — спросил Павел, замерев от догадки. Перед тем Василий Павлович жёстко растолковывал сыну о последствиях для страны провала ГКЧП, понесил организаторов этого, как он сказал, “мероприятия”, теряя самообладание, ругал Горбачёва, который объявил членов Комитета самозванцами и преступниками, лишившими его связи с миром и страной.

— Какой лжец! Какой хамелеон! — почти кричал обычно выдержанный Василий Павлович. — Введение Чрезвычайного положения обговаривалось с ним ещё несколько месяцев назад. Обо всём он знал. По своей трусливой натуре хотел отсидеться в Крыму. Чужими руками разгрести жар. Ждал, как пойдут события. Связи его лишили... У него связь была всё время. Сам не хотел объявляться. Спутниковой связью были оборудованы все машины Горбачёва. Он ходил мимо них на пляж... Мог в любой момент снять трубку. Телевизор у него работал. Смотрел все передачи: и наши, и американские. А эти слонтяи... эти ГэКаЧеПэ... испугались сами себя.

— Народа испугались! — гордо заявил Павел. — Я тебе говорил: их не поддержит народ.

— Чево ты несёшь? Какой народ? Несколько тысяч возле Белого Дома — это народ? Это — ничтожная доля процента от всего народа! Считать умеешь? Тысяча от трёхсот миллионов — это што? Математическая погрешность! Народ — выжидал. Ждал от них действий, а не соплей.

— Они побоялись крови — и правильно сделали. История никогда бы им не простила пролитой крови.

— История не прощает слабым. Сильных она оправдывает. Ты вот только сейчас увидели по телевизору, што привело к гибели трёх парней. А мы это видели, сами находясь рядом. Преступники не те, кто задавил и застрелил в силу сложившихся обстоятельств. А те, кто толкнул молодёжь на бронемашину. Кто не предупредил людей о смертельной опасности. Я видел, как молодые люди пытались всунуть кто арматуру, кто бревно между гусе-

ницами и крутящимися колёсами. Захваченное траками бревно могло перемолоть не одного человека. А те, кто бросал в машины бутылки с зажигательной смесью? Это разве игрушки? В бронетранспортёре — большой боекомплект. Разнесло бы не только молодых солдат. А злость, с которой люди пытались разбить смотровые приборы — триплексы, закрыть брезентом смотровые щели? Цель была — ослепить машины. Но што такое “слепая” бронемашина? Это — смерть десяткам, если не сотням... Трое погибли... Это плохо. Но будет ещё хуже, когда погибнет страна. Когда страдания и смерть захватят миллионы людей. Этого могли не допустить гэкачеписты. Но они оказались из жидкого теста.

Ты упомянул историю... В ней, Павел, бывают моменты трудного выбора. Конечно, своё — родное, кровное — дорого. Дороже, может, почти всего на свете. Почти... Но есть ещё более дорогое. Это — жизнь великого множества таких же людей... миллионов человек. То есть народа... И жизнь великого государства. Поэтому ради их спасения я бы, наверное, мог пожертвовать... трудный это выбор — жертвовать... самой дорогой жизнью.

— Моей што ль?

— Сейчас што об этом говорить? Твоей... Своей... История сделала свой ход. Сделала руками слабых людишек, которые оказались не готовы к той роли, какую приготовила им судьба. И прежде всего, руками тщеславного, самонадеянного пустышки Горбачёва.

— Зато теперь он на высоте. Узник, освобождённый демократией для своих дальнейших дел. Разве для него сейчас это не самое важное?

— Его дела в нашей стране кончились. Он немного протянет, и его выбросят. К сожалению, вместе с державой. А ведь мог слюнтяй Крючков со своей... как их теперь называют? — хунтой? — изменить ход истории. Однако оказался слаб в коленках.

\* \* \*

После поражения ГКЧП две темы стали главными в трибунных выступлениях и материалах средств массовой информации. Это — проклятья в адрес заговорщиков и выяснение, где тот или иной человек находился “в дни борьбы за спасение демократии”.

Особенно свирепы были те, кого не могли найти в решающие часы этой самой “борьбы”, и у кого внезапно обнаружились “веские причины” переждать опасное время в стороне от событий. Главный редактор “Огонька” Коротич 19 августа должен был вылетать из Соединённых Штатов в Советский Союз. Услышав о событиях в Москве, тут же сдал билет, бросив и соратников, и сам “рупор перестройки” на произвол круто повернувшейся судьбы. Возвратился только после окончательной “победы демократии” и воцарения полной безопасности требовать суровых кар для государственных преступников. Но коллектив журнала осудил его отсидку в безопасных Штатах и снял с должности главного редактора: “за трусость, непорядочность и аморальное поведение”.

Едва стала реальной опасность штурма Белого дома, из поля зрения соратников пропал председатель российского правительства Силаев. Возник снова, когда заговорщики заколебались и упустили момент. А как только гэкачепистов арестовали, стал требовать немедленного их расстрела.

Об этом же заклокотал и “архитектор перестройки” Яковлев. Поначалу он тоже не высовывался. Сидел, как мышь под веником. Но уловив, что организаторы устранения Горбачёва выпускают вожжи из трясущихся рук, возбудился. Засветила возможность избавиться от опасного Крючкова. Поэтому сразу после ареста руководителей ГКЧП запросился к Ельцину на приём. Пока шёл, мысленно одобрял себя. “Вовремя я появился. Вовремя. Ещё бы день прождал — могли не принять за своего”.

Яковлев начал с восхваления ельцинской смелости.

— Не каждый, Борис Николаич, имеет мужество подняться на танк. Особенно в такой опасный момент...

Ельцин испытующе глядел на него.

— Я был там рядом, — как бы между прочим сказал Яковлев. — Вы были сама смелость. Эти люди могли ни перед чем не остановиться. Снайперы... Гранатомёты... Их надо казнить... Первого — Крючкова. Он...

Яковлев готовился произнести: "...мог вас арестовать". Но понял, что Ельцина, находящегося в эйфории, это ничуть не тронет. Решил усилить:

— Крючков хотел вас убить... Их надо всех казнить.

Ельцин растянул губы в кривой двусмысленной улыбке. Подумал: теперь будет служить мне. А вслух, поднимаясь, произнёс:

— Пусть разберётся суд.

"Архитектор перестройки" понял: время на него Ельцин тратить больше не хочет, и тоже встал.

Однако спасительную идею о казни "главарей переворота", и в первую очередь Крючкова, после этого высказывал везде.

Ругал гэкачепистов и Савельев. Но совсем за другое. "Тряпочные борцы! Вожди из дерьма! — бормотал он, еле сдерживая себя, чтобы не заматериться. Если бы не присутствие Натальи, Виктор не стал выбирать выражений. — Провокаторы хреновы! Лучше бы сидели по своим кабинетам и дачам. Меньше бы принесли беды".

Савельев приехал к Волковым с подарком для учителя. В Кишинёве, у букиниста на развале, увидел книгу об охоте на французском языке. Долго листал её, разглядывая картинки, ибо по-французски знал всего несколько слов. Книга была издана 125 лет назад и рассказывала, как сообразил Савельев, про охоту в разных странах. В том числе в России.

Владимир сразу понял, какой это ценный подарок — об охоте он собрал хорошую библиотеку.

— Плюнь ты на них, Витя, — сказал Волков, с удовольствием переворачивая страницы. — Не мужики они. Мужико-бабы.

Наталья с удивлением посмотрела на него. Тот заметил это. Показал Савельеву на жену.

— С моей Ташки надо брать пример. Она у меня — стойкий боец. А у этих — штаны мужские и по виду — вроде мужики. Но как доходит до чего-то серьёзного — раскисают хуже баб. Ты знаешь, што она сделала? Сорвала праздник упырей.

— Не преувеличивай, Володя, — зарозовела лицом жена. — Придётся опять искать работу.

К этому она стала готовиться, как только узнала, что новым руководителем телевидения победители ГКЧП назначили Грегора Викторовича Янкина. Их дороги снова пересекались. А тут ещё — невиданный поступок редактора Волковой.

После необъяснимого и внезапного провала ГКЧП страна стала напоминать буревой океан. Наверху дыбились волны, взлетала пена, перемешивались вышние слои воды, в то время как глубины оставались некачаемо равнодушными, даже какими-то безразличными к тому, что происходило на поверхности. А там творилось невообразимое. Те средства массовой информации, действие которых было приостановлено решениями ГКЧП, теперь словно сорвались с цепи. Газеты и журналы были переполнены мстительными публикациями, суть которых выражало единственное слово: распни! На телевидении и радио уже почти никто не говорил обычным голосом. Нормой стал крик, ор и рёв с набухшими жилами на шее. Сладостная месть гремела, кувыркалась, визжала, стараясь уцпунать всё новые болевые места у поверженных, их явных и потенциальных сторонников. А таковыми могли стать кто угодно, если они вызывали подозрение у демократических инквизиторов.

Редакторшу, которая пригласила Наталью на работу из волгоградского простоя, уволили сразу после ареста путчистов. В дни чрезвычайного положения она осторожно высказалась в его поддержку. Волкову поставили на её место, но сильно урезали в правах. Главным в редакции стал человек, присланный на телевидение со стороны, который сам себя отрекомендовал,

как комиссар. Он был худым, язвительным, с выпирающими вперёд зубами, которые обнажались, едва “комиссар” заговаривал. До сорока трёх лет просидел лаборантом в институте прудового рыбоводства. Когда костёр горбачёвской перестройки начал разгораться в пожар, лаборант стал меньше думать о рыбах, а больше о политике. Вскоре плавал в ней не хуже карпов и карасей в искусственном водоёме. Потерпев неудачу на выборах в российские депутаты, бросил кормить ни в чём не повинных подопечных и пошёл в ельцинские ландскнехты. Поднаторел в спорах с партократами. Зависть неудачника к более способным прикрыл политической одеждой. Каждый раз, после тирады об удвоении командно-административной системой талантливых людей, делал многозначительную паузу и приводил конкретный пример: “Вот, скажем, я...”

Съёмочной группе Волковой он поставил задачу: готовить передачу, в которой надо показать “гнилую суть” участников неудавшегося переворота.

В отличие от режиссёра и оператора, Наталья взялась за дело неохотно. К аресту руководителей ГКЧП отнеслась сдержанно. Эти люди были ей несимпатичны. Но “комиссар” потребовал основную часть передачи построить вокруг трёх самоубийств: министра внутренних дел Пуго, маршала Ахромеева и управляющего делами ЦК КПСС Кручины. Для этого привести оценки не только людей с улицы, депутатов, видных демократов, но и проникнуть к родственникам самоубийц, их близким, знакомым.

Уже сама задача показалась Наталье неприятной. “Как-то не по-человечески плясать на гробах, — сказала она режиссёру. — Смаковать горе близких”. “Перестань интеллигентничать, — усмехнулся немолодой уже мужчина с опухшим лицом и длинными, грязными волосами, закрывающими воротник несвежей рубашки. — Наше дело телячье. Куда пастух погонит, туда и надо бежать, не жалея копыт. Победили бы те, я с таким же с удовольствием снимал про этих. Говорил, какие они подонки. Но победили эти. Значит, подонки — те”.

Волкова пристально поглядела на режиссёра. Если б он был внимательней, то заметил бы, как в жёлто-карих глазах красивой редакторши качнулось нескрываемое презрение. “Пусть снимают, — решила Волкова. — При подготовке — выброшу всё гнусное”.

Однако чем дальше, тем сильнее раздражал собираемый группой материал. Помощница режиссёра нашла кадры заседания Верховного Совета РСФСР, когда стоящий на трибуне известный депутат — ни дать ни взять негр: курчавые волосы, толстые негритянские губы — лишь кожа лица светлая, вдруг прервал свое выступление и с радостью закричал в зал: “Только што застрелился у себя в квартире, вместе с женой, Пуго — бывший министр внутренних дел!” Люди повекакали с мест, начали хлопать в ладоши. Поздравляли друг друга и сидящие в президиуме.

Несколько интервью оператор сделал на фоне большой надписи на парапете. Кто-то, похоже, с воодушевлением — уж слишком прыгали буквы! — вывел аэрозольной краской слова: “Забил заряд я в тушку Пуго!” Люди улыбались, гримасничали, трогали надпись, всем видом показывая свою причастность к глумливым словам.

“Во што же мы превращаемся? — потрясённо думала Наталья. — Зверьями становимся... А помогаем этому... нет, не помогаем... делаем людей зверьями! мы — журналисты... Если я покажу эти вот ухмылки, эту радость от убийства — сколько ещё человеческих душ тронет звериность? Надо будить сочувствие — не каждый осмелится на поступок, где сплетается и воля, и честь, а мы злорадуем”.

Эти мысли и чувства усиливались после разговоров с некоторыми людьми из окружения известной тройки. Большинство, раздавленные шквалом осуждений, отрекались от вчерашних знакомых, начальников, сослуживцев и соседей. При этом, кто охотно, кто вымученно рисовали портреты изгоев, ложащиеся в предлагаемую телевизионщиками схему. Но некоторые без свидетелей и камер говорили Волковой о том, какими в действительности были эти люди. Закрытый и мало известный для широких масс “партийный завхоз” Николай Ефимович Кручина, ещё по прежним рассказам Янкина, который



хотел приблизить к себе Наталью пикантными сведениями из жизни “высоко стоящих”, казался ей не совсем обычным человеком. Преданный лично Горбачёву, скупой до скарденности, “Гобсек партии”, как его называл Грегор Викторович, естественно вызывал у оборотистого Янкина насмешки. Теперь Наталья, по рекомендации уволенной редакторши, встретила с коллегой-журналистом, который знал Кручину много лет. Сначала по комсомольской, а затем — по партийной работе. Одна оценка поразила её больше всего. Когда в газетах и журналах, по телевидению и по радио стало правилом и “хорошим тоном” обязательно изругать партийных работников любого уровня, перемешивая порой правду и ложь, о Кручине никто и нигде не сказал ни одного плохого слова.

А ей эти слова надо было придумать.

Также, как о маршале Ахромееве, сама смерть которого — он повесился в своём кабинете, — поразила Наталью нелепостью и полной неожиданностью. Она не раз слушала знаменитого военачальника на заседаниях Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета, подходила к нему после его выступлений, записывала комментарии для газеты, а потом для телевидения. Маршал нравился ей какой-то исходящей от него глубинной силой, мужественным обликлом, твёрдыми, жёсткими оценками опасного курса страны на сдачу оборонных позиций. После первого же короткого интервью Наталья, как она любила говорить, раскинула сети для сбора информации. И чем больше узнавала о Сергее Фёдоровиче Ахромееве, тем симпатичней казался ей этот человек. Герой Советского Союза, почти всю Отечественную провёл на передовой. После войны много учился, быстро шагал по служебной лестнице. Ещё до появления во главе страны Горбачёва стал начальником Генерального штаба. Резко возражал против военной политики нового Генсека. За это Горбачёв вынудил его уйти в отставку. Однако сделал своим советником. Наталья тогда порадовалась: оказывается, Горбачёв не так уж плох, как о нём говорят. Взял умного военачальника, настоящего патриота себе в советники. Будет кому противостоять разрушительным действиям Шеварднадзе и Яковлева. Сказала об этом мужу. И увидела, как тот сердито стал скручивать кончик уса.

— Подлый ход сделал Горбачёв. Коварный. Убрать Ахромеева на пенсию он не посмел — слишком большой авторитет у маршала в армии. Оставить начальником Генштаба — ещё опаснее: считай, ключевая должность. А советник — без подчинённых, без вооружённых людей — по сути, никто. Его советы можно слушать, но делать по-своему.

Так оно и получилось, что заставило маршала написать прошение об отставке из советников. Помешало введение чрезвычайного положения, которое Ахромеев поддержал.

Крушение ГКЧП, видимо, стало и крушением надежд маршала, думала Наталья. Это подтверждала и записка Ахромеева, которую ей показал знакомый ещё по карабахскому конфликту следователь. “Не могу жить, когда гибнет моё Отечество и уничтожается всё, что считал смыслом моей жизни. Возраст и прошедшая моя жизнь мне дают право из жизни уйти. Я боролся до конца”.

“А я што делаю? — мучаясь, осуждала себя Наталья. — Настоящего патриота страны... ну, ослабевшего на какой-то момент... а, может, наоборот, показавшего силу и волю, не желающего оставаться рядом с предателями государства и принявшего нелёгкое решение... мне его надо показать какой-то дрянью, как этого хочет “комиссар”... Плюнуть ещё раз в душу родным и близким... Порадовать трусов и негодяев, подтвердив своей передачей: не вы одни такие. Не одни вы — генералы и вчерашние вроде бы соратники маршала испугались прийти на его похороны... Мародёры не только те, кто раскопали сразу после похорон могилу Ахромеева, сняли маршальский мундир с наградами, а могу быть и я среди них... Американские журналисты приехали снимать могилу Ахромеева — его уважали даже идиоты противники... Они подняли тревогу, а мы кто? Нет, не мы — я кто?... Это очень удобное прикрытие: слово “мы”. Каждый должен отвечать за себя. Не “мы”, а “я” должна делать эту мерзкую передачу. Не “мы”, а кто-то один писал

на парапете гнусные слова про Пуго. Не “мы”, а каждый по отдельности прыгал и кривлялся перед камерой на их фоне. И хлопали в зале заседаний Верховного Совета России не “мы”, а конкретные люди. Со своим именем и лицом. Чему радовались? Тому, что застрелили себя два любящих друг друга человека — латыш и русская? Тому, что они решили уйти из жизни раньше, чем их начнёт терроризировать озверевшая свора?

Пуго вызвал, конечно, неприглядные оценки, став одним из руководителей ГКЧП. И почти каждый, к кому подходила она с микрофоном и оператор с камерой, высказывали разные по накалу злости осуждения. Но были и такие, кто отворачивался от направленной камеры и молча уходил в сторону. Почему? Они сочувствовали ГКЧП? Жалели, что не удалось освободить страну от разрушителя Горбачёва? Или им было противно глумиться над людьми, показавшими, что и сегодня существует такое понятие, как честь?”

Наталья в эти дни не раз вспоминала, как менялся Янкин, едва заговаривал наедине с ней о Пуго. Обычная ирония и насмешливость, с которыми он передавал полуслетни, полуслухи о властителях страны, об известных деятелях искусства и культуры мгновенно исчезали, как только произносилась фамилия этого латыша. Волковой даже казалось, что Грегор Викторович сразу непроизвольно напрягается, как вор-карманник, увидевший на улице случайно проходящего милиционера.

Первый раз повод для разговора о нём дала сама Наталья. Обиженный герой её критического материала позвонил в редакцию и сказал, что пожалуется в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Доказательств вины этого человека у Волковой было намного больше, чем она использовала в публикации. Но Наталья решила предупредить главного редактора. Янкин помрачнел.

— Сейчас там Борис Карлович Пуго. Знаю этого... блондинистого чистоты. Когда он работал в Риге, ездил на дачный участок к своему брату... Не отдыхать, нет. Проверять, не выходит ли домик, который тот строил, за размеры, установленные законом. С фактами у тебя как?

Наталья положила на стол две толстых папки.

— Резерв главного командования.

Тогда знакомство с Пуго не состоялось. В редакцию пришёл официальный ответ: критика правильная, виновные наказаны.

Но, как только Горбачёв назначил Пуго министром внутренних дел, Грегор Викторович, следуя своему правилу: заводить знакомства с высшими руководителями, пригласил Бориса Карловича в редакцию.

Прощаясь после долгой беседы, которую записывала на диктофон Наталья, главный редактор с ничего не значащей, дежурной улыбкой пообещал министру:

— Будем вам помогать, Борис Карлович. Дело-то общее — строить социализм с человеческим лицом.

А едва за Пуго закрылась дверь, пробормотал своей корреспондентке:

— Простой он... простой. Доступный... Только не дай Бог в его глазах оказаться нарушителем закона. Сам не берёт и другим не даёт. Бессребреник. Приехал первым секретарём горкома партии в Ригу и год жил с женой и сыном в гостинице. Считал недопустимым получать квартиру без очереди.

О личной скромности и нестяжательстве Бориса Карловича Пуго, его щепетильной порядочности и профессионализме Наталья потом слышала от разных людей. И вот теперь она должна всё это забыть? Представить миллионам зрителей какого-то нравственного уродца, который готов был убить тысячи граждан, как застрелил себя и ни в чём не повинную жену. “И сделать это должна я!” — мысленно вскрикнула молодая женщина, глядя на лежащий рядом пакет с кассетами.

Волкова ехала на студию в служебной машине. Ехала одна с водителем. Съёмочную группу отпустила на другой машине. Съёмки были закончены, весь материал находился в четырёх кассетах. Она не хотела оставлять их на студии — возила с собой. Для монтажа будут использованы все. “Будут? — подумала Наталья. — Нет! Не выйдет у вас”.

- Коля! Прижмись к тротуару и встань.
- Нельзя, Наталья Дмитриевна. На мосту нельзя останавливаться.
- А ты на мгновение.

По мосту через Москву-реку машин ехало немного. Поэтому никакого затора телевизионный автомобиль не создал. Наталья открыла дверь, подошла к ограде моста и, не колеблясь, бросила пакет с кассетами в реку.

— Зачем? — крикнул шофёр.

— Штобы мы потом не оказались негодьями, Коля, — сказала Волкова, закрывая дверь. — Поехали.

## Глава пятая

— Ты где нашёл такую красоту, Витя? — продолжал радоваться Волков.

— В Молдавии. Ездил к дальнему родственнику. Живёт в Рыбнице. Давным-давно звал... Всё не получалось — и надо же: собрался! Там и без того, как на минном поле. Молдавские националисты звереют. Помнишь весеннюю охоту? Валентину помнишь?

Волков покивал, не переставая листать книгу.

— Молдаване, ну, не все, конечно — в основном, молодняк — его легче завести — эти орут про объединение с Румынией. Приднестровские территории — намертво против. Там большинство — русские, украинцы. И вся основная промышленность — в Приднестровье. Вот-вот начнётся война. А тут ещё эти импотенты из ГКЧП. Я, когда увидел трясущиеся руки Янаева, сказал родственнику — он партийный секретарь: всё, Женья! Ханá вам. Отыграются на вас. А парень он хороший. Приехал агрономом после Саратовского сельхозинститута. Поработал — видят, толковый. Выбрали председателем колхоза. Потом потащили в партийные функционеры. Сопровивлялся. Да и народ в колхозе не хотел отпускать. Знаешь, — оживился Савельев, — я их немало видел — этих партийных деятелей. От маленьких до больших. Разные они. Но есть што-то общее. Некоторая приподнятость над тобой. Вроде как он принадежует к другой касте. Более высокой. Это даже у маленьких вождей чувствуется. Про больших вообще не говорю. Я знал про некоторых... (Савельев утишил голос, чтобы не разобрала уходящая из комнаты Наталья)... с их жёнами, как бы тебе сказать... дружил... понимаешь, в каком смысле? Так вот, они и с жёнами себя ведут, словно те из другой касты.

А Женька — ничево похожего. Несколько дней от него не отходил. Меня ведь на мякине не проведёшь. Сразу учую, где жизнь, а где игра в неё. С людьми он, как товарищ, и одновременно, как дирижёр. Для каждого — свой инструмент. К одному — со скрипкой. К другому — на контрабасе. Настоящий вожак. Плохо ему теперь будет. Если там подхватят Указ Ельцина против КПСС, то ихним фашистам-националистам это — лучший подарок. Видишь, што творится?

— Вижу. И вдали, и рядом. Нашей Овцовой только маузера не хватает. Добила директора — его сняли. Теперь она — власть. Ездил к ЦК громить партократов. Рассказывала — аж вся тряслась. Вот из таких выходят кровавые комиссары.

Волков с неохотой поставил, наконец, книгу на полку. Мельком глянул на возбуждённого товарища.

— Ты какой-то не в себе. В редакции давят?

— Я был там, — мрачно сказал Савельев. — На этом погроме. Где твоя была... эта... пока без маузера... Наверно, правильная появилась мысль: когда встают с колен рабы, живут, кто делают гробы... Как ещё не поубивали людей...

Бандарух сразу решил, что пошлёт на Старую площадь Савельева. “Пусть покрутится”, — злорадно подумал заместитель главного редактора. Ему позвонил знакомый из Московской мэрии и сказал, что после Указа Ельцина о приостановлении деятельности Российской Компартии и сложении

Горбачёвым с себя обязанностей Генерального секретаря всем работникам аппарата ЦК велели немедленно покинуть помещения партийных зданий на Старой площади. Комплекс передаётся мэрии. А ещё, сказал знакомый, наши люди всех предупредждают, что уходящие партократы могут захватить с собой важные документы о причастности к ГКЧП. Их надо проверить... Устроить достойные проводы.

Никита Семёнович вызвал Савельева.

— Поедете на Старую площадь. К зданиям ЦеКа собирается народ. Помещения освобождают от этой партийной нечисти. Всё переходит демократическим органам власти.

— А разве было решение суда? — спросил с явной издёвкой Виктор.

— Какого ещё суда? — вздёрнулся Бандарух. — Вы со своими замашками... Я знаю ваши пристрастия... Материал нужен в номер. И побольше гнева! Настоящего... Народного праведного гнева к этим партийным ублюдкам.

Виктор не узнавал Бандаруха. Он даже представить не мог, что человек так способен измениться. Куда-то девались и тихий, вкрадчивый голос, и настороженный взгляд чёрных, почти безресничных глаз, а главное — пропало рабское почтение к партии. Теперь Никита Семёнович находил о ней самые грубые слова, говорил обо всём громко, отрывисто, как будто отдавал армейские команды. Голову с большой плешью и редкими волосами надменно откидывал назад, глядел на всех жёстко, с нескрываемым высокомерием.

Впрочем, приехав из Молдавии сразу после поражения ГКЧП, Виктор заметил подобные перемены не только в Бандарухе. В редакциях газет и журналов, в союзном и российском Верховных Советах на авансцену выскочили люди, с такой яростью носящие то, чему служили долго и преданно, что некоторых из них не узнавали даже родственники и самые близкие товарищи. Ещё вчера верные псы партии, бросавшиеся по команде, а нередко — по собственной инициативе на различных “отщепенцев”, удовлетворяя тем самым свою страсть идеологических вампиров, они сегодня с таким же остервенением рвали в клочья и саму партию, и её низвергаемых богов, заявляя, что всю жизнь боролись с однопартийным тоталитаризмом. “Што ж это за творение такое — человек?” — думал Савельев, слушая этих мгновенных перевёртышей. Он не отрицал эволюции взглядов, политических убеждений, перемены жизненных позиций. Нередко сладкое в юности становится горьким во взрослости. Поэтому нелепо требовать от людей застывшей привязанности к чему-то одному на всю жизнь. Но чтобы так, за несколько дней или даже часов, изменить свою суть на прямо противоположное... Тогда что же за суть у таких людей? Что там в глубине её? И было ли там что-то противоположное? Может, подавлялось это тёмное прессом нравственных, политических и правовых запретов, сдерживалось внешними скрепами, а внутри низменное ищело, как магна в недрах земли, и ждало взрывоподобного, всё разрушающего душетрясения. После чего высвобождалась мрачная, разгромная сила, способная дотла снести все светлые представления о человеке — если не подобии Творца, то хотя бы не произведении Дьявола.

Наблюдая за происходящими в последнее время нравственными переломами душ, Савельев отмечал, что история повторяется. Циники от политики всегда апеллировали прежде всего к низменным потаённым частям человека, рассчитывая обрести управляемую тёмными инстинктами массу. Они знали, что призывы типа: “Кончилось ваше время! Теперь мы вам покажем!” быстрее всего поднимают с закупоренного дна муть мести и злорадства.

В этом Савельев стал убеждаться, подходя к зданиям ЦК КПСС на Старой площади. Ещё издалека он увидел возле них толпы народа. Людская масса особенно густела там, где были выходы из зданий. К уже стоящим добавлялись новые люди. Обгоняя Виктора, в сторону скопления, вприпрыжку проспешил худой, азартный мужичок с утиным носом и морщинистым лбом.

— Чё там случилось? — спросила его остановившаяся приземистая женщина.

— Партийцев из гнезд выкидывают! — крикнул он, радостно ощерившись. — Надо их потрясти.

Савельев решил сзади обойти скопления людей, чтобы понять: весь ли комплекс зданий охвачен осаждающими? Оказалось, стихия хорошо организована. Возле каждого подъезда сидели и стояли группы молодых людей с трёхцветными повязками на рукавах. А за ними, где больше, где меньше, толпился народ.

Из подъездов пока никто не выходил, и это держало людей в напряжённом ожидании. Иногда раздавались крики “Долой КПСС!”, “Коммуняк — к ответу!”, и людская масса снова угрюмо ждала. Лишь возле узорчатых, металлических ворот толпа бушевала почти непрерывно. За этими литыми воротами, через двор, из одного здания в другое, время от времени пробегали испуганные женщины, и это взрывало толпу угрожающими воплями.

Вдруг в той стороне, где был знаменитый парадный вход, над которым — единственным из всех подъездов — золотом сверкала надпись “Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза”, поднялся шум и раздались крики. Савельев быстро пошёл туда. Массивные двери были открыты, но люди жались в них друг к другу, боясь выходить. Прямо перед дверями плотной стеной стояла накалённая толпа. Два распорядителя с трёхцветными повязками на рукавах через мегафоны призывали толпу расступиться и создать проход. Это ещё больше распалило людей.

— Давить их! — кричала маленькая, толстая, как шар, баба. — Своруют чё-нибудь там у себя! Знаю их!

— Да всех обыскали уже! — гремел в мегафон рослый, с военной выправкой распорядитель. — Внутри, перед выходом обыскали! Раздвиньтесь, граждане! Расступись!

Вместе с напарником и несколькими мужчинами-добровольцами ему удалось образовать проход, по которому из дверей настороженно пошли люди. Но едва первые из них оказались среди разрезанной толпы, как она тут же стала сдавливать узкий проход. К идущим потянулись руки.

— Дайте мне посмотреть, чево у ней в сумке! — завопила костистая, с вытянутым лицом женщина в каком-то грязном, неопределённого цвета балахоне. Она расталкивала плотно стоящих соседей, чтобы достать проходящую в этот момент мимо неё средних лет женщину с маленькой хозяйственной сумкой. Рванулась вперёд,хватила сумку, мгновенно раскрыла её и стала выбрасывать содержимое. На асфальт полетели носовой платок, пудреница, кошелек, щётка для волос и чем-то наполненный бумажный пакет. Толпа взревела.

— Сами жрёте лучшее, а народ голодает! — взвизгнул румяный коротышка с лицом ваньки-встаньки. Он выскочил в проход и ударил ногой пакет. Бумага разорвалась. На асфальт вывалились свекольные котлеты. Часть из них, поддетая ботинком, обрызгала одежду и лица вблизи стоящих людей.

То ли от этого, то ли от разочарования, народ распалился ещё сильнее. Идущих в тесном проходе обзывали, им плевали в лица, вырывали сумочки и бросали с размаху на асфальт. Когда хозяйка наклонялась, чтобы поднять, её толкали, делали сзади неприличные движения, словно насилуют.

Самым поразительным для Савельева было то, что гнуснее всех вели себя женщины. Большинство — не первой молодости, по виду и по одежде — неопределённого рода занятий. Они похабно ругали матом идущих по проходу секретарш, стенографисток, технических работниц. Особенно изощрялись, когда появлялся какой-нибудь партийный клерк в шляпе или с галстуком. “Дайте нам его сюда!” — кричали в толпе озверевшие бабёнки, и Виктор не был уверен, что, попади мужчина им в руки, он уйдёт неизувеченным.

В общем гвалте, криках, издевательском хохоте Савельев через некоторое время стал различать наиболее пронзительный и агрессивный голос. Он обернулся и увидел за своей спиной высокую, плоскую женщину в очках. От крика у неё выступили красные пятна на серых щеках, на лбу и даже на подбородке. “Того и гляди лопнет очкастая доска”, — с отвращением подумал Виктор и хотел уже уходить с этого праздника озверелости. Как вдруг увидел идущего по проходу знакомого инструктора из отдела науки ЦК. Тот был по образованию химик. Ещё работая в научно-исследовательском институте, защитил кандидатскую, но увлёкся журналистикой и перешёл в попу-

лярную молодёжную газету. Тогда-то они и познакомились. Перед самым концом горбачёвской перестройки химика-журналиста позвали в ЦК. Он не хотел оставлять нравящееся дело, да и Савельев, у которого однажды спросил совета, отговаривал, однако, в конце концов, пришлось согласиться. Теперь он шёл освистываемый, опустив голову, ожидая каждую секунду нападения.

И оно едва не произошло. Отталкивая Виктора, к инструктору рванулась стоящая сзади плоскогрудая женщина. Но Савельев загородил ей дорогу и протянул руку к идущему мужчине.

— Ты што себе позволяешь, партократ? — вцепилась сзади в его пиджак “очкастая доска”. — Товарищи! Тут у нас прячется агент партократии!

В общем шуме никто ничего толком не разобрал. Только соседи, кажется, насторожились. Однако Савельев решил опередить возможную реакцию. Он вспомнил, что во внутреннем кармане пиджака у него новый, цветов российского флага, галстук. Его буквально утром подарил коллега — собкор их газеты в Финляндии. Собираясь на Старую площадь, Виктор, сам не зная зачем, положил галстук прямо в целлофане в карман. Похоже, сделал правильно.

— Вы што, мадам, мухоморов объелись?

Вынул из кармана галстук, сбросил целлофан и быстро обернул трёхцветной лентой рукав.

— Вообще, советую меньше орать. Лопнут голосовые связки.

И поднагнув к злой противнице, тихо процедил:

— Будешь после этого шипеть. Как змея зашипшь.

От такого напора женщина шатнулась назад. Тёмно-карие глаза за стёклами очков расширились. Она подняла руки, зашевелила пальцами, словно их изнутри стали колоть иголки.

— А ещё интеллигент! Может, даже во втором-третьем колене. Кого спасаешь? Их бить надо.

— Я, мадам, интеллигент в полуколене. С меня спрос маленький.

Подтянул к себе приблизившегося инструктора и, загоразживая его от шевелящей пальцами мегеры, угрожающе бросил ей прямо в лицо:

— С меня спроса вообще никакого. Вот как дам по очкам — научишься различать цвета.

Оставив ошеломлённую женщину, Савельев поспешно вывел бывшего коллегу из толпы.

— Спасибо, Витя. Надо позвонить домой. Я думал: не выйду.

— Не стоит, старик. Напугали вас там демократы?

— Если это демократия, то лучше пусть будет палка. Я всегда отвергал... с гневом... со злостью даже... спорил с некоторыми ещё в газете... Есть такие идеологи... Говорят: русский народ можно держать в нормальном повиновении только палкой. А вот теперь я вижу: она нужна. Без палки народ звереет.

— Это относится не только к русским, — резко сказал Савельев. — Любой народ на долгое давление отвечает выбросом грязи. Когда встают с колен рабы, живут, кто делают гробы. Палкой, старик, может быть и закон. Только если он для всех одинаков. Это люди хорошо замечают. Нужна диктатура не пролетариата или, скажем, учёных, деятелей культуры. Не денежного мешка или бедноты. Единственная диктатура имеет право на жизнь. Диктатура закона.

Говоря это, Савельев снимал галстук с рукава. Начал было завязывать на шею, но, в раздражении, опять сложил его и сунул в карман. К такой демократии он себя не относил. И понимал, что никакого материала в номер не напишет.

Так оно и вышло. За срыв редакционного задания Бандарух предложил Савельева наказать. Однако новый главный редактор, избранный большинством коллектива (прежнего, несмотря на его покладистость, сняли), послушал рассказ Виктора и с неудовольствием сказал своему заместителю: “Надо знать, Никита Семёныч, кого на какое задание посылать. У нас есть специалисты по таким темам. — Помолчал и с усмешкой добавил: — Отца родного не пожалеют”.

Хаос шумных победных дней: демонтаж памятника Дзержинскому (петлёй троса за шею, краном с пьедестала), эпидемия доносов, к которым днём и вечером призывал с экранов телевизоров оплывший Александр Яковлев, истерия разоблачений ГКЧП — всё это время от времени заслоняло в памяти Савельева оргию бесчинств на Старой площади. Однако стоило возникнуть какой-либо напоминающей детали, и перед глазами снова вставали те мерзкие картины. Сейчас, услышав от Волкова о его директорисе, ездившей “громить партократов”, он будто снова оказался в орущей, матерящейся, озверелой толпе.

— Не дай Бог ещё раз очутиться там, — мотнул он головой, словно стряхивая врезавшееся в память. — Мне, мужику, человеку со стороны, было не по себе, а представь женщин, идущих под плевками, под криками: “Бей их!” На одной разорвали кофту... Какому-то партийному клерку — надо ему было шляпу надеть, нёс бы в руках, может, ничего не было — к нему, как увидели в шляпе, бросились, разметав этих, которые сдерживали... Шляпу сорвали... стали топтать. Одна баба — я ещё по носу её запомнил: шрам на носу, как будто бритвой резали, схватила шляпу с асфальта, плюнула в неё — и на лицо мужику... на лицо...

Виктор нервно достал сигарету, прикурил.

— Ну, я тоже чуть не разошёлся. Только в другую сторону... Сзади меня стояла длинная тощая — не женщина, а доска в очках... морда в красных пятнах, лезла достать одного моего знакомого... пальцами перебирает, двигает, вроде поцарапать хочет... я ей чуть по морде не дал... Ты чево на меня уставился?

— Похожа на нашу Овцову.

— А-а, — махнул рукой Савельев. — Сейчас некоторые овцы злей волков. (На мгновенье задумался, засмеялся.) Или Волковых. Што там Наталья опять натворила? Наташ! Иди сюда! Расскажи о своём геройском поступке.

Он знал про газетный инцидент и увольнение Волковой после него. Именно Виктор рассказал об этом редакторше телевидения и попросил её взять Волкову на работу. Теперь что-то произошло на новом месте.

— Ну, говори, говори, — поощрительно улыбнулся вернувшейся в комнату Наталье и вдруг снова почувствовал, как когда-то, некоторое волнение при взгляде на эту стройную фигуру, подобранные сзади заколосые светлокаштановые волосы, возбуждающие груди.

Выслушав рассказ, озабоченно пощипал языком — это было у него при знакомом большого беспокойства.

— Што кассеты выбросила — правильно. Хоть немного меньше дикости увидят люди. Когда это было?

— Вчера. Но я не всё тебе рассказала. Когда подъезжали к телецентру, шофёр... молодой такой парень — Коля... до этого мало его знала... ну, ездили на съёмки, слышал мой реплики — он мне заявляет: “Вас уволят. А я этого не хочу. Потому што вы сделали, как надо”.

Неожиданно для меня предложил, как объяснить пропажу кассеты. Вроде машина у нас заглохла — прямо на мосту остановилась... Он вышел, стал копать в моторе. Я тоже вышла, стояла рядом. В это время какой-то молодой человек с другой стороны открыл дверцу машины, схватил пакет с кассетами и побежал. Мы — за ним. Жулик на бегу заглянул в пакет, понял, что ничего ценного, и бросил его в Москву-реку.

— А што, хорошая версия, — засмеялся Савельев.

— Плохая, Витя. Непорядочная. Я сгоряча её рассказала вчера, а сегодня весь день мучаюсь. Трусливой оказалась.

— Да нет, не трусливой, а мудрой. Разве это героизм, когда на современной войне солдат выскакивает из окопа под шквальный огонь без всякой защиты? Это — самоубийство. В атаку надо подниматься в каске, с бронжилетом и (Виктор двусмысленно хмыкнул) даже в бронетрусах. Солдат армии нужен живой! Если уж суждено погибнуть, то не по-глупому. Не бравируя голой грудью в наколаках.

— Тогда выходит, я сделала хорошее дело подленько? Показала людям пример не благородства — прости уж меня за высокий слог, а изворотливости?

— Важен результат твоего поступка. Не столько для узкого круга твоих коллег — большинство теперь всё равно тебя не поддержат, а для многих людей. И ещё важно при этом солдату сохраниться. Впереди, я чувствую, предстоят бои. Поэтому надо беречь каждый штык. Тем более, когда штык такой подготовленный, как ты. Опытный... Умелый. Што хорошего, если тебя выгонят? На твоё место придёт какой-нибудь “чево изволите?” Готовый и мёртвых обгадить, и живых.

— Не знаю, Виктор... не знаю. Не уверена, што правильно сделала, послушав Колю. Вон и муж говорит примерно, как ты, — кивнула в сторону Волкова Наталья, — но мне весь день кажется, будто от меня как-то плохо пахнет.

## Глава шестая

Карабанов закончил операцию, проводил взглядом увозимую каталку с пациентом и молча повернулся спиной к Нонне. Она также молча — за годы всё отработано до автоматизма — стала развязывать тесёмки халата, стянутого на спине. В это время в операционную заглянул молодой врач.

— Вас к телефону, Сергей Борисыч.

Звонил Горелик.

— Нас с вами опять зовут!

Карабанов с удовольствием расправил затёкшие плечи.

— Кого теперь будем выселять?

Недавно они двумя отрядами занимали поспешно оставленные здания ЦК КПСС. Подгоняли последних задержавшихся аппаратчиков — основная масса была изгнана несколькими часами раньше. Толстый Карабанов сам свистел им влед, обзывал партийными мордами, пока не увидел молодую красивую женщину, гордо проходившую по озлобленному людскому коридору. Сергей осёкся на полукрике и вдруг подумал, что, если эту женщину кто-нибудь тронет, он бросится её защищать.

— Сегодня у нас писатели. Поедем на моей. Я скоро буду у вас.

Горелик даже не спросил, свободен ли Карабанов, хочет ли ехать в скандал, а может даже в драку: ему сказали, что писатели — не такие овечки, как партийная шушера. Он уже раскусил доктора. Тот, как наркоман, попробовавший марихуану, всё сильнее втягивался в революционный разгром и чем дальше, тем охотней кидался в новую схватку.

Доктор действительно жил в эти дни, словно в опьянении от наркотика. Его будоражили происходящие события, волновали до повышения давления митинги, на которых осуждали ГКЧП и прочих “заговорщиков”. Он тоже стал выступать на них — возбуждённо, переходя на крик и сажая голос. Больничные дела отодвигались куда-то в неинтересное отдаленье. Карабанов передавал операции другим хирургам; когда нельзя было отказаться, делал свою работу всё ещё добротнo, но теперь, скорее, по привычке, чем с охотой.

В центре Москвы, возле здания мэрии, их присоединили к нескольким молодым людям. Образовавшуюся группу разделили на две части. Меньшую, из пяти человек, возглавил Горелик. Кроме него и Карабанова в неё вошли шмыгающий носом парень, с буйно всклокоченными, рыжими, как медь, волосами и двое совсем юных, школьного вида, ребят.

— Наша задача, — сказал Горелик, пряча в папку какой-то листок бумаги, — взять помещения Союза писателей России.

Стоящий рядом с доктором парень чихнул. Горелик недовольно глянул на него.

— У них хороший, старинный особняк. Сейчас там осиное гнездо. Эти люди со своими воплями о патриотизме, о притеснении русского народа идеологически готовили ГКЧП. Мы — национальные гвардейцы, имеем распоряжение...

В этот момент рыжий, лохматый парень отвернулся и громко высморкался на асфальт.

— В чём дело, Пашков?



— Простыл... Под дождём стояли — в кольце... Вокруг Белого дома... Течёт, как из крана...

— Надо дома сидеть, а не разносить заразу, — сказал Карабанов. — Какой-нибудь вирус подхватили.

— Сам сиди дома, если боишься заразиться, — гнусаво от заложенного носа проговорил рыжий и снова чихнул. — Мы историю делаем. Новую. А ты микробов испугался.

Карабанов терпеть не мог, когда незнакомые люди называли его на “ты”. А здесь соплик, в прямом и переносном смысле, которого он первый раз видел, разговаривал с ним, как с уличной шпаной.

— Вы где откопали такого “гвардейца”? — в бешенстве спросил он Горелика. — Што у нас общего с этой бациллою?

— Спокойно, спокойно, Сергей Борисыч. Пашков тоже имеет заслути перед демократией. А ты, — одёрнул Горелик шмыгающего носом парня, — веди себя поприличней. Возвращаюсь к заданию. Эти писатели — самые отъявленные реакционеры. Их вопли о том, што мы уничтожаем страну, один в один повторили в своём воззвании путчисты. Пусть теперь повоюют на улице. Под мостом пускай пишут свои красно-коричневые книги. А здание у них надо отобрать.

В это время в том здании, куда направлялись “гвардейцы демократии”, проходило заседание пленума Союза писателей РСФСР. Даже при спокойной общественной обстановке подобные мероприятия у этой публики напоминают старинный базар, на котором поймали конокрада. Одни требуют его повесить, другие — бросить под копыта чуть было не украденного коня, третьи — вызывают к божественному всепрощению. А после внезапного возникновения ГКЧП и столь же необъяснимого его провала зал заседаний напоминал улей, в который пыхнули дымом из дымара. Президиуму с трудом удавалось удерживать порядок. Инженеры человеческих душ трясли бородами, отражали лысыми свет августовского солнца, свободно заливавшего через большие окна просторный зал памятника архитектуры, перебивали друг друга, пытаясь добраться до спрятанного, как тайна смерти Кощея Бессмертного, ответа на вопрос о дальнейших действиях своей организации в создавшихся условиях. И тут в коридоре раздался шум. Дверь распахнулась. В проёме возник сначала толстый, немного обрюзгший черноволосый мужчина, за ним показались невысокий, тщедушный человек с лицом цвета отбеленного холста и паренёк школьного вида. Бледнолицый обернулся в коридор, кому-то взмахом руки показал остаться там.

— Внимание! — крикнул он в зал. Некоторые писатели повернулись на голос, но те, кто были дальше от входной двери, не обратили внимания на появившегося лысоватого крикуна с выпуклым лбом и белесо-голубыми глазами. Это, похоже, рассердило его.

— А ну, тихо! — гаркнул он, и вылетевший из маленького тельца громовой голос поразил многих так же, как если бы они, наступив в лесу на старый гриб-дождевик, увидели не только коричневую пыль, но и услышали взрыв.

— Ваше заседание закрывается! Помещение опечатывается!

Сидящие в президиуме непонимающе переглянулись. С первого ряда к бледнолицему обладателю голоса, похожего на ирихонскую трубу, подскочил тоже невысокий, однако, судя по жилистости и борцовскому виду, сильный мужчина в очках.

— Кто вы такие? Ваши документы?

— Мы из московской национальной гвардии. Вот мой мандат.

Писатель взял бумажку, стал читать вслух:

— По предъявлении сего мандата товарищу Горелику Анатолию Викторовичу предоставляется право участвовать в рассмотрении антиконституционной деятельности граждан, их причастности к государственному перевороту.

Стоящие рядом с Гореликом Карабанов и паренёк школьного возраста приосанились. Писатель фыкнул, прожёт взглядом современного “конокрада”, словно решая, что с ним делать.

— А теперь покажите документ, на основании которого собираетесь опечатать здание.

Горелик неохотно достал из папки листок. Писатель также вслух прочитал и эту бумагу. В ней говорилось, что “учитывая имеющиеся данные об идеологическом обеспечении путча и прямой поддержке руководителями Союза писателей РСФСР действий контрреволюционных антиконституционных сил” приостановить деятельность правления Союза и опечатать помещение. “Комendanтом здания, — читал литератор-крепыш, — назначить тов. Дуськина”.

— Кто это Дуськин?

Горелик показал на стоящего рядом парнишку.

— А кто подписал бумагу? Чьё распоряжение? Может, это анонимка? — с разных сторон послышались голоса.

— Подпись есть. Музыкантский.

Сидящий в президиуме и молчавший до того немолодой писатель со звездой Героя Социалистического Труда с удивлением спросил:

— Кто такой — этот Музыкантский?

Его сосед, лобастенький, с аккуратной приказчичьей бородкой и значком народного депутата СССР пожал плечами:

— Наверно, из тех, кто был ничем. А сейчас, вон видишь, становится всем.

Горелику надоел этот балаган вопросов и ответов.

— Освободите помещение, граждане контрреволюционеры.

Он вспомнил классическое выражение своего тёзки, матроса Анатолия Железнякова, который в январе 1918 года закрыл Учредительное собрание знаменитыми словами, и, нарочито насупившись, произнёс:

— Караул устал. Закрывайте свою лавочку.

Комиссар новой революции и не предполагал, что произойдёт дальше. Едва он протянул руку за распоряжением префекта Центрального округа Москвы Музыкантского, как прямо у него перед лицом крепыш-литератор разорвал листок пополам и бросил половинки на пол. В зале поднялся гвалт.

— Правильно! Это незаконие! Охота на ведьм! Террор со стороны демократической банды!

Карабанов сначала обозлился и на мужика, разорвавшего важный документ, и на кричащих писателей, но, глянув ещё раз на человека со звездой Героя за столом президиума, стал вспоминать, где его видел. А приглядевшись, вспомнил. Это был известный писатель-фронтовик Юрий Бондарев, чьи книги Сергей читал ещё студентом, чьё лицо время от времени появлялось в телевизоре и чьи критические слова о горбачёвской перестройке несколько раз повторял ему отец. “Самолёт мы в воздух подняли, а о посадочной площадке не позаботились”.

Улучив минуту затишья, Бондарев спокойно и твёрдо заявил: “Я отсюда уйду только в наручниках”. Доктор понял: такие не отступят. Наклонился к Горелику и негромко сказал:

— Бросаем это дело. Надо действовать как-то по-другому.

Под крики и грохот сдвигаемой мебели — писатели начали баррикадировать окна — “гвардейцы демократии” с раздражением вышли из здания.

А там, внутри, закипела азартная, злая работа. Лысые и волосатые, бритые и в бородах, молодые и старые писатели под русскую матерщину и командные крики двигали к огромным окнам стулья и диваны, шкафы и даже трибуну. Они ещё не знали, что их неожиданное сопротивление заставит прокурора Москвы отменить распоряжение Музыкантского как незаконное. Не знали, что во всеобщей вакханалии захвата чужой собственности писательская коллективная собственность: Дома́ творчества, санатории, дачи, здание Правления, которое они собрались защищать вплоть до рукопашной всё это будет сохранено. И сохранено только благодаря их единению. Через два года, в октябре 93-го, они ещё раз выступят монолитным отрядом. А спустя полтора десятка лет встанут по разные стороны баррикады, внутри которой окажется та самая собственность. Теперь на неё у прежних единомышленников будут прямо противоположные взгляды.

Но в конце августа 91-го они радовались тому, что в опасный момент смогли пренебречь художественно-эстетическими разногласиями, и, глядя сквозь загромождаемые окна на изгнанных “гвардейцев демократии”, стоящих неподалёку от здания, полагали, что это их единение — навсегда.

Горелик быстро приспособивался к любой изменяющейся обстановке. Поняв, что взять сходку писательское “осиное гнездо” не удалось, он отпустил двоих парнишек и рыжего Пашкова, который ещё сильнее шмыгал носом. Оглянувшись на трёхэтажный дом с колоннами.

— Красивый, чёрт возьми! Знаете, што это за дом? Ему больше двухсот лет. Называется Шефский дом. В начале 19-го века поблизости были построены Хамовнические казармы. Для Астраханского полка. У каждого полка был свой шеф. Это мог быть кто-то из царской фамилии или другой знатный человек. Жил он в Петербурге, а в Москву наезжал. С шефскими визитами. В доме постоянно квартировали высшие офицеры. Здесь собирались на свои совещания будущие декабристы. Пили, спорили... Представляете, заполучить этот дом в собственность! Проводить там вечеринки... Вот вас я, например, приглашу, и мы ходим по лестницам, где ходили декабристы, гладим колонну, к которой прижимал какую-нибудь женщину член царского дома...

— Для этого надо было родиться двести лет назад. И то членом...

— Мы родились в самое время. Сейчас начнётся массовый передел собственности. Надо не упустить шанс.

— Интересно, как вы собираетесь делить без одобрения демократической власти? Без митингов и народной поддержки?

— Времена митингов скоро пройдут. История будет делаться в кабинетах. А кабинеты должны занять мы. И в этом нужно помогать друг другу. Допускать только тех, кого знаем. Даже Ленин всегда спрашивал рекомендателя: знаете ли вы его лично? Вот вы меня знаете, и я вас тоже. Значит, мы оба готовы взять эту власть. Думаете, почему я пошёл работать в наш горсовет?

— Популярности захотелось, — насмешливо сказал Карabanов. — К трудящимся ближе. К их заботам.

— Нет, Сергей Борисыч. Ближе к собственности. К таким вот зданиям (показал на Шефский дом)... К заводам, шахтам, пароходам. Вы член партии, должны знать: ещё четыре месяца назад, на апрельском вашем пленуме, ваши товарищи...

— Бросьте. Я вышел из партии и давно не слежу за ней...

— А-а. Тогда я вам скажу. Мы следим... Наши люди всё отслеживают... Партийцы одобрили возможность приватизации в стране. А незадолго до ГКЧП российский Верховный Совет принял закон о приватизации и разгосударствлении. Теперь партии нет. Она запрещена. Остался закон. А как его выполнять, мы будем решать. В кабинетах.

— Сейчас не об этом надо думать, — решительно проговорил доктор. — Нужно добить систему. Выбить у неё последние зубы.

— Мы её и добьём. Когда возьмём собственность. Только вы не опоздайте.

## Глава седьмая

После июньского заседания Верховного Совета СССР, на котором премьер Павлов, поддержанный силовиками, потребовал особых полномочий для Кабинета министров, Савельев в Кремле не бывал. Сейчас он шёл мимо здания Верховного Совета, где проходило то заседание, к Дворцу съездов, и думал о том, как изменилась жизнь за короткое время. Прошло всего два с половиной месяца, а вне кремлёвских стен была уже другая страна. После ликвидации ГКЧП стал стремительно и окончательно сдвигаться Горбачёв. Виктор был на той сессии российского Верховного Совета в Белом доме, когда Ельцин, прямо возле трибуны, за которой стоял Горбачёв, подписал свой Указ о приостановлении деятельности Компартии. “Форосский пленник” что-то растерянно лепетал, а торжествующий Ельцин, со злорадной кривой

ухмылкой, не обращая внимания на униженного “вождя”, показывал залу победную бумагу.

На следующий день морально раздавленный Горбачёв, отрёкся от должности Генерального секретаря ЦК КПСС. Это стало сигналом к захвату огромной собственности, что вызвало удивление даже на Западе. Приехавший в Москву экс-канцлер ФРГ Вилли Брандт, бывший в то время секретарём Социалистического интернационала, заявил по поводу “приостановления деятельности”, что “на цивилизованном Западе, в правовых государствах такого не принято”.

Теперь Виктор шёл на открытие Пятого, внеочередного Съезда народных депутатов СССР и пытался представить, чем он закончится. Союз разваливался, и средства массовой информации третировали союзных депутатов, призывая их отказаться от мандатов.

Утро было солнечное. Второе сентября, понедельник — первый день учебного года. Савельев успел проводить дочь до школы. Там — радостное волнение, цветы, улыбки, торжественно настроенные учителя и ребяташки. А к Дворцу съездов шли озабоченные, хмурые люди, и ничто не напоминало тот всеобщий душевный подъём, с которым они неслись чуть больше двух лет назад на открытие своего Первого Съезда.

В главном фойе похожего на куб беломраморного здания, застеклённого с трёх сторон от земли до крыши (оно всегда напоминало Виктору обнажённо-прозрачные кафе — “стекляшки” хрущёвских времён), толклись депутаты, журналисты, приглашённые. Возле одной из колонн Савельев увидел группу мужчин, о чём-то негромко спорящих. Среди них заметил своего знакомого депутата Виталия Соловьёва. Журналист заколебался: подходить ли? После того разговора о Ельцине в 89-м году они виделись не один раз. Обсуждали, что угодно: охоту — Виталий тоже любил её, свои дома в деревне — оба начали строиться каждый у себя, но только не российского лидера. Лишь однажды, когда Ельцина избрали председателем Верховного Совета России, Савельев напомнил Виталию их разговор.

— Ну, кто из нас оказался прав? Народ не обмануть... Толпа подняла Борис Николаича на руки и внесла во власть.

— Народ-то как раз легче всего обмануть, — спокойно заметил Соловьёв. — Возбуждённая толпа никогда не бывает умной. Она ещё пожалеет о своём выборе.

Всё, что происходило потом, доказывало правоту Соловьёва. Вспоминая о собственной недалёковидности, Виктор чувствовал себя самонадеянным мальчишкой. Ему казалось, что Виталий когда-нибудь припомнит журналисту агитацию за Ельцина. Но тот молчал, а от этого Виктору становилось ещё больше стыдно. Он стал избегать встреч. Вот и сейчас, поколебавшись, решил не останавливаться. С мятой, смущённой улыбкой кивнул Соловьёву и прошёл мимо.

Поскольку звонка ещё не было, большинство депутатов кучковалось в фойе. У многих лица были серьёзные, даже мрачные, словно у людей, ждущих приговора. Но вместе с тем кое-где слышался смех, весёлые голоса. Проходя возле одной такой кучки, Виктор увидел в ней Катрина. Тот смеялся, прикрывая рот рукой. Журналист отвернулся, чтоб не вступать в разговор. Однако не удалось.

— А-а, гражданин Савельев! — закричал нечернозёмный Бонапарт. Стригущими шажками направился к Виктору. — Как поживаете после неудачного переворота? Жалко, наверно, товарищей? С верхней палубы государственного корабля да в камеры “Матросской тишины”.

Он семенил, стараясь не отстать от журналиста, который размашисто шёл по фойе.

— Не дали вы моим предложениям хода! Теперь можно вас рассматривать, как соучастника. Тогда бы их отправили в отставку... ну, кого-то арестовали... заранее взяли за горлышко... загодя... вот так!

Катрин сморщил свирепую мордочку, выбросил вверх правую руку и несколько раз сжал пальцы, словно кого-то душил.

Савельев резко остановился.

— Вы чево мелете, гражданин Катрин? Ищете ведьм, где их нет? Я вот сейчас донесу на вас, што вы своими публичными призывами к массовым репрессиям провоцировали переворот. Возбудили разговорчиков! Вы подстрекали к бунту! И мне поверят! Потому што я породил Межрегиональную депутатскую группу. Я помог многим стать депутатами. А вы кто такой?

Маленький мужичок насупился. Слегка осевшим голосом произнёс:

— Я из команды Борис Николаича.

Катрин понял, что разозлил журналиста и дразнить его дальше небезопасно.

— Вот и передайте ему привет! — сказал Виктор. — А сами впредь думайте, што несёте... Ленин-Маркс в одном стакане.

Немного остыв, бесцветно спросил:

— Готовитесь, наверно, распускать Съезд?

— Наше дело — только помогать. Стараться будет Горбачёв. И вот эти...

Нечернозёмный Бонапарт показал на толпу депутатов, двинувшихся в зал заседаний. Меленько засмеялся, прикрыв рот рукой, и доверительно проговорил:

— Историческое событие ждёт нас с вами, гражданин Савельев! Кто должен корабль спасать, будет его топить.

Намёк на Горбачёва как ликвидатора Съезда насторожил Савельева. “Неужели этот вьон будет сдавать последнее?” — с беспокойством подумал он. Но, видимо, Катрин знал что-то такое, что было неизвестно журналисту. Поэтому Виктор решил внимательно следить за ходом событий.

А они понеслись вскачь. Сразу после открытия заседания Горбачёв предложил принять заявление, которое останавливало действие союзной Конституции и создавало органы власти, ею не предусмотренные и никакими правами не обладающие. Подписали заявление руководители нескольких республик и Горбачёв. Зачитал документ президент Казахстана Назарбаев.

В отличие от зала заседаний Верховного Совета СССР, где прессу пускали только на балкон, в Кремлёвском Дворце съездов возможностей было больше. Особенно для пишущих журналистов. У них ни треног, ни камер — лишь блокнот и ручка. Савельев брал ещё маленький японский диктофон. Поэтому, не выпячивая себя, он устраивался на каком-нибудь боковом балконе. Оттуда видел значительную часть зала, а приглядевшись, мог различать даже мимику на лицах.

Но сейчас и вглядываться не требовалось — многие депутаты были в явной растерянности. Из выступлений стало выясняться, что документ стратегического значения готовили второпях, ночью, что инициатором заявления был Горбачёв, а к нему даже в послушной части депутатского корпуса отношение изменилось.

— Я прошу простить меня за то, што буду говорить, может, не очень чётко, поскольку не готовил специального выступления, — начал депутат из Орловской области. — Как и многие из вас, я не был готов к такому повороту событий.

Виктор знал этого человека. Тот всегда восхищался Горбачёвым, поддерживал любые инициативы “президента-реформатора”, но сегодня и ему, похоже, стало не по себе.

— Если мы так же легко, как за открытие Съезда, проголосуем за предлагаемые меры, то не получим ли сербо-хорватский результат войны республик друг с другом? Михаил Сергеевич, скажу откровенно: боюсь, што такое скоропалительное решение приведёт к страшному хаосу.

Стали понимать опасность горбачёвского документа и другие депутаты.

— Я хочу говорить только по одному вопросу, — тихим голосом начал известный учёный-лингвист, академик Лихачёв. — Сохранение Союза — это сейчас важнейшая проблема. Его развал повлечёт за собой беду для всех наших республик. Это должно быть ясно не только здесь, в зале, но и за пределами наших стен. Это должно быть ясно каждому рабочему и крестьянину, неискущённому в чиновничьем языке, возможно, не понимающему, што

такое “экономическое пространство” и другие подобные вещи. Они должны ясно представлять себе, почему необходим Союз.

Савельев слушал 85-летнего академика, его негромкий, взволнованный голос и думал: неужели этому выдающемуся старцу, ещё в молодости прошедшему лагеря, всю жизнь имевшему дело с древними рукописями и ветхими книгами, знающему героев “Слова о полку Игореве” лучше, чем многих сегодняшних соседей по дому, видна грядущая беда народов в случае развала единого государства, а те, кому доверились миллионы людей, этого не понимают?

— Если мы проведём тысячекilометровую новую берлинскую стену между нашими народами, — продолжал Лихачёв, — мы станем территорией трехстепенных государств и в политическом, и в военном, а самое главное — в культурном отношении.

Почему наша держава одна из первых в мире? Потому што за ней великая, многонациональная культура. И всё это нам нужно сохранить.

Хотя парламентскую среду в целом Савельев знал неплохо, всё же знакомых больше имел в Верховном Совете СССР. Что было вполне объяснимо. Съезд из двух с лишним тысяч человек собирался время от времени, а Верховный Совет из полутысячи депутатов работал месяцами. Поэтому со многими Виктор был знаком лично. С одними — ещё с их кандидатской поры. С другими — уже в депутатском качестве. Чьи-то готовил статьи. Кого-то запомнил по необычным выступлениям в зале заседаний.

Но было несколько человек, одно лишь упоминание фамилий которых вызывало волнующие ассоциации. Таким был депутат Оболенский. Даже если бы он не удивил страну, смотрящую прямую трансляцию Первого Съезда народных депутатов СССР, выдвижением, в противовес Горбачёву, своей кандидатуры на пост Председателя Верховного Совета, фамилия “Оболенский” и без того была на слуху у миллионов. Со сцен и с экранов телевизоров, из магнитофонов и молодёжных застолий неслись волнующие слова о двух благородных белогвардейских офицерах. Сам Виктор, имея неплохой голос, едва ль не при каждой выпивке подхватывал обязательно кем-нибудь начатую песню:

*Четвёртые сутки пылают станицы,  
По Дону гуляет большая война,  
Не падайте духом, поручик Голицын,  
Корнет Оболенский, налейте вина!*

В этой песне, написанной кем-то из молодых советских авторов и быстро ставшей народной, каждый эстрадно-магнитофонный исполнитель немного менял отдельные слова. Но один куплет не трогали. Видимо, не поднималась рука:

*Мы сумрачным Доном идём эскадроном,  
Так благослови нас, Россия-страна!  
Корнет Оболенский, раздайте патроны,  
Поручик Голицын, надеть ордена!*

“Какие люди! Какие сыны Отечества!” — мысленно повторял Виктор, каждый раз судорожно глотая комок в горле. Поэтому возникающая при каких-нибудь обстоятельствах фамилия депутата, всегда вызывала у Савельева ассоциации с чем-то надёжным и порядочным, хотя в жизни, как он понимал, воображаемое не всегда соответствует реальному.

Когда председательствующий Горбачёв объявил выступление Оболенского, у Савельева приподнялось настроение: “Ну, этот вряд ли поддержит развал Союза”.

Оболенский начал с резкой критики председателей обеих палат Верховного Совета. Он сказал, что эти люди “предали возглавляемые ими палаты”, позволив появиться заявлению, где намечено “сформировать неконституционные органы власти”. Под аплодисменты депутатов воскликнул:

— Может быть, хватит относиться к Конституции, как к публичной девке, приспособливая её к утехам нового царедворца? Должна же быть в об-

шестве основа стабильности и правопорядка! Именно с насилия над законной властью начинались все гражданские войны, в том числе и наша, которая началась с разгона Учредительного собрания.

Однако, когда он предложил сместить Горбачёва с должности Президента СССР и в трёхмесячный срок провести всенародные выборы нового президента, в зале не раздалось ни единого хлопка. Люди замерли, словно парализованные. Даже стоя на краю обрыва, к которому привёл их этот велеречивый, проигравший страну человек, они не решались отказаться от него, столкнуть в пропасть истории, а продолжали надеяться на озарение вождя, как немцы в атакуемом рейхстаге — на появление “чудо-оружия”.

Тем не менее, выступление Оболенского создавало серьёзную угрозу. Отвергая разрушительный документ, кое-кто также мог повернуть к ответственности главного автора. “Сейчас станут отмывать пятнистого”, — подумал Савельев. И действительно, вскоре от одного из стоящих в зале микрофонов полилась липкая, как сахарный сироп, хвалебная речь о Горбачёве. Туркменский представитель призывал “не бросать камни в нашего лидера Михаила Сергеевича”, “оградить его от незаслуженных обвинений” и дать “успешно работать на благо страны”.

Похожие, явно организованные “вставки” прозвучали ещё в нескольких выступлениях. Наконец, “отметился” и сам Горбачёв. Закрывая первый день заседаний, он объявил:

— Поступила записка от депутатской группы о том, что народный депутат Оболенский выступал не от группы, а от себя лично.

Какая группа подала эту записку? Кого она представляла? Объяснений, разумеется, не последовало. Важно было нейтрализовать опасное предложение, показав его одиночным мнением депутата-экстремиста.

Но отвести разговор в сторону от Горбачёва не удалось и на следующий день.

— Перед нами сейчас как бы разыгрывается третий акт пьесы, — заявил профессор из Минска, доктор экономических наук, депутат Журавлёв. — Известно, что в пьесе третий акт — всегда самый драматический. И если мы не сделаем эту пьесу со счастливым концом, если не будет четвёртого акта, страну ждёт трагедия.

Говорю об этом потому, что хорошо знаю “почерк” моих зарубежных коллег. Сценарий этой пьесы пишут системные аналитики. Я тоже системный аналитик, и разница между нами лишь в том, что они загадывают, а я разгадываю загадки.

У нашего Президента есть любимые фразы: “подбросили идею”, “процесс пошёл”. Не знаю, кто нам подбросил идею, но она чисто английского производства: “разделяй и властвуй”. Если нас разделят, будут властвовать.

Я целиком и полностью согласен со всем, что сказал вчера депутат Оболенский. Другое дело, как нужно поступить с нашим Президентом. Я не знаю, кто он точно — это скажет только суд.

Но нам надо думать о стране. Поэтому нужно очень внимательно относиться к тому, что нам предлагают. Ни в коем случае нельзя распускать Съезд и Верховный Совет. Они должны выполнить свой долг.

Савельев время от времени выключал диктофон — экономил плёнку. Тем более, что многие начинали с ритуального осуждения ГКЧП. Оценки варьировались от уже набивших оскомину штампов “хунта”, “государственные преступники” до свежих образов: “монстры тоталитарного режима”, “корниловский мятеж”, “убийцы свободы и демократии”. Соревнуясь друг с другом, выступающие фонтанировали радостью от великой демократической победы.

Однако в большой бочке этого победного мёда вдруг стал ощущаться явный запах дёгтя.

— Путч встряхнул общество, и случилось то, что происходит, когда встряхивают ведро с картошкой, — заявил один из выступающих. Савельев с любопытством поглядел вниз на стоящего у микрофона оратора. Узнал его. Это был знакомый эколог. “Ну-ка, ну-ка, что произойдёт с картошкой?”

— Крупные клубни выходят на поверхность, мелкие падают вниз, — сказал тот и сразу перешёл на общество. — Так получается и с людьми.

У некоторых настолько быстро “перекрасились” взгляды, так быстро они “переодели пиджаки”, што невольно задумаешься об уровне их приверженности демократии. Может, у них эта приверженность временная? Стало выгодней носить новую одежду? Такие люди есть и в нашем зале. Они под разговоры о демократии навязывают нам авантюру. Вплоть до роспуска Съезда. Мы должны быть бдительны.

Насчёт бдительности Савельев был согласен. Он и раньше в спорах с некоторыми депутатами настойчиво советовал им не отбрасывать её, в том числе при общении с Горбачёвым и Ельциным. “В политике безоглядно нельзя доверять никому, — горячился Виктор. — Особенно людям, которые обещают всех построить в новые колонны. Демократические. А каждый шаг в сторону инакомыслия будут расценивать как побег к врагу”.

Теперь один из тех его оппонентов, когда-то упрекавший Виктора за излишнюю подозрительность к демократам, жидким, просящим голосом призывал с трибуны Съезда остановить маховик начавшихся репрессий под демократическими знамёнами.

— Наш святой долг — не допустить ликвидации оппозиции, инакомыслия и раскручивания колеса страха. Политические деятели, возрождающие лозунг: “Кто не с нами, тот против нас”, выгоняющие с работы за инакомыслие толковых специалистов, должны спросить у себя: хватит ли им холода в сердце, чтобы завтра подавлять голодные тамбовские бунты, кто из них готов исполнять роль карателя, а кто — певца и теоретика теперь уже демократического террора? Неужели нашему народу предстоит долгие годы защищать демократию от неистовства её беспощадных сторонников?

“А ты на што рассчитывал, когда хвалил националистов в республиках? — с раздражением подумал Савельев, вспомнив выступление этого депутата на одном из московских митингов. — Говорил, как Змей Горыныч огнём полыхал. Сторонников Союза не считал за людей. Ба-а! Да ты и сейчас с той же песней!” — удивился он, услышав заключительные слова оратора:

— И последний пункт. Мы должны самораспуститься. Того Союза, который был на этом гербе, больше нет. Значит, его верховной власти тоже не должно быть. Надо думать о новом союзе. Но прежде всего — услышать мнение народов.

После этого ещё активней стали выступать сторонники горбачёвского документа, который прекращал действие союзной Конституции. Однако и противники их тоже не молчали.

— Прекрасное вино, налитое в грязный кубок, будет испорчено, даже если это кубок победы, — заявил депутат из Ленинграда Щелканов. — Самые прекрасные идеи и меры, направляемые на радикальное улучшение обстановки в государстве, будут дискредитированы, если они внедряются антиконституционными методами.

Чем мы занимаемся сегодня? Послушно нарушив требования Конституции и Регламента, практически не открывая Съезда, мы превратили его то ли в конференцию, то ли в симпозиум по обсуждению ультимативно вручённого высшему органу народовластия заявления. И если сегодня попираются требования Конституции и Регламента, то о каком законопослушании граждан мы осмеливаемся говорить, когда сами даём примеры противного. Начинать надо с себя!

Савельев знал, что этот человек имел право говорить так. Он не был знаком с ним лично — всё как-то не “ложилась карта”. Но много слышал от своего коллеги и товарища, тоже народного депутата из Ленинграда Ежелева. Про Александра Щелканова в городе на Неве ходили легенды. Капитан первого ранга в отставке и военный пенсионер, он сначала работал штамповщиком пластмассовых изделий на заводе, а потом грузчиком в магазине. Из грузчиков этот худощавый, с военной выправкой, с суховатым аскетичным лицом и короткой стрижкой 50-летний мужчина шагнул в народные депутаты СССР, победив влиятельного директора Балтийского морского пароходства.

Через год, на альтернативной основе, Щелканова избрали председателем исполкома Ленсовета. Те качества, которые видело до того близкое окружение, стали открываться многим. Его скромность была не показной, а естест-



венной, как кожа тела. Руководитель огромного города каждый день ездил на работу и домой только городским транспортом: на метро, в автобусе. Он не сменил ни квартиру на более лучшую, ни даже номер домашнего телефона. Его нельзя было уговорить на какое-то “левое” дело, “войти в положение”, если за этим стояла чья-то корысть. Став главой исполнительной власти, Щелканов принимал на работу специалистов только по конкурсу. Публично заслушивались программы, и депутаты Ленсовета оглашали вердикт. Так в исполкоме создавалась атмосфера ответственности, товарищества и доверия. Ежелев рассказывал Виктору, что нередко победивший на конкурсе брал своим заместителем того, кто оказывался вторым в борьбе.

После решения Ленсовета во главе с Собчаком ввести выборную должность мэра пост председателя исполкома упразднился. 12 июня 91-го года Щелканов ушёл в отставку. Ни до того, ни после не было таких проводов руководителей города. Уже некуда было ставить цветы, а их всё несли и несли. Все триста семьдесят депутатов Ленсовета, стоя, аплодировали этому сдержанному человеку и не только у женщин были мокрые глаза. Некоторые понимали, что уходила короткая эпоха настоящей демократии, а на смену ей валаась надменная чванливость, шулерски играющая словами о демократии.

И, слушая сейчас Щелканова, Виктор жалел, что до сих пор не выбрал времени познакомиться с этим человеком, которого про себя называл “демократической легендой” Ленинграда. “Вот какие люди нужны во власти, — думал он. — Это, наверно, и есть нынешние сыны Отечества. Только почему-то Отечество меняет их на других. Неужели народ, действительно, не способен разглядеть, где добро, а где зло? Верит прохвостам только потому, что они обещают к благу лёгкие пути. Даже через разрушение...”

Он мысленно повторил слово “разрушение”, поскольку оно донеслось из зала. Савельев прослушал фамилию выступающего, но тут же по резкому, жестяному голосу узнал Катрина.

— Некоторые не хотят роспуска Съезда народных депутатов, боятся, повторяю вам, разрушения государства. Но я предлагаю глянуть правде в глаза. Когда выдвигается аргумент, будто это действие антиконституционное, можно ли с этим согласиться? Конечно, нет! Советского Союза уже не существует. Сохранять высшие органы власти несуществующего государства — это ж полный абсурд. Да, процесс развала Союза — это для кого-то из наших недалёковидных коллег — процесс негативный. Но в глазах демократического Запада, а мы должны равняться на прогрессивный мир, это самый лучший вариант. Будет не одно, а пятнадцать государств. А если разделится Россия — ещё штук десять — разве это плохо? (Катрин прыснул, как котёнок чихнул). Больше будет мест, куда поехать в гости.

Если вдруг кто-то захочет объединиться — флаг им в руки. Только будет это, надеюсь, не скоро. Мы наелись единства. А на переходный период нам вообще не нужна никакая законодательная власть. Ни Съезд, ни Верховный Совет. Я поддерживаю предложение ликвидировать всё это и призываю не лезть бессмысленно под колесо истории.

В зале поднялся шум. Савельев увидел сверху, как из рядов, к стоящим в проходах микрофонам и сгрудившимся возле них депутатам, стали пробираться новые люди. “Вот гадёныш! — подумал он о Катрине. — Неужели ему не ответить?” И, словно услышав Виктора, от микрофона заговорил Виталий Соловьёв.

— Уважаемые депутаты! Я не могу сказать: “товарищи”, потому что мы с некоторыми лицами в этом зале не являемся товарищами. Они хотят уничтожения моей... нашей страны, я хочу её сохранить.

Нам предлагают одобрить Заявление руководителей республик, подписанное, между прочим, и президентом Горбачёвым, где говорится, что Съезд должен обратиться в ООН с просьбой признать все республики самостоятельными государствами. После чего, как предложил один из предыдущих ораторов, Съезд должен самораспуститься, спросив напоследок мнение народов о Союзе. А разве народы уже не сказали своего слова? Полгода не прошло со времени Всесоюзного референдума. Три четверти участников проголосо-

вали за сохранение Советского Союза. Не от имени кого-то. Не по поручению. Каждый лично сказал: я — за.

А кто такие лица, подписавшие Заявление о ликвидации Союза? Да-да, — вы не кричите! — именно о ликвидации! Кто такой Шушкевич? Всего лишь заместитель Председателя Верховного Совета Белоруссии! Он даже не избран народом, чтобы говорить от его имени! Так же и другие. Разве народы отдали им своё право — я подчёркиваю: своё! личное право каждого гражданина решать: быть или не быть Союзной Конституции, быть или не быть утверждённым ею высшим органам власти, а, по сути говоря, аннулировать решение каждого гражданина, которое он официально высказал? Нет, такого права им не давалось. Выходит, нам предлагают утвердить незаконное упразднение союзных институтов власти. А это, уважаемые депутаты, уголовная статья. По ней сейчас готовятся судить руководителей ГКЧП. Так чем же лучше подсудимых те лица, которые составили антиконституционный документ?

Они почему так сильно хотят быть самостоятельными? Может, думают о счастье своих народов? Совсем нет. Им хочется неограниченной власти, хочется быть похожими на всех больших президентов. Личные самолёты. Дворцы и лимузины. А главное — деньги, деньги...

Многие из нас, находящихся в этом зале, ещё не раз вспомнят слова Дмитрия Сергеевича Лихачёва, которые он сказал вчера. Разваленный Союз превратится в кучу третьестепенных государств. Во всех смыслах слабых. Зато в каждом будет свой президент. На манер американского. Каждый будет непомерно богат. С золотым тронem. С раздутой охраной. И с нищим народом... где-то там, внизу.

Тут передо мной выступал депутат... Спрашивал со слезой в голосе: хватит ли у демократических лидеров холода в сердце подавить бунт голодных. Нисколько не сомневаюсь: хватит! Даже расстрелять хватит совести. Боюсь, што мы это скоро увидим, если проголосуем за предложенные нам документы.

\* \* \*

Такого беспокойного состояния в жизни Савельева, кажется, ещё не было. И это, несмотря на то, что шёл он по этой, своей, жизни, словно по горной стране. То поднимался вверх — иногда трудно, упорно, то сваливался в яму осуждений, выговоров, увольнений по собственному иль чьему-то желанию. Из одной молодёжной редакции пришлось уйти только потому, что не захотел стать любовником редакторши газеты. При его нещепетильности в этом отношении, азартности в любовных связях “облаготельствовать” лишнюю женщину было пустяковым делом. К тому же, редакторша выглядела совсем не дурно. Но он уже несколько раз выпивал с её мужем — угрюмым провинциальным писателем, толковал с ним “за жизнь” и сам не понял, какая вожжа “попала под хвост”. Когда женщина в своём кабинете обняла Виктора и потянулась к нему губами, он с извинительной улыбкой развёл её руки. “Не надо, Юля”.

После того случая Савельев узнал, что такое — месть отвергнутой женщины-начальницы.

Однако со временем и тот прессинг, и последующие обрушения остались в памяти, как эпизоды, достойные разве что грустной мысленной улыбки. Даже когда его снимали с работы за критический материал в большой областной газете (задел слишком близких к первому секретарю обкома партии людей), не было такой опустошённости и беспокойства, какие он чувствовал теперь. Тогда знал: произошедшее с ним — частный случай его жизни. Отдельной жизни в огромном многоквартирном Доме под названием “страна”. У него обрыв, но в Доме-то всё нормально. А значит, и он снова поднимется, ибо гарантией тому — живая, пульсирующая жизнь Дома.

Теперь рушилось то, что раньше было надеждой и опорой. Распадался Дом. Сдвигаемые непонятными силами плиты перекрытий готовы были вот-вот упасть на растерянных, ничего не понимающих людей, а стены, ещё не-

давно бывшие прочной защитой от внешних злостей, разрывали опасные трещины. Треск с каждым днём становился слышней, и самое скверное, клял себя Савельев, что он тоже оказался причастен к надлому.

В очередной раз Виктор почувствовал свою вину, когда услышал на “Съезде разрушителей” — так для себя журналист определил последний сбор союзных депутатов — выступление Старовойтовой. Отметившись по поводу “политических авантюристов”, которые “подписали смертный приговор последней в мире империи”, она объявила:

— Межрегиональная депутатская группа поддерживает идеи заявления, предложенного главами республик и президентом СССР.

И тем же непрекрасимым тоном продолжила:

— Будем реалистами — прежнего Советского Союза больше не существует. Вскоре это найдёт отражение и в международных правовых документах. Сегодня на Съезде мы имеем возможность использовать исторический шанс: цивилизованно и мирно начать строительство нового содружества наций. Мы предлагаем достойно уйти с нашей исторической сцены.

“Как же я не разглядел в тех выдержанных, вменяемых людях будущих экстремистов? — мучительно недоумевал Савельев. — Как не увидел в их пластилиновой мягкости завтрашнего топора?”

Но ведь он прекрасно помнил каждого из первых шестерых депутатов, которых собрал в редакции. Потом к ним добавились ещё семеро — и следующую встречу они провели в знаменитом медицинском Центре профессора-офтальмолога Святослава Фёдорова. Ни один из них не был не только антисоветчиком, но даже безоглядным критиком политической системы в целом. Ставшие депутатами через борьбу, они хотели обновления ветшающей системы, её большей энергичности. Однако абсолютно неопытные в парламентской работе люди боялись оказаться марионетками в руках матёрых аппаратчиков, и Виктор понимал их настороженность. Он и собрал тех первых, шестерых, а потом и следующих как раз для того, чтобы они услышали соображения друг друга о будущей своей деятельности, пригляделись друг к другу и потом выбирали в комитеты и комиссии не только предложенных аппаратчиками депутатов, но и тех, кого предварительно узнали сами.

Они хотели, как и сам Виктор, той реальной демократии, когда ты говоришь, и тебя слышат, но при этом и ты слышишь, когда говорят тебе. Как получилось, что нормальные люди стали шаг за шагом сдвигаться в сторону полного отрицания окружающего их мира, потери слуха и политического экстремизма? Стали понимать демократию, как непременно разрушение любых сдерживающих ограждений. Но разве допустима безоглядная ломка того, что предохраняет разумного человека от беды? Это всё равно, что на бобслейных виражах сломать перед несущимися санями ограждающие стенки ледяного желоба. Как правила спорта регулируют безопасность соревнующихся, так и демократия, в целях безопасности народов, должна быть регулируемой.

А главный регулятор, по твёрдому убеждению Савельева — это закон. Не случайно он и статью свою об армяно-азербайджанском конфликте назвал когда-то “К Диктатуре закона!” Превращение разумных людей в безумных громил — это результат беззакония. Но важно не только закон принять. Гораздо важнее добиться его исполнения. Что толку в принятом законе о порядке выхода республик из Союза? Два референдума... Годы развода... Защищённые силой права национальных меньшинств... В Прибалтике против нацистов выступало столько же сторонников Союза, но Горбачёв не исполнил закон. Ядро межрегиональной депутатской группы стало орудием развала прежде всего потому, что, поощряемое, в том числе из-за рубежа, оно каждым своим шагом в эту сторону отталкивало ограждение существующих законов. Безнаказанно. Без жёсткого одёргивания властью. То есть Горбачёвым.

И снова Савельев выходил на главного виновника крушения страны.

После речи Виталия Соловьёва, закончившейся одновременно под аплодисменты и крики: “Позор!”, выступили ещё несколько человек. Но времени на обсуждение проекта закона, быстро подготовленного на основе заявления, уже не было. Подходила пора документ принимать или отвергать. “Примут, — сказал Соловьёв, когда журналист дождался его у выхода из

Дворца и спросил о возможных вариантах. — Сейчас снова начнут работать с депутатами от республик. С нашими тоже... А главное, увидишь, как будет завтра юлить Нобелевский лауреат”.

Соловьёв оказался опять прав. На следующий день Горбачёв гнал Съезд к завершению, не давая депутатам ещё и ещё раз сосредоточиться на документе. Впрочем, многим это было и не нужно. Когда одни протестовали против навязываемых темпов, большинство других кричали: “Хватит!”.

Сначала Горбачёв предложил начать голосование вообще без всяких обсуждений. Рёв зала заставил его отступить.

— Если вы будете так себя вести, это не облегчит нам работу.

Лавируя, ему пришлось согласиться на выступления до двух минут.

— Сколько времени на это выделим? — кричал в микрофон красный Горбачёв. — Десять минут хватит?

Зал снова взревел.

— Так что же, тогда будем обсуждать неограниченно? Или выделим 30 минут?

В зале зашумели, но кто-то из рядом сидящих крикнул: “Да!” Горбачёв ухватился за эту подсказку. Похоже, и депутаты согласились получить хоть шерсти клоч. Проголосовали за полчаса двухминутных выступлений. И то лишь по процедурным вопросам. Текста предлагаемого документа, нарушающего Конституцию и ликвидирующего высшие органы власти СССР, трогать не допускалось.

Разумеется, волнующиеся люди не укладывались в отведённые две минуты. Тем более, что говорили совсем не о процедуре. Торопясь, ругали Горбачёва, проект закона, сам Съезд, который “поставили на колени”. Но это только усиливало состояние растерянности и неопределённости. Одни ещё верили президенту СССР — не может же он, думали, вести страну к расколу! Другие надеялись, что всё как-нибудь образуется: столетиями жили вместе, сотни тысяч смешанных семей, дети не поймёшь какой национальности — советские да и всё! Третьи понимали, что процесс не остановить, поэтому надо хоть что-то слепить на переходный период.

Под выкрики несогласных и аплодисменты довольных шло голосование по статьям. Гвалт сопровождал каждое включение светового табло. Наконец, стали голосовать за принятие закона в целом. Закона, который, по сути, убирал органы верховной власти союзного государства и давал возможность лицам, оказавшимся по воле случая во главе республик, использовать эту власть в своих интересах.

Когда зажглось табло в последний раз, Савельев понял: дорога к узаконенному сепаратизму и развалу единой страны открыта. “За” проголосовало 1682 депутата. И только 43 человека нажали кнопку “против”.

## Глава восьмая

Он вышел из Кремля через Спасские ворота. Справа, на Васильевском спуске, почти от Кремлёвской стены и до огромной гостиницы “Россия”, как острова архипелага, стояли большие группы людей с транспарантами. На Красной площади демократические власти Москвы митинговать запретили. Поскольку депутаты жили в “России” и после заседания должны возвращаться в гостиницу, митингующие транспарантами высказывали им свои требования. Над одними группами поднимались надписи, в разных вариациях выражающие лозунг: “Сохраним СССР — родной дом братских народов”. Над другими качались плакаты: “Свободу — республикам!”, “Долой империю СССР”. Пока шёл Съезд, противники воздействовали друг на друга криками и текстами транспарантов. Теперь, когда депутаты приняли решение, Виктор не был уверен в мирном исходе противостояния. Он и сам сейчас, взвинченный, нервный, готов был полезть в любую драку, если бы это могло сохранить страну.

В шуме выкриков Савельев не сразу понял, что его кто-то зовёт. Повернулся на голос.

— Виктор Сергеич! Виктор Сергеич! Вы оттуда?

Молодой мужчина, лет тридцати пяти, с зализинами и редкой бородкой, показал на Кремль.

— Да.

— Как там?

— На мой взгляд, хреново, Гриша. Приняли закон, который может ликвидировать Советский Союз.

— Да ладно вам переживать! — весело воскликнул мужчина. — Россия-то останется! На нас хватит.

— Ты инвалидов видел, Чухновский? Без руки... Без ног... Человек, конечно... Только как ему такому живётся? Он пока приспособится — нагло тает слёз. Ты, кажется, инженер? Значит, должен понять, што такое разорвать хозяйственные связи. Европа объединяется, а нас рвут.

— Вы меня принять можете? Я вам как раз хотел звонить. У нас готовится интересная программа.

— Звони завтра. Сегодня не до неё.

Григорий Чухновский был из тех, кому Савельев помог стать депутатом. Он, конечно, не преувеличивал своих заслуг в столь многоходовом деле, но и значения журналистской поддержки не преуменьшал. Это на дальнейших выборах начали работать огромные деньги, “грязные технологии”, бандитские пули. А на первых, похожих на подлинно демократические, выборах, когда к народу стали обращаться тысячи никому до того неизвестных людей, во многих случаях решающим фактором оказывалось появление человека на газетно-журнальной странице и уж тем более — на телевизионном экране. Порой достаточно было успеть сказать несколько фраз в камеру, чтобы на кандидата обратили внимание. Виктор даже не всех знал, чьим “крёстным отцом” оказался, ибо в каждой предвыборной телепередаче старался показать как можно больше “свежих” людей из областей и республик. Некоторые потом, став депутатами, заявлялись к нему с благодарностями в редакцию или подходили между заседаниями Съезда и Верховного Совета.

Однако про Чухновского Виктор точно знал: ему он помог. В самый ответственный момент избирательной кампании в Моссовет Бандарух привёл к нему в кабинет (чего раньше никогда не бывало) молодого человека с портфелем-“дипломатом”. Пришедший был худоват, немного сутул, с продолговатым лицом, которое охватывали бакенбарды, переходящие в небольшую бородку с усами. Удлиненность лицу добавляла идущая ото лба зализина.

Заместитель главного редактора представил гостя: Григорий Чухновский. Попросил сделать с ним интервью.

— И посочней, Виктор Сергеич. Как вы умеете. Поставим сразу. У Гриши есть што рассказать.

Савельев просидел с Чухновским часа два. Что-то записывал в блокнот, больше — на диктофон. Григорий после института работал начальником лаборатории в одном из химических НИИ. Поэтому заранее предупредил: “О промышленности... ну, там про всякую экономику не спрашивайте. Я больше люблю говорить о политике”.

В те февральские дни 1990 года Россия клокотала от края до края. На 4 марта были назначены выборы не только народных депутатов РСФСР, но и депутатов всех существующих Советов — от сельских до Верховных в российских республиках. Жизнь на глазах становилась хуже. Как поток грязной воды, разорвавшей плотину, по городам разливалась преступность. Магазины пустели день ото дня. Самые необходимые продукты можно было купить, лишь отстояв в многочасовых очередях с нередкими скандалами в них. Дефицитом стали элементарные промтовары. Люди справедливо обвиняли в этом власть и требовали перемен.

Надеждой показались предстоящие выборы. Массы решили: если во власть придут настоящие борцы за народное счастье, жизнь через два-три месяца будет совсем другой. Тем более, что их в этом уверяли бесчисленные последователи Сусанина, каждый из которых предлагал свой выход из дебрей кризиса. Бороться за 800 тысяч мест в различных Советах стали несколько миллионов кандидатов в благодетели.

Наибольшее напряжение возникло в Москве. Здесь схватка разворачивалась как за общероссийский парламент, так и за городской. Под лозунгом “Вся власть — Моссовету” наскоро объединялись партии, блоки, ассоциации. Порой не хватало времени даже на проведение собраний и конференций. Сознавшись по телефону, люди выясняли позиции друг друга, договаривались о совместных действиях, о поддержке той или иной политической силы.

Впрочем, силы эти, в основном, оттягивались к двум полюсам. В январе 90-го года из десятка разномастных организаций демократической, по словам их лидеров, направленности был образован блок “Демократическая Россия”. На другой стороне выстраивался блок коммунистов. Тоже неоднородный, с разными прожилками — от демократических до ортодоксальных. К нему был идейно близок Патриотический блок, состоящий из писателей и деятелей культуры русской ориентации.

А между двумя полюсами, как металлические опилки между магнитами, двигались то в одну, то в другую сторону не меньше двух десятков партий самых различных устремлений. Монархисты и анархисты, защитники природы и борцы за индустриальный прогресс, чей главный лозунг “Природа — не храм, а мастерская” напрочь исключал сотрудничество с любителями вязнуть в бездорожье ради сохранения пары берёз. Одни выступали за неограниченную свободу женщин, другие — за регулирование этой свободы. Кому-то нравилась шведская модель социализма, а кто-то на дух не переносил само слово “социализм”. Появился даже блок “Честные кандидаты”, одно имя которого намекало на нечестность остальных.

При этом значительная часть партий, учитывая приманку времени, в свои названия обязательно вставляла определение “демократическая”. В выборах депутатов Моссовета, кроме всех остальных, участвовали Буржуазно-демократическая партия, Социал-демократическая, просто Демократическая и несколько христианско-демократических партий.

Кандидатов было много — в среднем по 14 человек на каждое из пяти-сот мест в Моссовете. Встречи с избирателями что-то давали, но лучше всего помогала выделиться среди остальных заметка в газете. В любой, даже самой маленькой. Не говоря о такой солидной, где оказался Чухновский. Поэтому он старался расположить Савельева, чьи публикации читал в газете и кого не раз видел по телевидению. А тот задавал вопросы, пробуя понять, что за человек перед ним.

— Какая жизнь в стране, мы все знаем. Не кажется ли вам...

— Можете на “ты”, Виктор Сергееч. Мы, демократы, не любим чванства.

— Хорошо. Не думаешь ли ты, што некоторые реформы осуществляются слишком поспешно? Ломаем, не обдумав как следует последствия.

— Истоки кризиса не в том, што быстро разрушаются старые порядки, — уверенно заявил Чухновский, — а в том, што ликвидируются они как раз медленно и с оглядкой, в том, што они своевременно не замещаются новой властью, новой экономикой, новыми ценностями. Когда мы придём во власть, процессы пойдут быстрее.

Это был один из тезисов избирательной декларации “Демократической России”, которая заявила о его поддержке, и Чухновский был доволен, что ему удалось сказать о позиции демократов.

— А какие у вас, я имею в виду тебя и твоих единомышленников, будут первые действия во власти?

— Главное — рынок и приватизация. Всё должно покупаться и продаваться... Посмотрите, как живёт Запад. Вы были за границей?

— Был. Не раз. А ты?

— Не был. Но это не имеет значения. Рассказывали, кто был. Там все равны, и держится это равенство на двух “китах”: рынок и демократия. Советскому человеку надо отдать всё, што сегодня захватило государство. Номенклатура схватила! Партократия! Мы отнимем у них, — стал переходить на крик Чухновский, — все незаслуженные блага и передадим народу. Вы посмотрите на их жильё!

Савельев пожал плечами — он бывал дома у многих партийных функционеров. Может, конечно, не самого высокого ранга, хотя и у секретаря

рей обкомов бывал. У кого лучше, у кого хуже, но у многих — ничего особенного.

— Отнимете — и заберёте себе?

— Ни за што! Как вы о нас думаете! Всё отдадим народу. Спецполиклиники — ветеранам. Номенклатурные дачи...

Чухновский зажмурился, улыбнулся:

— Прекрасные дачи — детям.

Савельев расспрашивал кандидата в народные заступники и помечал, что надо оставить, чтобы избиратели задумались над идеями возможного депутата. “Права советского человека — под защиту ООН”. “Приоритет интересов личности перед интересами государства”. “Безработица — лучший инструмент для эффективной работы остальных занятых”. “Село — “чёрная дыра” экономики и её надо ликвидировать”.

— Ликвидировать само сельское хозяйство?

— “Чёрную дыру”.

— А как?

— Мы пока не решили, подумаем.

Примерно такими же были и другие рассуждения Чухновского. Но оказалось, они нашли отклик в умах. Химика-лаборанта избрали.

Это Савельев понял, когда встретил Григория на первой встрече депутатов Моссовета. В Мраморном зале красивого дворца власти за два века его существования перебивал разный народ. Последние десятилетия — в основном, степенный. А тут появились иные люди. Выборы, как шторм на мелководье, снова взбаламутили не успевшую отстояться после всесоюзных избирательных баталий политическую воду. Со дна поднялись не только похожие на драгоценности камни, но и нездоровые ракушки, дурно пахнущие водоросли. По залу проносились бородатые, расхристанные мужчины из тех, кто презирает любое ограничение свободы, будь то галстук, носовой платок или чужое мнение. Они были сердиты, решительны и видели свою роль в том, чтобы через день снимать главного милиционера города, главного прокурора, главного архитектора и любого другого “главного”. Знакомый Савельеву видный демократ, который, будучи народным депутатом СССР, избрался, к тому же, и в Моссовет, оторопело наблюдал за этой пульсацией активности. “Трудно будет с ними работать, — сообщил он Виктору. — Процентом десять с нестабильной психикой”.

После той встречи Савельев видел Чухновского нечасто. Знал, что когда создали мэрию, Григорий встроился в исполнительную власть, оставаясь одновременно и депутатом Моссовета. Теперь, похоже, снова зачем-то хотел использовать газету.

На этот раз Чухновский пришёл один, без сопровождения Бандаруха. Открыл “дипломат”, вынул бутылку коньяка, полпалки копчёной колбасы, коробку конфет.

— Как понимать данный натюрморт? — спросил Савельев.

— Это вам.

— Не беру, Гриша. Знаешь, сторожевых собак приучают не брать самую вкусную еду из чужих рук. Я, наверно, из сторожевых.

Чухновский слегка нахмурился.

— Какие мы с вами чужие? Вы, можно сказать, мой политический Пигмалион\*. С помощью вашей руки у меня всё получилось. Да и мелочи это, — показал он на дар.

— Ничего себе — мелочи! Французский “Наполеон”... Колбаса... Наверно, финская “салями”? Единственное, што можем сделать — выпить вдвоём.

У Савельева в шкафу были рюмки — два стеклянных “сапожка”. Вместо хлеба достал печенье.

---

\* Пигмалион — в греческой мифологии царь Кипра, который сделал из слоновой кости (другой вариант — из мрамора) статую красивой женщины и влюбился в неё. По его просьбе богиня Афродита оживила статую, и Пигмалион женился на ней. Эта легенда, в переносном смысле, стала сюжетом одноимённого пьесы Бернарда Шоу.

Чухновский говорил без умолку, как будто торопился куда-то. Язвил про некоторых депутатов, вскользь замечая: этот от коммунистов, тот — независимый, полтора года никак не определится. Рассказывал и про демократов — среди этой разношёрстной публики тоже хватало, по словам савельевского гостя, “чудаков на букву “м””.

— Романтики, — переминал он блестящие от колбасы губы. — Начитались книжек, какая должна быть демократия. Сам не гам и другим не дам. У нашей демократии особый путь. Нельзя сделать добро для всех. Это только Христос накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Мы должны сначала обеспечить тех, кто ведёт... Голодная элита, Виктор Сергеич, злая элита. Для этого нам — демократам — надо доломать кристаллическую решётку всей политической системы. Спасибо ГКЧП. Он сильно помог. Теперь у нас развязаны руки. Вы ведь согласны?

— Смотря с чем. Руки вам развязали — это да. Только к добру ли — другой вопрос.

Савельев не случайно сказал о еде из чужих рук. Прошедшие полтора года болезненно сорвали большинство иллюзий со слова “демократ”. В российском варианте оно нередко стало восприниматься, как, плохо прикрывающий непристойность, банный листок. В Москве и Ленинграде, где демократы взяли власть, стало не лучше, а хуже. Впрочем, и там, где они власти не получили, тоже всё летело в тартарары. Торговые залы магазинов походили на аквариумы, из которых вылили воду. Крики о том, что партократы (или, наоборот, демократы — в зависимости от политических пристрастий кричащего) сознательно мучают народ жутким дефицитом, находили горячий отклик.

В Москве запас основных продуктов опускался до суточного уровня. Очереди порой растягивались на два квартала. Моссовет ввёл торговлю по карточкам и паспортам. Нет прописки — езжай на рынок. А там еду можно было купить по принципу “кошелёк денег за сумку продуктов”. В ответ обиженные власти соседних областей, чьи жители поездами ехали в столицу за продуктами, ввели запрет на поставки в Москву.

На демократов, там, где они ещё не взяли власть, люди надеялись. Помогала этому ожесточённая порка кнутами СМИ противников демократических преобразований, которые вроде бы не дают народным заступникам реализовать свои замыслы. Однако демократический Моссовет и подвластная ему мэрия управляли огромным городом уже больше года, и никаких перемен к лучшему не наблюдалось. Руководители только говорили о больших планах и жаловались на связанные руки. “Теперь руки свободны, — мысленно усмехнулся Савельев. — Что они придумали ещё?”

— Ты про какую программу говорил? — спросил он Чухновского, возвращая того к цели прихода.

— А-а, да, да... Вы знаете, конечно... кому, как не вам, знать... Ельцин неделю назад подписал Указ о значительном расширении полномочий московской мэрии...

— Не слышал. Про другие ваши дела мне известно, а про это — не знаю.

— Да ну?! Хотя разве за всем уследишь с вашей работой, — подольстился Чухновский. — Указ, Виктор Сергеич, это — настоящая революция. Наши возможности теперь просто безграничны.

— В чём же? — с иронией спросил Савельев.

— В приватизации московской собственности. Мы ведь готовились к этому заранее. Насколько успели... времени очень мало оказалось... сделали учёт того, што находится в городе. Посчитали не всё — работы много. Сейчас контролируем примерно 40 тысяч зданий — это чем можем распоряжаться... В нашей власти больше 10 тысяч предприятий торговли, транспорта, нефтепереработки, пищевой промышленности... Здания школ, больниц, детских садов.

Некоторые понимают разгосударствление, как раздачу общей собственности трудовым коллективам. Завод — его работягам, заправки — “королевкам” этих бензоколонок, пекарню — пекарям. Но я думаю... мы так считаем: собственность нужно продавать. Школу продать трудно, а вот детский



сад — вполне. Землю можно продавать — она в Москве дорогая, а будет ещё дороже.

— И потому вы отдаёте её даром?

— Кто это вам сказал?

— Народ и юристы. Вы для чего взяли власть? Распродавать, што успели захватить?

— Но, Виктор Сергееч...

— Не перебивай! Я тебя слушал. Как у вас рука поднялась заповедную часть Москвы — 60 гектаров столичной территории вблизи центра — отдать на 99 лет какому-то совместному предприятию с арендной платой по 10 долларов в год? Ты хоть соображаешь, Чухновский, чего вы натворили? Десять долларов в год! — вскричал Савельев. — За шестьдесят гектаров! Да твоя бутылка коньяка дороже стоит! Там площадь Гагарина! Академия наук! Там Нескучный сад! Самый старый парк Москвы! При Елизавете Петровне основан Демидовым. А вы и его... За такое где-нибудь в Париже оторвали бы голову.

Виктор оттолкнул кресло на колёсиках, закурил, нервно подошёл к окну и открыл форточку. Месяца четыре назад к нему пришли два депутата Моссовета. Одного Савельев знал — тот называл себя христианским демократом. Знакомец представил второго. Оказался тоже из какой-то демократической партии. Показали документы, стали комментировать их. В декабре 1990 года недавно избранный председатель Моссовета Попов, новый глава Мосгорисполкома Лужков и один из активистов “Демроссии”, председатель Октябрьского райсовета Заславский подписали договор о создании советско-французского совместного предприятия под названием “Центр КНИТ — Калужская застава”. В качестве взноса советской стороны этому СП передавалась в аренду 60-гектарная территория в Октябрьском районе Москвы.

По мнению депутатов, всё в договоре просто вопило о фантастической коррупции. Земля отдавалась почти на столетие. За этот огромный срок, сравнимый с договорённостями колониальной эпохи, Москва могла получить меньше тысячи долларов. И никто не имел права что-либо изменить в договоре. “Арендодатель, — читал тогда Савельев, — обязуется не отбирать, не изымать и не конфисковывать земельный участок полностью или частично, и не вмешиваться любым иным способом в использование участка и проводимые на нём работы”. “Прямо как с индейцами”, — изумился журналист. “Если же какой-нибудь государственный орган попытается расторгнуть договор аренды, — говорилось в документе, — то заплатит штраф. От 4 миллионов долларов (в случае расторжения в течение первых шести месяцев) до 100 миллионов на третий год действия договора”.

Это была настоящая кабала, в которой явно различалась физиономия корысти. Виктор вспомнил свою тогдашнюю злость. Демократы обещали избирателям защищать их интересы, действовать, как они говорили, в отличие от партократов, строго по законам, но едва получили власть, как тут же эти законы нарушили. Договор подписали тайком от своих Советов, выступив, по сути дела, частными лицами. Утвердили совместному предприятию виды работ, законом не разрешённые.

Сделав копии принесённых документов, Савельев пошёл к главному редактору. Тот вызвал Бандаруха. Виктор снова пересказал суть обращения депутатов. “Я бы не советовал вмешиваться, — осторожно проговорил заместитель главного. — У нас много других тем”.

Савельев позвонил христианскому демократу. Стыдясь собственного бессилия, передал мнение начальников. А для себя решил: напишет в какую-нибудь другую газету.

Однако, пока собирался, история со “сделкой века” получила огласку. Взбодуражились жители района, которые узнали, что их дома собираются сносить, а вместо них строить офисные здания, гостиницы, торговые центры. На очередной сессии Моссовета депутаты признали регистрацию СП недействительной. Появились разоблачительные материалы в советских и зарубежных изданиях. Потом позвонил тот самый христианский демократ и сказал, что в Мраморном зале Моссовета перед депутатами с лекцией выступил

известный британский парламентарий, лейборист Кен Ливингстон\*. Когда ему сообщили о скандальном документе и спросили его мнение, он без всякой дипломатии заявил, что в любой другой стране люди, подписавшие такой договор, обязательно сидели бы уже в тюрьме.

На прощание депутат сказал Виктору, что несколько его коллег обратились к прокурору Москвы. Как будут развиваться события, он сообщит.

Теперь, после провала ГКЧП, рассчитывать, что кто-то начнёт следствие против победителей, было наивно. Тем не менее, Савельев спросил:

— Прокуратура ещё не отменила вашу авантюру?

— Да ладно вам, Виктор Сергеич! — с примирительной улыбкой откликнулся Чухновский. — У неё сейчас дела поважней.

Григорию не хотелось портить отношения с журналистом, оказавшим ему серьёзную поддержку в нужный момент. Ещё больше надеялся он получить от Савельева в будущем. Поэтому, всё так же располагаясь улыбаясь, Чухновский продолжал:

— Зря вы драматизируете ситуацию. Переход к рынку — это как переход Суворова через Альпы. Кто-то свалится в пропасть. Кто-то замёрзнет. Но кто осилит перевал, тот будет в порядке. Всё можно купить, всё продать... Рубль станет символом человеческого достоинства... власти человеческой, таланта. Даже духовное богатство люди начнут измерять рублём.

— И што хорошего из этого получится? Где бог — рубль, там всё остальное от дьявола. Вот увидишь, как обесценятся ценности.

— А некоторые давно бы надо выкинуть. Што за ценность в заповеди: не желай ничего чужого? Вы поглядите по сторонам — всё принадлежит кому-то. Значит, чужое. Не моё. Следуя этой заповеди, никто никогда не стал бы богатым. Но люди отбросили эту чушь, и правильно сделали. Каждый нормальный человек плывёт по жизни двумя стилями: выгоду — к себе, под себя, а всё остальное — от себя. Сейчас в нашем распоряжении — все загородные дачи бывшей номенклатуры. Я проехал по ним... мне поручили — я ведь теперь в двух креслах: в Моссовете и в мэрии. В Серебряном Бору... очень хорошее место. Эти заберём себе. Наш председатель взял брежневскую госдачу в другом месте — на Сколковском шоссе. Со временем её приватизирует и продаст. Земля там, Виктор Сергеич, цены не имеет! Дача — так себе. В Серебряном Бору тоже не очень... Вы были там?

— Приходилось.

— Я раньше не бывал. Думал: настоящие дворцы. Номенклатура могла бы и лучше себе построить.

Савельев рассеянно покивал. Он несколько раз ездил в Серебряный Бор к приятелю, отец которого работал в ЦК партии. Казённая дача считалась одной из престижных. По легендам, кто-то из ленинских сподвижников отдыхал здесь летом — зимой дача не отапливалась. В двухэтажном доме жили не то пять, не то шесть семей. Телефон — в холле первого этажа — один на всех. На каждом этаже общая кухня. Правда, участок был большой — кажется, с полгектара. Но на участке стояла ещё одна дача — типичная для этого посёлка. Одноэтажный деревянный домик семьи на две, выкрашенный зелёной краской.

— Ты забыл свои слова, когда я лепил из тебя мыслителя? Дачи номенклатуры вы отдадите детям.

Чухновский отпал к спинке кресла, сцепил руки за головой.

— Дети... Как у нас недавно говорили: “Дети — наше будущее”? Но нам-то тоже надо подумать о своём будущем! Мы пришли надолго. По моим размышлениям — навсегда. Дачи в Серебряном Бору — мелочь по сравнению с землёй, на которой они стоят. Вскоре мы их приватизируем... А потом — продадим. У нас разработана программа приватизации... Городская... О ней я хотел поговорить с вами. Нужна будет поддержка газеты. А мы в долгу не останемся.

---

\* Кен Ливингстон — в 1991 году член палаты Общин парламента Великобритании от Лейбористской партии. В 2000-м стал первым мэром Лондона. Занимал этот пост два срока подряд. Провёл ряд удачных преобразований. При нём Лондон избавился от автомобильных пробок. (*Прим. авт.*).

Григорий налил коньяк в свою рюмку-“сапожок”, потянулся к савельевской. Но тот накрыл её ладонью.

— Не нравится коньяк?

— Ты не нравишься. И откуда вы все взялись? Командиры пробирок... Начальники кульманов... Страну удержать не способны, а растащить её добро... чужое добро — сразу научились.

Виктор замолчал. Сумрачно уставился на растерянно поглаживающего бородку Чухновского. Почему-то вспомнился “нечернозёмный Наполеон” Катрин, крики союзных депутатов: “Хватит!”, цифры на электронном табло во Дворце съездов. С огорчением проговорил, больше для себя:

— Да-а... Нет сынов Отечества... Остались одни дети лейтенанта Шмидта\*.

Под удивлённым взглядом Григория закрыл бутылку, завернул в бумагу остатки колбасы и всё это, вместе с конфетами, положил в “дипломат” гостя.

— Забери. Может, где-то пригодится. А мой телефон забудь.

## Глава девятая

Янкин надавил клавишу селекторного аппарата.

— Слушаю, Грегор Викторович, — ответила секретарь.

— Пригласите ко мне Волкову из редакции информации.

— Хорошо. Больше никого?

— Если понадобится, я вам скажу, — с лёгким неудовлетворением произнёс Янкин. Секретарша работала недавно. После назначения руководителем телевидения Грегор Викторович сразу сделал чистку в ближнем окружении. Это вызвало осторожное недовольство. Самолюбивый Янкин стал прочесывать кадровую взъерошенность более частым гребнем. Взамен вычищаемых, его помощники приводили новых людей, большинство которых он не знал. Увидев на первом собрании Наталью, взволновался. Он даже хотел было поставить её во главе какой-нибудь редакции, но, вспомнив газету, решил повременить.

Вошла Наталья. Янкин невольно привстал. Попадавшая в полосу света от верхнего плафона женщина показала ему особенно красивой.

— Заходи, заходи. Кофе хочешь?

— Нет, — настороженно отказалась Волкова. Она догадывалась, зачем её вызвал Янкин. Недавно заменившая “комиссара” новая начальница Наталья Полина Парамонова вчера вечером при просмотре отснятого материала сорвалась на визг. Перегнулась в кресле, в сторону сидящего через два места оператора. Крикнула, словно тот был где-то вдалеке:

— Это как понимать? Ты слепой? Или, может, ты враг? Я же приказывала не снимать молодых!

Растерянный мужчина не успел ничего сказать — к руководительнице подошла Волкова.

— Зачем же вы так? Это я велела Валерию Сергеичу снять молодёжь.

— Вы?!

Парамонова в первых разговорах с Волковой попыталась Наталью, как и всех остальных, независимо от возраста, называть на “ты”. Но увидев сначала сдержанно ледяную реакцию, а потом — явное нежелание Волковой откликаться на “ты”, стала вежливей.

— А вы почему нарушили мой приказ?

— Иначе сорвали бы съёмку. Там была почти одна молодёжь.

— Мне придётся доложить руководству о нарушении дисциплины.

Видимо, Парамонова выполнила обещание.

— Ну, если не хочешь кофе, я, с твоего позволения, причащусь коньячком.

Янкин пошёл к сейфу.

---

\* Дети лейтенанта Шмидта — (нарицательное) аферисты из романа Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев”.

— Может, ты тоже?

Увидев отрицательный взмах руки, налил из пузатой импортной бутылки в небольшую рюмку. Выпил, закрыл сейф. “Это что-то новое”, — подумала Наталья.

— Как тебе Парамонова?

Волкова пожала плечами. Она решила подождать: пусть скажет о претензиях начальницы Янкин.

— Попросили взять, — вздохнул Грегор Викторович, пристально разглядывая стоящую перед его столом женщину. Прошло время, а Наталья стала только притягательнее. После увольнения из редакции думал: всё забудется. Но, увидев однажды Наталью по телевизору, стал с нетерпением ждать следующих передач, которые она вела.

Здесь Янкин встречал её редко — телевидение это не маленький коллектив газеты. Вызывать к себе — нужен серьёзный повод. Просто так не пригласишь — не того уровня редактор Волкова. Таких у него десятки. О существовании некоторых он даже не подозревал. Один на один были всего три раза — Янкин хорошо помнил каждый из них. Первый раз — после собрания. Демонстративно взял под руку, при всех сказал: “Зайдите, Наталья Дмитриевна”. Увидел удивлённые взгляды окружающих, дружелюбно (тогда ещё не проявилась оппозиция) бросил: “Способные кадры вам отдали”. В кабинете попытался вроде как по-товарищески обнять, но женщина мягко выскользнула.

Второй раз — когда получил докладную записку о пропаже отснятого материала про самоубийц. Волкова бесстрастно, механически повторяла предложенную шофёром версию. Проницательный Янкин чувствовал: здесь что-то не то. “Ты как Никулин в “Бриллиантовой руке””: “Поскользнулся, упал, очнулся — гипс”. Но сделал вид, что поверил.

Последний раз вот так же вдвоём они были месяц назад. Тогда он вызвал Наталью через “комиссара”, предшественника Парамоновой, и поручил сделать передачу с участием “архитектора перестройки” Яковлева. Тот сам позвонил, просил об этом. Янкин не стал отказывать — они были из одной когорты. Передача получилась какая-то странная. Грегор Викторович был не просто хорошо знаком с “серым кардиналом”. Он много знал о нём от разных людей, слушал его в различные периоды, знал манеру речи Яковлева. Особенно наступательную и погромную после провала ГКЧП. А тут на жёсткие, слегка прикрываемые вежливостью, язвительные вопросы Волковой отвечал какой-то тусклый старик с лицом обрюзгшего бульдога. Янкин заподозрил, что такое превращение создано искусственно, и намекнул об этом Наталье. Она обезоруживающе улыбнулась и ничего не ответила.

Пришлось материал дополнять старыми съёмками, делать передачу короче. Теперь Парамонова обвиняла Волкову в срыве задания.

— Садись. Почему ты проигнорировала приказ?

— А вы знаете, о чём приказ? Полина Аркадьевна, когда какая-нибудь группа едет на съёмки, запрещает снимать молодые лица.

— Как это? — поднял брови Янкин.

— Если мы едем на митинг сторонников Союза или на собрание, где люди требуют сохранить СССР, она приказывает: в кадре должны быть только старики...

— Ах, вон в чём дело!

— Если митинг, то — старые лица... Искажённые... Беззубые... Если собрание, то выбирать надо дремлющих... безразличных... опять же только стариков. Вот, мол, кто боится распада Советского Союза. Но ведь это не репортаж в газету, Грегор Викторович! Я помню вашу критику по поводу референдума. Там ещё можно было описать каких угодно. А тут же — камера! Мы приехали на завод... В цехе — митинг. Я сама ходила рядом с оператором. Какие там спящие! Молодёжь! Выступают зло. Прямо, как на войну собирались. Мы могли бы уехать, ну, нет там спящих и беззубых!

Наталья сделала наивное лицо, по-детски, беззащитно улыбнулась.

— Но разве бы вы одобрили впустую затраченное время?.. Машину гоняли... бензин... камера без результата...

Янкин понял её не очень умелую игру, и от этого Наталья показалась ему ещё милей. “Что ж это со мной происходит?” — подумал он, чувствуя, как лицу его становится жарко. Словно к огню наклонил лицо. “Мне бы надо сейчас отругать её, пригрозить увольнением — Парамонова хоть дура с этим своим приказом, но по сторонникам Союза надо бить... Можно, конечно, аккуратней... Показать объективность... Тогда будут больше верить... Хотя о чём я думаю? Плевать мне на сторонников и противников. Увольнять? Нет, больше он такой глупости не сделает. Кульбицкого выгнал — не простил ему. Из-за него, провокатора, потерял возможность хотя бы видеть её. Чувствовать рядом. Пусть как сейчас... на расстоянии”.

Грегор Викторович встал из-за стола. Подошёл к сидящей Наталье. “А пахнет как! Что за духи у неё? Весна какая-то — в ноябре маем пахнет. Ландышем и сиренью... Надо узнать”. Мысленно усмехнулся: “Расклеиваешься, старичок. Готов что угодно сделать, только бы обладать этой женщиной. Обхватить руками. Прижать. Никуда не выпускать. Не валить вон на тот диван, а просто стоять, прижав к себе. Главное — никому не отдавать. Чтобы никто не прикасался. Муж — ладно. Он его не знал и не воспринимал, как мужчину. Живая вещь... Вроде ожившей ночной сорочки, которая охватывает груди... бёдра... живот. Можно ли ревновать к вещам? А другим — не прикасаться. Яковлеву понравилась. Хорошая была корреспондентка. Что он имел в виду?”

— Вчера звонил помощник Яковлева, — неожиданно для Волковой сказал Грегор Викторович. Наталья с удивлением воззрилась на шефа. С какой стати он вспомнил про этого злобного старикана? И какое это имеет отношение к докладной Парамоновой? Или Янкин хочет связать ту её передачу с последней съёмкой? Она тогда, конечно, постаралась отобрать самые отвращающие от Яковлева кадры. Насупленный взгляд из-под клочковато разросшихся, выступающих, словно рога, бровей. Когда старик наклонял лысую голову, Наталье казалось, будто он собирается кого-то боднуть. Крупным планом раздутое, нездоровое лицо. А главное — злость, перекашивающая время от времени весь облик этого человека. Жалко, многие кадры вырезали.

— Помощник сказал: ты Яковлеву понравилась. Он хочет дать большое интервью про то, как боролся с коммунистической системой. Показать в кабинете какие-то свои записки...

— Грегор Викторович, а нельзя ли кого-то другого? Вы меня извините... и можете опять уволить, но я не хочу слушать этого человека.

Янкина словно обдало приятным теплом. До учащения пульса зарадовало такое неприятие Яковлева. Лживый... Насквозь пропитан ложью, как рыхлый придорожный снег выплесками грязной воды из колеи. Боролся он с системой... Не боролся, а крепил её, железнил её, душил тех, кто начинал сомневаться в системе. Но как ей сказать об этом? А сказать надо. Чтобы укрепить её неприязнь...

— Я могу послать кого-нибудь другого. Парамонову могу отправить. Вот только хочет он видеть почему-то тебя. Знала бы ты, што за человек — этот Александр Николаевич Яковлев...

И сначала осторожно, потом всё отмашистей Грегор Викторович заговорил о своём недавнем кураторе, в которого внимательно вглядывался все последние годы, изучал его, копил факты и фактики, слушал его призывы и речи, и даже своим пронизательным умом не увидел, чтобы всё это время, если верить сегодняшним заявлениям Яковлева, тот боролся с коммунистическим режимом.

— Да у режима, Наташа, не было более верного слуги, пса более преданного, чем Александр Николаевич! Славил Хрущёва, требовал верить правильным действиям дорогого Никиты Сергеевича, а потом так же усердно готовил статьи о его сумасбродстве, экономических провалах. Ещё шёл пленум, на котором снимали Хрущёва, а он уже писал речь для нового вождя — Брежнева. Сам потом признавался: пришлось писать и прощальную статью о старом хозяине и заздравную — о новом. Нового он тоже полюбил... При Брежневе стал штатным сочинителем речей, статей и даже записок. Рос по партийной линии. А тогда умели разглядеть — свой или чужой. Значит,

был свой. Сгибался, где нужно. Где надо — молчал. Он ведь с детства боялся драк. Завидовал ребятам, кто мог постоять за себя кулаками. Его принципом была осторожность. Ленин, как ты знаешь, призывал учиться, учиться и ещё раз учиться, а этот внушал себе: осторожность, осторожность и ещё раз осторожность. В Академии общественных наук — попал туда при Хрущёве — всячески избегал политических дискуссий, наотрез отказывался выступать на партийных собраниях. А время было — ты его только по рассказам знаешь, мы-то в нём начинали зреть... время было разломное. Двадцатый съезд. Хрущёв развенчивает культ личности Сталина. Бурлит страна. Спорят все. Одни поддерживают. Другие — против. А этот молчит. Сопит себе в тряпочку. Теперь говорит: всегда ненавидел Сталина и Ленина. Ленин для него — “властолюбивый маньяк”, который возвёл террор в принцип и практику власти. Поэтому, дескать, подлежит вечному суду за преступления против человечности. Но ведь он узнал о жестокости Ленина раньше многих из нас! Мог читать закрытые для всех документы ещё в Академии — там есть спецхран. Однако молчал. Год за годом... Ни разу даже намёком не задел вождя. Наоборот. Всех призывал верить Ленину. До самого последнего времени в своих выступлениях цитировал Ленина. Ссылался на него... На Маркса... Энгельса... Я сам сидел на этих пресс-конференциях и совещаниях. Не помню ни одной его речи... обычно многословной, где бы он не упомянул Ильича. Когда же он боролся? Когда глядел на себя в зеркало? Один на один с собой? Штоб никто не увидел и не услышал? Владимир Солоухин узнал про зловещий большевизм позднее. В середине 70-х написал “Последнюю ступень”. Подлакировал, конечно, прежнюю Россию... ту, которая до революции... но, в отличие от нашего борца, ни разу больше не упомянул добрым словом эту публику. А этот — Ленин... социализм...

Янкин то отходил от Натальи и, возбуждённый, садился в своё кресло, то вставал, делал пару шагов к женщине, пытаясь понять, как она воспринимает его необычный монолог. Подойдя в очередной раз, чуть наклонился — так, чтобы снова уловить запах духов, и дрогнувшим голосом спросил: — Может тебе это неинтересно, моя девочка?

Увидел, как сдвинулись шелковистые брови Натальи, однако тут же лицо разгладилось, слегка зарозовело. Понял: женщина не обиделась. Похоже, ей даже понравилось обращение.

— Нет, нет! Очень полезно узнать, кто вёл нас. Меня тоже удивили его заявления. Вы, говорит, не представляете, какое ужасное государство создали. Как будто он тут ни при чём.

Наталья вскинула жёлто-карий взгляд на Янкина и мягко улыбнулась.

— Разве это честно, Грегор Викторович?

Янкин еле сдержал себя, чтобы не попытаться обнять Наталью. Выпрямился. Как обдурманенный, встряхнул головой. Он ей не противен. Уже нет того взгляда, которым она отбросила его тогда, в редакции. Значит, даёт надежду. Разница в возрасте? Да какая это разница? Ему шестьдесят один, ей тридцать четыре. Важно, чтобы не отвергала. Ей будет с ним интересно. Он сделает всё, чтобы было не скучно. Он знает намного больше её. Сейчас расскажет про того же Яковлева. Сдаст “архитектора” и не отпустит её на интервью.

Грегор Викторович подошёл к сейфу. Открыл его и снова налил рюмку коньяка. Выпив, чуть поморщился и заговорил.

— Те, кто не принимал систему... по-настоящему отрицал её... не под подушкой критиковал, как Александр Николаич — вот те заслуживают уважения. Сознательно шли на страдания. Ты не представляешь, как это оказаться отверженным. Даже временно... Меня два раза снимали с работы... всего-то делов — должности лишили! и то, как прокажённый. Вчера ещё звонили с утра до ночи... в прямом смысле до ночи... с постели поднимали... Друзья... Товарищи... Всем был нужен... Мы с тобой, Грегор, навсегда, чего бы ни случилось. А случилось — и телефон будто отрезали. Ни одного звонка. Ни слова единого!

— Как с работы увольняют, я представляю, — спокойно сказала Наталья.

— Извини, — споткнулся в монологе Янкин. Накрыл лежащую на сто-

ле руку женщины. Наталья некоторое время сидела недвижно. Потом аккуратно даже не убрала, а вроде как вывела тонкие свои пальчики из-под горячей ладони мужчины, словно жалея, что ей придется это делать.

— Теперь представь, што перенёс Сахаров, открыто выступивший с критикой системы. Академик. Создатель водородной бомбы. Трижды Герой Соцтруда. Лауреат Сталинской и Ленинской премий. Не говоря о других наградах и званиях. Всё это у него отбирают. А он не сдаётся, критикует режим. Живёт в ссылке почти семь лет. Объявляет голодовки. Телефона нет. Каждый шаг под контролем КГБ. Такой человек, даже если бы он был неправ, заслуживает уважения своей честностью. Также как другие, кто действительно боролся с властью.

Янкин помолчал, нахмурился.

— С властью, которую олицетворял Александр Николаевич. Не инструктор ЦК Яковлев, хотя и это была большая власть, а член Политбюро Яковлев. Второй человек в партии. Если не брать премьера, считай, второй в стране... Сейчас говорит, што часто лукавил... Лукавил, когда ссылался на Ленина... Когда хвалил социализм, называя его лучшим общественным строем на земле, тоже, говорит, лукавил. Но разве могли об этом догадываться люди, от которых он требовал нести такие оценки в народ?! Мне пришлось слушать его выступление перед выпускниками Института общественных наук при ЦК КПСС. Недавно было... Летом 89-го. Половина речи — восхваление социализма. Люди записывали его формулировки и думали, што социализм — это действительно, как чеканил Александр Николаич, общество подлинного народовластия, творчество масс, возвышение человека, свобода духовного творчества, гуманизм в новом, высшем проявлении. А он, оказывается, лукавил. Лгал, девочка моя! На самом деле считал социализм концлагерем, душиловкой всего живого, уничтожением будущего страны.

Но при этом не отказывался ни от каких привилегий небожителя системы. Стоял на трибуне Мавзолея, между прочим, ленинского, и с гордостью смотрел на свои портреты в праздничных колоннах. Самолюбия-то у него — дай Бог! Сам признавался. Пользовался благами, доступными немногим. Я как-то был в его загородной резиденции. В цокольном этаже бассейн, гимнастический зал. На первом — большая столовая, бар, кинозал. Вверху — спальные комнаты. Мне рассказывали про обслугу кандидата в члены Политбюро. Три повара. Три официантки. Горничная. Садовник. Группа охранников. Это — кандидат. У члена — таких людей, как ты понимаешь, больше.

Говоря всё это, Грегор Викторович, чем дальше, тем сильнее ожесточался. Его уже кипятила не только ревность за Наталью, но и личная обида. Он ведь тоже пересмотрел “своего Ленина”. Первые обрывочные разоблачения вождя попадались ещё до работы в пражском журнале. За границей материалов добавилось. Когда разум страны взорвала гласность, поток обличений пробился и в его газету. Но публикуя их, он каждый раз вспоминал, что в недавние, доперестрочные годы находил в ленинских работах и такие слова, с которыми был согласен, а потому, сочиняя тогда статьи, Янкин как бы отделял одного Ленина от другого. Ещё в те времена кто-то сказал ему, что Ленин — злой гений. Теперь он был, как никогда раньше, согласен с первой частью оценки. Однако не мог, объективно не способен был, перечеркнуть и вторую. Злой. Но гений. А у этих редких созданий человечества не бывает действий, одинаково воспринимаемых всем человечеством. Даже если кому-то приходится разочароваться, отступиться от содеянного кумиром, редко кто в душе дотла растопчет горевший когда-то светильник. “Так храм оставленный — всё храм. Кумир поверженный — всё бог”, — часто повторял Грегор Викторович слова Лермонтова.

Такое понимание жизни помогало ему не терять до конца душевного равновесия, быть циничным, когда требовали обстоятельства, и одновременно воспринимать происходящее по принципу: что Бог ни делает — к лучшему. В результате прошлое и настоящее в его жизни были хотя и разных цветов, однако соединяли эту жизнь в единое целое. А как же тогда должен чувствовать себя Яковлев, думал Грегор Викторович. Если у человека наступило прозрение, если он увидел, что всю жизнь служил дьяволизму и вот теперь, гля-

нув в своё прошлое, отшатнулся от него, как от провала, из которого прёт жуткий смрад, то, что человеку остаётся делать? Путь известный. Он идёт до ближайшего дерева, нижний сук которого отходит параллельно земле, накидывает верёвку и вешается. Как Иуда.

Но не пойдёт Александр Николаевич, не пойдёт, злорадно подумал Янкин. Маска стала его лицом, а лицо маской. Сейчас он говорит, что ложь пронизывала всю систему, а кто, как не он, эту ложь насаждал. Ненавидя социализм, требовал уважения к нему. Считал все работы Ленина “бреднями”, однако не переставал цитировать их. Презирая кормящий его народ, задал это невыносимое презрение бутербродами с чёрной икрой и белужьим боком по копеечной цене в спецбуфете. Критиковал бесчеловечную систему, но так, что критику эту слышал только белужий бок, который он жевал. А доев и вытерев губы салфеткой, шёл на трибуну, чтобы громить американский империализм и внутренних отщепенцев, сомневающих в исключительной человечности советского строя.

— Грешники мы все, Наташа, большие грешники. Белое называли чёрным, хотя понимали, как уродуем людей с нормальным зрением. Я сам то и дело выходил на панель. Проституировал, даже когда клиент не просил. Но теперь я свободен. Теперь — я другой... Отбросил, што против совести... Ой, какие мы большие грешники!.. И всё же среди нас есть те, кого, быть может, простят на том Большом суде... Пожарят для начала на адовой сковородке и со временем простят. А есть, которым придётся до бесконечности кипеть в смоле. Хотя, может, и там они окажутся при службе... Пристроятся между котлом и сковородкой. Злые чертям тоже нужны. А Яковлев злой... Когда вслушаешься в него, думаешь — хорошо, што бодливой корове Бог рогов не дал. Дал бы — многие умылились кровью. У него если противники, то это политическое быдло, шпана, если патриоты, то обязательно ряженные. Любимое слово — “кувалда”. Вот бы он ею помахал, дай такую возможность. Я как-то подумал: живи Александр Николаич во времена Октябрьского переворота, наверняка взял бы себе псевдоним Кувалдин. Они любили называться покрепче, пострашней. Сталин — это вроде как стальной. Молотов, ну, это и так ясно. А он был бы Кувалдин. Причём, с его прорывающейся иногда злобой к недругам, с его глубинной жестокостью — о-о-о! он бы поработал кувалдой.

— А мне его почему-то сейчас стало жалко, Грегор Викторович. Вся жизнь притворяться, показывать любовь к тому, што ненавидишь... Так ведь можно с ума сойти. Сосуды мозга лопнут... душа разлетится от распирающей злости, для которой выхода нет.

Наталья раскованно смотрела на Янкина. Настороженность, какая была по приходе в кабинет, прошла. Таких откровений молодая женщина не слышала даже в те “газетные” дни, когда Грегор Викторович пытался завоевать её доверие особо пикантными сведениями из жизни придворного народа. Сейчас он казался ей абсолютным искренним. Трогая свою коротко стриженную голову, с прищуром улыбаясь, взглядом как бы говорил: “Ты видишь, я совсем другой”. А она, кивнув утвердительно в ответ, снова заговорила о Яковлеве.

— Знаете, почему теперь он так себя ведёт? Мне кажется, я поняла его. Стало безопасно проклинать Систему и одновременно опасно не отречься от неё. Новая власть может не принять.

В этот момент в селекторном аппарате раздался голос секретарши.

— Грегор Викторович! Вам звонит Яковлев... Александр Николаевич.

Янкин поспешно протянул руку за трубкой. Он явно не хотел разговора по громкой связи. Другой рукой замахал Наталье: иди, иди быстрее. Она с удивлением встала, пошла к двери.

— Здравсьте, здравсьте, Алексан Николаич.

Волкова ещё не успела уйти далеко. Поэтому услышала голос Яковлева.

— Плохо ведёшь себя, Грегор. Товарищам по общему делу...

Последующие его слова уже было не слышно — Янкин прижал трубку к уху. Выслушав тираду Яковлева, извиняющимся тоном заговорил:

— Да как вы могли так подумать, Алексан Николаич? Ваша борьба за демократию — пример для многих. Нет, нет, эфир для вас будет всегда.



И уже закрывая дверь, Наталья услышала:  
— Мы ведь с вами — одной крови.

## Глава десятая

Павел Слепцов поставил “Волгу” во дворе девятиэтажного дома так, чтобы машину было видно из окон родительской квартиры. В последнее время с машин воровали всё, что можно было снять: зеркала, стеклоочистители, колёса. Иногда человек выходил утром к своей машине, а она стояла на кирпичках.

У родителей Павел бывал теперь редко. Жил у Анны. Ей досталась квартира умершей тётки. Дети — двое мальчишек, в одной комнате, Анна со Слепцовым — в другой. На этот раз он приехал, чтобы взять некоторую одежду — шли последние дни ноября, и надо было утепляться.

— Пашенька! — обрадовалась мать, прильнув к нему, едва успевшему растегнуть куртку. — Усталый ты какой. А я как знала... сегодня, думаю, приедет. Давно тебя не видела.

— Дай человеку раздеться, — со скупой улыбкой проговорил появившийся в прихожей отец. — Месяц — это, по-твоему, давно? Хотя мог бы чаще заезжать.

Павел и сам немного растрогался. Левой рукой гладил мать по волосам, другую протянул отцу: поздороваться. В этот момент он вдруг почувствовал себя маленьким ребёнком, тем мальчиком, которому мама играла на пианино детские песенки и они вдвоём, оба счастливые, выговаривали бесхитростные слова.

— Есть будешь? С работы ведь.

— Нет, мам. Аня ждёт. Вот кофейку можно.

Все трое прошли на кухню.

— Как на заводе дела, Павел? — спросил отец.

— Пусть ребёнок хоть согрется. Куда этот завод убежит?

— Убежит, мать. Убежит.

— Даже не знаю, как тебе сказать. Если коротко, то плохо.

Они посидели немного на кухне. Павел скупко рассказывал про Анну, про своё новое жильё. Отец заметно нервничал. Наконец, поднялся.

— Пойдём ко мне, чтоб матери не мешать.

— Скажи уж, посекретничать хотите. Как будто в другой раз нельзя.

— Другие разы, видишь, редко случаются, — проговорил Василий Павлович.

Когда пришли в отцов кабинет — каждый со своей кофейной чашкой, Павел обратил внимание на некий беспорядок у обычно аккуратного отца. Дверцы некоторых шкафов были открыты, и на полках вразброс лежали папки. На столе тоже чувствовалась какая-то неприбранность. Отец заметил сдержанное удивление Павла. Не дожидаясь вопроса, заговорил:

— Идёт трансформация КГБ. Одних арестовали, других меняют. ПГУ\* выводят из состава Комитета.

Показал на шкафы:

— Здесь никаких серьёзных бумаг нет и быть не может. Но я просмотрел все архивы. На всякий случай. Так што с заводом-то?

— Сначала прекратили финансирование. А теперь ещё лучше — ликвидировали министерство.

— Знаю. Госсовет — его раньше не было — 14 ноября упразднил больше тридцати центральных органов управления. Все союзные министерства и комитеты...

— Значит, не одних нас?

— Не одних. В том числе всю “девятку”.

— Неужели всю? — без особого интереса уточнил Павел. Он знал, что так назывались собранные ещё в 1965 году Председателем Совмина СССР Косыгиным под единое стратегическое управление девять основных оборон-

\* ПГУ — Первое Главное Управление КГБ СССР (внешняя разведка).

ных ведомств. Это позволило разрозненным до того отраслям ликвидировать начавшееся отставание от Соединённых Штатов в оборонной сфере, а через какое-то время кое в чём превзойти их по качеству вооружения. Кроме министерства общего машиностроения, которое отвечало за ракетно-космическую технику, и куда входил завод Слепцова, “девятка” включала министерства: оборонной, авиационной, электронной, радио-, судостроительной, электротехнической, химической промышленности, а также “атомное” ведомство — Министерство среднего машиностроения. Это была основа советского оборонного комплекса и одновременно средоточие самых передовых технологий, которые находили применение как при создании вооружений, так и в производстве товаров народного потребления.

— А людей-то куда? В “девятке”, кроме заводов, как ты знаешь, сотни институтов, конструкторских бюро. Целое государство народу.

— Людей — на улицу. За ворота. Я же тебе говорил — помнишь? Сначала вам перекроют финансирование. Объявят ВПК слишком неподъёмным для народного хозяйства. Одновременно развернут массированную пропаганду о дружелюбии стран НАТО и США. Там, мол, идёт кардинальное сокращение вооружений. Значит, надо и нам равняться на них. Потом начнут как бы реформировать “оборонку”. А на деле — разрушать...

Василий Павлович в задумчивости отхлебнул кофе.

— Только я не предполагал таких темпов. Думал, поборемся ещё. Помогли эти говнюки... Чрезвычайщики сплюнявые. Надавали ребятам из-за “бугра” полные руки козырей.

— Опять ты о своих “заклятых друзьях” с той стороны. Ну, сколько можно, пап?! Как будто не уродство политической системы породило уродливую экономику и всю дрянь, вытекающую из этого. Спроси любого — вон на улицу выйди, в очереди спроси: есть хоть что-то хорошее в нашей советской действительности? И тебе скажут: нет! Раньше нам про недостатки внушали, как про отдельных блох. Ещё немного, и мы их выведем. Оказалось, што из них состоит вся наша жизнь. Да из каких блох!

Василий Павлович хотел что-то сказать, но помедлил, раздумывая. Потом молча встал, подошёл к одному из книжных шкафов. Достал плоскую картонную коробку в полкниги шириной. Вынул из неё большую лупу. Затем выбрал из раскида бумаг на полке какой-то листок. Вернулся на место, подал листок сыну.

— Прочти.

Павел напрягся. На листке было что-то написано мельчайшим шрифтом под едва различимым изображением.

— Не могу. Ты бы ещё дал молекулу разглядеть. Без микроскопа. Што здесь?

— А теперь посмотри через лупу.

— Чесоточный клещ. Ф-фу! Страшилище какое-то. И зачем ты мне это показал?

— Для твоего просвещения. Может, ещё не поздно, и ты поймёшь, што не только наши собственные недостатки подвели страну к краху. Я знаю о них, кому, как не нам, знать? На них нельзя было закрывать глаза, прятать голову в песок. Но наши реальные недостатки специально и, должен тебе сказать, умело увеличивали хорошо подготовленные противники. При этом старались уменьшить или совсем замолчать имеющиеся достоинства системы. Вот ты сейчас увидел довольно редкое насекомое в лупу и ужаснулся. А поглядел бы на этого клеща или на ту же блоху, о которой говорил, в микроскоп. Зверя бы увидел! Страшного зверя. Причём, ещё более ужасного из-за его неизвестности. Мы ведь в жизни-то разве часто встречаем их? Блох... Клещей... Как говорится, слава Богу, вывели почти всех. Редкостью стали. Но если увеличить их через микроскоп и это шевелящееся чудище показывать каждому человеку с утра до ночи, при этом внушать: вот она, ваша жизнь, вот вы среди чево живёте, то люди, рано или поздно, поверят, што на самом деле живут среди одних блох. Как уверял Горький, если человеку всё время говорить, што он свинья, он, в конце концов, захрюкает.

Василий Павлович поднял чашку, глянул в неё и опять поставил. Видимо, не заметил, когда выпил кофе.

— Я тебе рассказывал о некоторых американских документах — про все пришлось бы долго говорить. В каждом — очередная программа борьбы против нас по разным направлениям. Ломать Союз начали давно. Иногда были успехи. Чаще, как говорит твоя мать, мимо сада-палисада. Однако с водворением Горбачёва надежды у них прибавилось. Команду подобрал такую, што недостатки пошли косяком. Нашлись специалисты увеличивать блох под микроскопом — один Яковлев, этот идейный перевертыш, сколько натворил. К сожалению, народ наш оказался не готов отличать истинный размер этой гадости от того, какой ему стали преподносить. Как ты понимаешь, блоха на футбольном поле и она же под увеличительным стеклом — существа разной психологической опасности. А безоружность страны в информационной войне — вина, прежде всего, нашей системы, тут я с тобой соглашусь. Не готовила система эффективного противоядия. Топорно работала. Потеряли люди иммунитет. Обрадовались: гласность — это лекарство, демократия — равенство всех перед законом, рынок — сытая жизнь для каждого. Поверили докторам, цель которых не вылечить, а угробить.

— Мы с тобой, как оптимист и пессимист из анекдота. Для первого клоп пахнет коньяком, для второго — коньяк клопом. Ты не веришь в добрые намерения демократических стран по отношению к нам, а я не верю в их коварные замыслы. Ну, почему ты не можешь допустить, што нам искренне хотят помочь? Не разрушить, как ты считаешь, Советский Союз, а модернизировать его, сделать мощным демократическим государством.

Василий Павлович пристально смотрел на сына, и по сухому, бледно-серому лицу трудно было понять, что чувствует генерал. Однако глубоко посаженные, словно проваленные вглубь черепа глаза выдавали сильные переживания его. Там удивление сменялось горечью, надежда — отчаянием, а сожаление — тоской. Как же он не разглядел, когда у Павла начала прогрессировать политическая близорукость? — думал генерал. — Узнать, что твоё дело будет разрушено, и при этом оставаться спокойным?.. Такого он не ожидал от своего сына, с которым раньше всегда находил согласие. Неужели не понимает, что скоро и он, заместитель главного экономиста, и миллионы других людей из оборонных заводов, конструкторских бюро, исследовательских и проектных институтов окажутся без работы, а страна без надёжной защиты. Хотя какая страна? Её в прежнем виде уже нет. Сразу после ГКЧП все республики объявили о своей независимости. Если бы не этот провал...

Вспомнив о нём, Василий Павлович покраснел от гнева. Он ненавидел почти всех этих бесхребетных деятелей, за исключением Пуго и Варенникова. Только эти двое вызывали уважение. Остальные, кто пьяницы, кто трусы, заслуживали презрения и желание отхлестать их по физиономиям. Особенно, организатор затей — его начальник Крючков. Когда-то Слепцов уважал Владимира Александровича. В “конторе”, несмотря на закрытость каждой службы, люди приятельствовали, общались друг с другом; как профессионалы, умели аккумулировать информацию и порой знали о характерах, привычках своих руководителей больше, чем те предполагали. Слепцову, как и другим его коллегам, было известно о педантичности и канцелярской аккуратности Крюčkова, о его феноменальной памяти, начитанности, театральных привязанностях. Но все эти качества председателя КГБ Василий Павлович отдал бы за одно единственное — за смелость. А её — этой смелости — в самое нужное время, в исторически важные для страны дни у канцеляриста не оказалось.

Много раз после путча Слепцов ставил себя на место Крюčkова и его подельников. Прокручивал в уме свои возможные действия. И был полностью уверен: он бы не остановился ни перед чем, чтобы спасти страну. История неоднократно показывала, что порой достаточно ликвидировать небольшой нарост булькающей грязи, и поступательное развитие жизни продолжается эволюционным путём. А слабование, боязнь решительных действий давали этой грязи разрастись до размеров кровавого Левиафана, который способен устроить беды огромного масштаба.

Так будет и теперь, с огорчением думал Василий Павлович. Ни у министра обороны, ни у вице-президента, ни у премьера и министра внутренних дел не было столько информации о критическом положении разваливаемого государства, сколько её имел председатель КГБ. Даже Горбачёв знал меньше. К тому же, самонадеянно не догадывался, что многие его скрытные шаги для руководителя “конторы” не были тайной. На Крючкова работала разведка и контрразведка, он знал поимённо агентов влияния в разных сферах и, прежде всего, в политике. Ему докладывали о планах и действиях зарубежных сил, начиная от его коллег по профессии и кончая руководителями государств. А потому он просто обязан был остановить разрушение страны. Но он струсил, и Василий Павлович не находил ни малейшего оправдания импотентным действиям председателя КГБ. Даже если бы остальные стали сползать с ковра, у Крючкова хватило силы вернуть всех на место. Теперь же, из-за проваленного “мероприятия”, процесс распада стремительно подходит к концу.

Подумав об этом, Василий Павлович открыл один из ящичков стола и достал тёмно-зелёную папку.

— Ты полагаешь, они стараются нам помочь? — спросил сына. — Хотят сделать Советский Союз мощным государством?

— Убеждён.

— Тогда почитай вот это.

Слепцов младший открыл папку. Сверху страницы было скромно написано: М. Тэтчер. “Советский Союз надо было разрушить”.

— Откуда это? — поднял он провалы глаз на отца.

— Читай, читай. Я пока схожу за кофе.

Подвигавшись в кресле для удобства, Павел стал читать. “Советский Союз — это страна, представляющая серьёзную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её в сущности не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков.

Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей.

Основным было навязывание гонки вооружений. Мы знали, что советское правительство придерживалось доктрины равенства вооружений СССР и его оппонентов по НАТО. В результате этого СССР тратил на вооружение около 15% бюджета, в то время как наши страны — около 5%. Безусловно, это негативно сказывалось на экономике Советского Союза. Советскому Союзу приходилось экономить на вложениях в сферу производства так называемых товаров народного потребления. Мы рассчитывали вызвать в СССР массовое недовольство населения. Одним из наших приемов была якобы “утечка” информации о количестве вооружения у нас гораздо больше, чем в действительности, с целью вызвать дополнительные вложения СССР в эту экономически невыгодную сферу.

Важное место в нашей политике занимал учёт несовершенства конституции СССР. Формально она допускала немедленный выход из СССР любой пожелавшей этого союзной республики (причем, практически путем решения простым большинством её Верховного Совета). Правда, реализация этого права была в то время практически невозможна из-за цементирующей роли компартии и силовых структур. И всё-таки в этой конституционной особенности были потенциальные возможности для нашей политики.

К сожалению, несмотря на наши усилия, политическая обстановка в СССР долгое время оставалась весьма стабильной. Серьезное место в формировании нашей политики (в основном, политики США) занимал вопрос о создании системы противоракетной защиты (СОИ). Должна признаться, что большинство экспертов было против создания СОИ, так как считали, что

эта система будет чрезвычайно дорогой и недостаточно надежной, а именно щит СОИ может быть пробит при дополнительном вложении Советским Союзом гораздо меньших (в 5—10 раз) средств в “наступательные” вооружения. Тем не менее, решение о развитии СОИ было принято в надежде, что СССР займется созданием аналогичной дорогостоящей системы. К нашему большому сожалению, советское правительство такого решения не приняло, а ограничилось политическими декларациями протеста.

Сложилась весьма трудная для нас ситуация. Однако вскоре поступила информация о ближайшей смерти советского лидера и возможности прихода к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения. Это была оценка моих экспертов (а я всегда формировала очень квалифицированную группу экспертов по Советскому Союзу и по мере необходимости способствовала дополнительной эмиграции из СССР нужных специалистов).

Этим человеком был М. Горбачев, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотношения с большинством советской политической элиты и поэтому приход его к власти с нашей помощью был возможен достаточно тонко”.

Гладкое и логичное повествование вдруг прерывалось, словно часть текста кто-то убрал. Павел вопросительно посмотрел на отца, который пришёл с двумя чашками кофе и теперь аккуратно отпивал из своей. Василий Павлович понял немой вопрос сына. Он сам удивился провалу, когда впервые взял в руки текст.

— Так записали, — сказал, показывая взглядом на листы. — Но ты читай. Дальше тоже интересно.

Павел снова углубился в написанное. “Деятельность “Народного фронта” не потребовала больших средств: в основном это были расходы на множительную технику и финансовую поддержку функционеров. Однако весьма значительных средств потребовала поддержка длительных забастовок шахтёров.

Большие споры среди экспертов вызвал вопрос о выдвижении Б. Ельцина в качестве лидера “Народного фронта” с перспективой последующего избрания его в Верховный Совет Российской республики и далее руководителем Российской республики (в противовес лидеру СССР М. Горбачеву). Большинство экспертов были против кандидатуры Б. Ельцина, учитывая его прошлое и особенности личности. Однако состоялись соответствующие контакты и договорённости, и решение о “проталкивании” Б. Ельцина было принято. С большим трудом Ельцин был избран Председателем Верховного Совета России, и сразу же была принята декларация о суверенитете России. Вопрос от кого, если Советский Союз был в своё время сформирован вокруг России? Это было действительно началом распада СССР.

Б. Ельцину была оказана существенная помощь и во время событий августа 1991 года, когда руководящая верхушка СССР, блокировав Горбачева, попыталась восстановить систему, обеспечивающую целостность СССР. Сторонники Ельцина удержались, причем он обрёл значительную (хотя и не полную) реальную власть над силовыми структурами.

Все союзные республики, воспользовавшись ситуацией, объявили о своём суверенитете (правда, многие сделали это в своеобразной форме, не исключавшей их членства в Союзе).

Таким образом, сейчас де-факто произошёл распад Советского Союза, однако де-юре Советский Союз существует. Я уверяю вас, что в течение ближайшего месяца вы услышите о юридическом оформлении распада Советского Союза”.

Павел в задумчивости положил папку на стол.

— Откуда это у тебя?

— Дней десять назад Тэтчер была в штате Техас. Там в Хьюстоне, в Американском нефтяном институте, проходило очередное заседание. В нём участвовали и наши специалисты по нефтепереработке и нефтехимии. Тэтчер пригласили как почётную гостью. Хотя она уже год не премьер-министр,

однако пользуется уважением. Тем более, по образованию — химик. Она и выступила там вот с этой речью.

— А ваши люди записали её на диктофон?

— Нет. Вечером в гостинице восстановили по памяти.

— Хороши у нас нефтяники. Быстро работают. Но мне не верится, што это правда.

— Да обрати внимание хотя бы на её слова о поддержке шахтёрских забастовок! Ты же экономист. Легко можешь посчитать, какие деньги нужны, чтобы привезти целый поезд шахтёров в Москву. Платить за них неделями в гостиницах, кормить-поить. А у каждого ещё семья. Ей тоже надо оставить денег. Откуда их на всё это возьмёт небогатый шахтёр? Да и надо ли ему ехать чёрт-те куда, долбить каской московский асфальт? Ты не поверил мне об иностранных деньгах для забастовщиков. Теперь удостоверился?

Павел был растерян и одновременно раздражён. Он чувствовал, что отец, скорее всего, прав, да и прочитанное похоже на действительность, но согласиться с этим означало признать выстроенные в уме светлые замки домиками из песка. Ему казалось, что, отвергая советскую Систему, они с Карабасовым не посягают на целостность государства. А получалось — одно держит другое.

— Трудно всему этому верить. Она сказала: в течение месяца? Значит, механизм запущен... Посмотрим, посмотрим... Может, не всё так страшно, как видится твоим “нефтяникам”.

\* \* \*

После того вечера Павла по-прежнему больше всего волновали проблемы безденежного завода. Но и то, что узнал при встрече с отцом, не выходило из головы. До путча он не слишком вслушивался, а тем более вдумывался в разговоры об обновлении Советского Союза. Из всей говорильни в памяти оседало, что кое-какие изменения произойдут, однако будут они, как, полагал Слепцов, скорее косметического характера. Ведь Референдум, вопреки их с Карабасом желанию, затвердил сохранение, пусть обновлённого, но Советского Союза. Горбачёв рассказывал о готовящемся Договоре, в котором государство будет по-прежнему называться СССР. Только расшифровываться иначе: Союз Советских Суверенных Республик. Слово: “социалистические” из названия республик уйдёт, и это вполне устраивало экономиста. Ему казалось, что основные недостатки жизни происходят как раз от социалистического начала.

Когда же, к восторгу Слепцова, демократия победила путч, он ни о чём, кроме как о скорых переменах в своей жизни с Анной, думать не мог. Лишь краем внимания улавливал, что снова заговорили о государственном обустройстве. Опять всплыл договор, только теперь о Союзе Суверенных Государств (ССГ), и это тоже не слишком обеспокоило Слепцова. Главное, сохраняется Союз, отмечал он мимоходом, и тут же переключался на другие заботы.

Однако встреча с отцом основательно добавила беспокойства и тревоги. Что может произойти, думал Павел, вспоминая речь Тэтчер. Опять образуют тот же Союз, но под новым названием? Ведь нельзя без войны ликвидировать большое и пока ещё могучее государство, которое способно (об этом Слепцов знал лучше других) постоять за себя. Чего стоит одна ракета СС-18, которую американцы даже в своих официальных документах называют “Сатана”. Самая тяжёлая в мире. Может нести десять боеголовок с ядерными зарядами. Способна пробить любую противоракетную оборону. Не зря американцы говорят: пока у русских есть “Сатана”, нас может хранить только Бог.

А кроме этих шахтных ракет по стране передвигается неуловимый ракетноносец. По тем же рельсам, по которым идут обычные составы, ездит поезд, где под обычные вагоны — рефрижераторы замаскирована боевая установка с межконтинентальной ракетой “Молодец”, тающей в себе 900 хиросимских атомных бомб. И угадай, какой состав с пшеницей, а какой с баллистической ракетой, способной прорезать любую защиту и уничтожить целое европейское государство. Американцы назвали неуловимый страшный комплекс “Скальпе-

лем” и вряд ли бы уследили за передвижением ракетноносцев по разветвлённой сети советских железных дорог, если бы не помощь Горбачёва. Стремясь ещё больше угодить “миролюбивым” Штатам, он приказал поставить все поезда на прикол, и теперь “Скальпели” постоянно находились под круглосуточным наблюдением американских спутников.

Тем не менее, даже в этих условиях стране есть чем ответить, думал Слепцов и, с некоторым удивлением для себя, чувствовал гордость за собственное участие в таком большом деле.

В заводских и бытовых неурядицах шла первая декабрьская неделя. На заводе не знали, как растянуть остатки средств. Звонили поставщики. Требовали зарплату рабочие. Дома встречала уставшая Анна. Чтобы найти продукты для семьи, женщина обходила не один магазин, выстаивала долгие очереди. “Какая паскудная жизнь!” — переживал Павел, слушая свою гражданскую жену.

С середины недели резко начали крепнуть морозы. Температура опустилась ниже 17 градусов. Опасаясь за аккумулятор, Павел стал уносить его на ночь в тепло квартиры.

В понедельник 9 декабря, утром, отдохнувшие за выходные Анна и Павел ласково глядели друг на друга за завтраком, шутили с уходящими в школу ребятишками, и жизнь Слепцову уже не казалась такой мрачной, как накануне. К тому же, несмотря на ещё более усилившийся мороз, легко завелась “Волга”. На заводе главный экономист, идя мимо в директорский кабинет, бросил на ходу какую-то обнадёживающую фразу. А когда окна слепцовской комнаты озолотило полуденное солнце, Павел совсем оттаял. Поэтому телефонный звонок Карабанова показался ему продолжением нарастающей приятности.

— Здравствуй, Серёжа. Давно тебя не слышал.

— Здорово! Новость знаешь? — с воодушевлением выкрикнул доктор.

— Ну, говори.

— Конец Союзу! Нет его больше! Передали по телевизору... Сегодня ночью где-то в Беловежской пуще наш Ельцин, украинский Кравчук и белорусский... как его? Шумкевич! ликвидировали Советский Союз.

— Как это ликвидировали? — опешил Слепцов. — Всего трое?

— Да. Подписали документ: Советский Союз прекращает своё существование. Паша! Дружище ты мой! Твоя сова предсказала всё точно. Вернее, ты предсказал! Нет больше такого государства — Союз Советских Социалистических Республик!

— А што же будет?

— Ничего! Все по отдельности.

— Да подожди ты кричать, Карабас! Што значит по отдельности? Кто им такое право дал? Этим троим... Референдум был...

— Плевать на референдум! Мы с тобой голосовали против. Теперь увидишь, какая наступит жизнь. Ты сам её хотел. Сова кричала. Всё кричало о конце. Ты чево молчишь? Не рад што ли?

— Чему радоваться, Серёга? Мы с тобой играли не за ту команду. Страна... Ты понимаешь, страну расчленили?!

Доктор замолчал. Потом с насмешкой в голосе произнёс:

— Ты как-то определись, Слепцов, сам с собой... Со своими взглядами. И не пытайся усидеть на двух стульях. А то сначала у тебя сова кричит... потом ты плачешь. Мы с тобой можем гордиться. Тоже участвовали... Поэтому поздравляю...

Он некоторое время ждал ответных слов. Но вместо них в трубке раздалась гудки.

## Глава одиннадцатая

Приближался Новый год — самый приятный для Нестеренко праздник. Но в этот раз электрик даже не думал о нём. То, что произошло в Беловежской пуще, сначала казалось нереальным, очередной ложью оборзевших

журналистов. Сознание не принимало сообщаемую информацию, отторгало её. Только потом до Андрея стало доходить, что это — правда, что показываемые по телевизору кадры с руководителями трёх республик, не то довольными, не то пьяными, есть реальность. И тут сознание забилось, как раненый волк. Какая-то часть его отдёргивалась от видимой беды, клала зубы, пыталась вскочить на привычно сильные ноги, но другая часть — большая и уже парализуемая, заливалась горячей кровью и чувствовала нарастающее обессиливание.

Дома Андрей ходил отрешённый, не сразу откликался на слова матери или жены. В цехе тоже какое-то время молча смотрел на спрашивающего человека, с усилием переключался на вопрос. Однако, коротко поговорив о чём-то заводском, сразу переходил на разрывающую его тему: как могли эти три Существа — иначе он беловежскую троицу не называл, совершить паскудное своё действие вопреки решению народов? А вслед за тем, не обращая внимания, кто перед ним: сочувствующий или радующийся, громко жалел, что не нашлось никого, кто пустил бы на “беловежскую кодлу” ракету с самолёта или из “нашей “машинки””.

Завод, где работал Нестеренко, “в миру” имел статус машиностроительного. Но, наряду с гражданской продукцией, выпускал, после дооборудования, зенитные ракетные комплексы средней дальности. Между собой заводчане ласково называли их “машинками”. Правда, гусеничная эта “машинка”, способная мчаться и по асфальту, не повреждая его, и по любому бездорожью, готовая через минуту после получения команды дать уничтожающий вражескую ракету залп хоть в Арктике, хоть в Африке, в действительности была грозным и востребованным оружием. Однако, ещё до ликвидации по поручению Горбачёва и Ельцина оборонных министерств, прекратилось их финансирование. Не только за военную — за гражданскую продукцию перестали платить. Пришлось часть цехов периодически останавливать, а людей отправлять в отпуска. В декабре снова объявили отпуск: неделя — до Нового года, столько же — после.

Цех Андрея в “отпускные” не попал. Однако и особой работы не было. Не на что стало покупать комплектующие. Российские смежники кое-что дали под “честное слово”. Украинские — сами стояли без денег. Эстонцы заявили, что правительство республики запретило “кормить русский военно-промышленный комплекс”.

Раздражённый Нестеренко решил: чем болтаться, как навоз в проруби, лучше съездить на охоту. С продуктами стала совсем беда. Мясо можно было купить только по сверхвысоким ценам на рынке. Охота уже давно выручала компанию. Прошли те времена, когда Павел Слепцов, имеющий “кормушку”, и даже Карабанов снисходительно смотрели, как Фетисов раскладывает куски разделанного лося на кучки, а потом также с лентой брали разыгранное. На охотах последних лет все внимательно следили за наполнением кучек, и едва отвернувшийся Волков заканчивал называть, кому какая предназначена, сразу раскладывали мясо по мешкам.

Несколько удачных охот обеспечивали семью каждого лосятиной и кабаном с ноября по конец марта.

Андрей позвонил учителю. С ним и с Савельевым он разговаривал по телефону сразу после Беловежья. Даже спокойный и воспитанный Волков тогда не мог говорить без матерщины. Клокотал в гнев и журналист, упоминая какие-то баночки с керосином. Теперь Нестеренко решил, что на охоте с товарищами ему будет легче.

Волков прикинул: полнедели были свободными. Сказали о задумке Савельеву. Виктор согласился. Только спросил: будут ли доктор и Слепцов? Волков колебался: может, пригласить? Но электрик твёрдо заявил: тогда без него. Позвонили Фетисову. Товаровед обрадовался. Однако когда Нестеренко — всё через тот же угольный склад — договорился с Адольфом, Игорь Николаевич с огорчением отказался: опять прихватило сердце.

Адольф велел ехать в деревушку Марьино, где охотились весной. Опять издали увидели возле Дмитриевого дома трактор “Беларусь” с тележкой. При подъезде к избе на какой-то миг осветили фарами окна. Не успели вый-



ти из машины, как в сенях зажётся свет, открылась дверь и в проёме показалась, освещённая сзади, коренастая фигура Адольфа. Впереди него выскочила крупная лайка. Басовито гавкнула, бросилась к машине.

— Пират! — крикнул Нестеренко. Собака как споткнулась. Радостно взвизгнула, завертелась. — Пират! Разбойник! Какой стал! Ах же ты, морда моя! Хватит лизать!

Электрик, нагнувшись, пытался погладить пса, тот изворачивался, подпрыгивал, успевал лизнуть Андрея, снова отскакивал.

— Смотри, не забудь! — тоже возбудился Волков. — Столько времени прошло!

— Не так и много, — без энтузиазма проговорил Савельев. — Каких-то восемь месяцев. Случилось много всего — это да. Другим на сто лет хватит, сколько у нас — за месяцы.

— Ну, хорош лизаться, Пират! — подошёл егерь. По очереди обнял всех. В кое-как накиннутых куртках вышли Валерка и Николай. Помогли занести в избу рюкзаки, ружья в чехлах. Там вокруг стола ходил Дмитрий. Он заметно облагородился: постриг рыжеватые космы, побрился, стал ухоженней в одежде. Да и в движениях, во взгляде от прежнего заброшенного мужика мало что осталось. По избе ступал хозяин, заимевший власть и одновременно — ответственность. “Наверно, женился”, — подумал Волков. А тот, словно подтверждая догадку учителя, приветливо ощерил от уха до уха рот и крикнул в комнату за печкой:

— Валентина! Встречай гостей!

В отличие от Дмитрия женщина не изменилась. Те же печальные глаза, то же робкое подобие улыбки. “Сломали человеку жизнь, сволочи. Не скоро отойдёт”, — с горечью подумал учитель.

— Уютно у тебя, хозяйка, — обвёл он рукой горницу, стараясь порадовать Валентину. — Так бы и прописался тут. Квартирантом к Дмитрию.

— Считай, он тебя прописал, — заявил Адольф. — Митька оставляет нас здесь на всю охоту. Кто давно на печке не спал, может вспомнить.

— Я вообще никогда не спал на печи! — воскликнул Нестеренко.

— Попробуешь. Ноги только длинные. Там Валерке самый раз. Но его место нынче — в сенях.

— Эт почему?! — засопровивлялся Валерка.

— Ты ж у нас демократ? Демократ. А кто сказал, што не нужен общий большой дом? Кто разогнал страну по углам и каморкам? Демократы. Вот и иди в сени.

Увидев, что Валерка готов обидеться всерьёз, егерь снисходительно бросил помощнику:

— Ладно, ладно. Мы не такие, как ты, шнёрла. Садимся, ребята. Мужики — с дороги. Часа три-четыре ехали — это не на печку слазить.

Городские действительно утомились. И не только Савельев, который вёл машину. Двое других — сами водители, тоже чувствовали, едва ль не наравне с Виктором, плохо чищенную, разбитую дорогу. Поэтому теперь за столом расслаблялись.

Продукты они, конечно, привезли. Но это было очень скудное подобие прежних возможностей. Зато Дмитрий, а скорее Валентина, постарались. На стол выставили большую, едва ль не с тазик, тарелку, полную тёплых ещё котлет. Нестеренко первый ткнул вилкой, откусил и зажмурился. Это была смесь лосятины с дикой свиной.

К дичи шла в меру прихрустывающая на зубах, жареная, с корочкой картошка. Остальное городским было знакомо: три сорта грибов — рыжики, белые и опята; солёные огурцы, квашеная капуста — в порубе и вилках. Из нового — крупный, явно не магазинной формы, кусок сливочного масла светло-золотистого цвета.

— Своя маслобойка? — спросил Савельев, отрезая охотничьим ножом пластик натурального продукта.

— Своя, своя, — сказал Адольф. — У Митрия теперь всё своё. Завели с Валентиной корову... Поросят... Курей и уток стаю... На власть не надеются. Она вон только трывдит с утра до ночи, — показал на бубнящий в уг-

лу телевизор. — Ну, да ладно. Давайте, ребята, за встречу. Считай, за год знакомства.

Через некоторое время, сбив первую охотку, стали пить и есть неспешней, словно в какой-то раздумчивости. У городских того радостного волнения, которое они в прежние приезды не могли скрыть и унять, теперь не было. Волков отстранённо жевал солёные рыжики. Нестеренко, зацепив вилкой котлету, долго держал её над своей тарелкой, о чём-то тяжело думая. Савельев, намазав ещё один кусок хлеба домашним маслом, отложил его и стал растёгивать рубаху.

— Жарко. Сваришься, Андрей, на печке. На ней хорошо спать в мороз. Я знаю. Мне приходилось...

— Опять холода спали, — сказал Адольф. — Раньше в это время мороз деревья рвал... Ночью лежишь — тихо... Он ка-ак рванёт! Только весной поймёшь, какое дерево треснуло...

— Этот год весь какой-то кручёный, — вздохнул Валерка. — Секач, паскуда... Тайга теперь близко не подходит к кабану... издаля работает. Сова...

— Ты говорил, и весной она была, — напомнил красноглазый Николай.

— Была... А где сейчас этот... Павел? Который нам про сову рассказывал? Про Горбачёва с отметкой? Где он, Андрей?

— Не знаю, — отчуждённо сказал Нестеренко. — Наверно, с такими, как ты, демократами делит страну.

Он захмурился, сдвинув брови в сплошную чёрную линию. Слова Адольфа о демократах вызвали ярость.

— Почему никого не оказалось рядом? Всего три выстрела и нет паскуд!

Все поняли, о ком почти выкрикнул электрик. В беспокойстве задвигались.

— Чё ж теперь будет? — спросил Адольф. — Может, ещё он вернётся — Советский Союз?

— А зачем он нужен? — выпалил Валерка. — Што с возу упало, то к завхозу попало. Когда-то жили без него. Может, снова проживём.

Нестеренко поблел. Адольф увидел это, наклонился к сидящему рядом электрику:

— Андрей, тебе похужело?

— Ничё, ничё. Я тут хочу твоему подручному сказать... Который не понимает, што три Существа натворили. У тебя, Валерк, есть дом?

— Есть.

— А дети?

— Трое. Два сына и дочь.

— О-о, какой ты богатый на детей. Теперь представь: пришёл кто-то, ну, председатель сельсовета... детей из дома выгнал, дом распилил бензопилой “Дружба” на три части и сказал: “До меня дошли слухи: вы не ладили друг с другом, спорили иногда. Вот я ваш дом делю. Живите каждый в своём отрезке”. “Да как жить?!” — спросят дети. — Печка у одного. Погреб у другого. “Двор”\* с коровой у третьей. Не жизнь это будет, а чёрт знает што. Да и спорили мы без драки. Словами иногда... Наши отцы, деды жили вместе. Порознь нам будет плохо...” “Ничего не знаю, — скажет тот. — По моим представлениям вам так будет лучше”. А сам промолчит, што интересовало его не спокойствие братьев и сестры. Земля была нужна. Помыкаются люди вокруг распиленного дома и пойдут наниматься к тем, у кого целые дома. Вот так же, примерно, демократ, поступили и с нашим домом. Народы ведь не хотели разединяться! Ты сам слышал, што Адольф говорил весной, после референдума: три четверти проголосовали за сохранение Советского Союза. Но с помощью таких, как двое наших... и теперь вот ты... бензопилой по живому.

Волков смотрел на товарища и, кажется, сам чувствовал терзающие того страдания. Крупные черты лица ещё сильнее огрубели, выпукло застыли, как складки хромового сапога. Глаза из-под сдвинутых бровей мерцали злым огнём. “А верил: будем стариться плечом к плечу, — подумал учитель об Андрее. — Теперь бы не встретиться всем на узкой тропе”.

---

Двор — пристройка к крестьянской избе, где содержался скот, хранилось сено, сельскохозяйственный инвентарь. (Прим. авт.)

Он машинально скручивал кончик уса и хотел понять, как удалось каким-то людям развернуть их друг против друга. Эти неизвестные оказались сильнее и хитрее. Они нащупали невидимые трещинки между ними и превратили их в разломы. Также как сначала между тысячами, потом — между миллионами.

“Ну, а мы-то что, телята что ли? — думал Волков, всё больше сердясь на себя. — Понимали: вместе с грязью враги наши выливают на помойку очень много хорошего. И не поднялись. Вождей не оказалось?.. Организаторов? Говорил я Вадиму: народ без вожаков — мясо истории... Везде так... Даже в демократических странах, которыми нам забили мозги. У нас тем более. Выходит, так и будем на вождей надеяться? А если попадётся, как Горбачёв?.. Заменить нельзя. Не дают. Тогда, может, прав Андрей? Один выстрел — и пошла жизнь по другим рельсам. Сколько таких примеров в истории!”

Но, подумав об этом, учитель сразу усомнился. Выстрел... Бомба... Кто определяет, что нужно их применить? Один человек? Но он кто: Бог? Решающий за большое множество людей. Даже группа несогласных — ещё не народ. Маленькая часть народа. Тогда имеют ли эти люди право решать за всех? А если эти немногие наказывают тех, кто переступил через волю народа? Как переступили трое беловежских подписантов... Это тоже недопустимо?

Волков запутался, не зная, что правильнее. Морщил в напряжении лоб, нервно трогал усы. Видно было: мыслями он не здесь. Это заметил Адольф. Окликнул:

— Владимир! Ты командир, а не спрашиваешь, куда завтра пойдём. У вас одна лицензия?

— Одна, — вернулся к действительности учитель. — На лося. И одна на кабана. Витя достал.

— Значит, работа будет. У нас тоже лось и два кабана.

Он помолчал. Потом с иронией бросил:

— Только бы сова не закричала.

— А между прочим, у нас на фабрике никто особо не заметил, што Союз помер, — бодро сказал Валерка, похоже, совсем не обидевшись на злое разъяснение Андрея. — У всех другие заботы. Где еды достать? Сколько придёт хлопка?

Валерка работал на небольшой ткацкой фабрике в маленьком посёлке, который не так давно преобразовали из села. Но жизнь в селе всё равно оставалась деревенской. Здесь было правление колхоза, машинный двор, где Валерка, как фабричный механизатор, в страдную пору помогал ремонтировать технику, за что ему иногда давали на охоту трактор “Беларусь”. Область, куда ездила компания, считалась не только промышленной, но и текстильной. В областном центре работали крупные ткацкие комбинаты, один из которых был основан при Петре Великом. Здесь начинали делать ткань для парусов. Валеркина фабричка выпускала хлопчатобумажное полотно, и весной подручный Адольфа показывал охотникам кусочки красивых материалов.

— Значит, говоришь, не заметили? — спросил Савельев. По профессиональной привычке быть в курсе событий он исподволь прислушивался к бубнящему вдалеке телевизору, однако при этом не пропускал ни слова из разговора за столом. — Ничего, скоро заметите. Узнаете, што Союз, как ты говоришь, помер. Хлопок для всей текстильной промышленности поставляют Узбекистан и Таджикистан. Они теперь отделились. Перестанут поставлять, и вы остановитесь. Колхозы тоже будут разрушены — орёт вон тот дурачок (показал на телевизор, где в это время что-то кричал известный агрессивный писатель), будто фермер спасёт Россию. После этого у тебя и в колхозе не будет “шабашки”. Как видишь, товарищ демократ, всё в жизни взаимосвязано. Где морским узлом, а где гордиевым. Особенно в жизни экономической.

— В политической тоже, — сказал Нестеренко. — В Таджикистане начинается буза. Неизвестно, во што выльется. Если начнут воевать за власть

кланы, тогда — спасайся, кто может. А ведь какая жизнь была! — я-то помню. Беззлая... Спокойная...

— Первым достанется — русским, — мрачно произнёс Адольф. — Подымали, подымали их, а теперь — на ножи. Это ж надо, как загадили людям мозги!

— Всё потому, што люди не заметили, когда началась подмена, — выходя из-за стола, проговорил Савельев. Подошёл к входной двери, открыл её, встал в потоке прохлады. Оттуда заговорил:

— Все мы с удовольствием дышим воздухом после грозы. Кусать его хочется. Запах — божественная свежесть. Это — озон. Но дай человеку этой “свежести” чуть-чуть больше и он умрёт. Самое мало — мужик станет бесплодным. Благодатный озон и смертельный озон — один и тот же газ. Дело — в количестве.

Виктор вернулся к столу. Его внимательно слушали.

— Нас подкупили обещанием свежести. Слов нет — она была нужна. Из некоторых углов уже сильно пахло. Я сам... наверно, больше, чем каждый из вас — ничево не поделаешь: работа такая!.. чувствовал этот запах... и хотел свежести. Перемен хотел! И не один я. Многие. Мы поверили в наши возможности. В благородную цель... Однажды я сказал Володиной Наташе, не знаю: говорила она тебе? (Виктор посмотрел на Волкова, тот пожал плечами) — может слишком возвышенно это прозвучало, но это было искренне. Я сказал: мы — вроде Диогена, который ходил днём с фонарём — искал хорошего человека. Только мы идём с баночками керосина, куда вставлен горящий фитилёк, чтобы осветить дорогу в светлое завтра. Я даже вижу, сказал я Наташе, как с такими же баночками идут тысячи людей... десятки тысяч и каждый верит, будто его керосин сделает жизнь страны светлей и радостней. Но только потом я понял, што это горючее — из множества баночек — сливают в одну большую цистерну и, когда придёт нужный момент, бросят в неё горящий факел — помните, в “Белом солнце пустыни” так бросили? — и страшный взрыв разорвёт всё вокруг. Понял, но мне уже не давали сказать поставленные сливальщиками люди.

— Вот и бросили факел, — выдавил Нестеренко. — Теперь мне понятно, про какие ты баночки...

В этот момент Савельев увидел, как на экране телевизора появилось лицо Горбачёва. Заметил это и Адольф.

— Гляньте-ка, чучела-мяучела вылезла! — воскликнул он. — Просрал державу, поганец, и не стыдно народу в глаза глядеть.

— Подожди, Адольф, он чево-то важное говорит, — сказал Савельев. Журналист прибавил звук, и все услышали слова:

— ...я прекращаю свою деятельность на посту Президента СССР.

В избе загомонили. Даже Валентина стала что-то говорить Дмитрию. Каждого цепляла какая-то фраза, и человек комментировал её. Только Савельев слушал длинную, блудливую речь молча, реагируя на выкрики соседей взглядом или мимикой.

“Но и сегодня я убеждён в исторической правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года”.

— Лучше б ты в аварию попал той весной, тварь! — кривясь, говорил Нестеренко в экранное лицо ненавистного ему человека. — Для реформ башка нужна, а не пятно на ней.

“Старая система рухнула до того, как успела заработать новая”.

— Он нам рассказывает, што натворил! — удивлялся Волков, обращаясь к стоящим рядом.

“И сегодня меня тревожит потеря нашими людьми гражданства великой страны”.

— Это твоя работа, ублюдок, — прорычал Адольф. — Штоб ты захлебнулся в слезах людских.

Выступление было долгим, бесцветным и скользким, как мокрый обмылок. “Даже последнее слово не смог сделать достойным”, — с неприязнью подумал Савельев. Он отвернулся, чтобы уходить к столу, как вдруг пронзительный вскрик Нестеренко заставил быстро глянуть на экран:

— Флаг! Смотрите: флаг!

То, что происходило на экране, остановило всех. Видимо, съёмка шла издали — “телевиком”. В ночной темноте едва просматривалась Спасская башня Кремля. Был слабо освещен и купол президентской резиденции. Только установленная на его крыше мачта с государственным флагом Советского Союза была хорошо видна в свете направленных снизу прожекторов.

Эту картину — красное полотнище величественно колышется над Кремлём — много лет видели наяву или по телевизору граждане трёхсотмиллионной страны, и развевающийся стяг был гарантией того, что великое их государство живёт, и они являются частью его.

Теперь же происходило что-то невероятное. В полной тишине флаг полз вниз и уже прошёл треть мачты. Едва различимые на крыше фигурки людей быстро двигали руками, видимо, торопясь опустить стяг. Но декабрьский ветер сильно развевал его, образовывал тугие ярко-красные волны, снова вытягивал полотно на всю длину, и казалось, флаг сопротивляется. Когда же его достали рукой, съёмка прекратилась.

Все находящиеся в избе онемели. В молчании Савельев выключил телевизор. Пошёл к столу. Он понял: если сейчас не выпьет, не сможет разжать спазмы в горле. Глядя на него, двинулись за стол остальные. Только Нестеренко прикованно смотрел на выключенный телевизор и не трогался с места.

— Андрей! — позвал его Савельев. — Иди к столу.

Тот сумасшедшими глазами глянул на журналиста и показал пальцем в телевизор:

— Эт што такое, Вить?

— Это, Вольт, конец страны, — вместо Савельева ответил Волков.

— Кто ж им, сукам, разрешил? — тихо, но зловеще спросил электрик. — Вы мне можете сказать? Значит, они окончательно угробили нас?

В дальних глубинах сознания у Нестеренко ещё таилась маленькая, едва дышащая надежда на какие-то перемены. Да, подписали три Существа бумагу о том, что Советский Союз они распускают. Видимо, побаивались: могут нарваться на кулак Горбачёва. Поэтому собрались, как сейчас рассказывают, в нескольких километрах от границы, чтобы в случае чего рвануть в Польшу. Тогда Горбачёв пустил сопли. Но потом-то мог опомниться? Он всё ещё президент. Главнокомандующий. Не надо армии. Достаточно несколько дивизий... А он ни страну, ни себя не стал спасать. Ах ты, пятнистая шкура...

— Не знаю, как вы, а я готов пойти в партизаны.

— Против кого? — спросил учитель.

— Их надо казнить, — продолжал Нестеренко. Он, наконец, сдвинулся от телевизора, но шёл к столу тяжело, разбито.

— По-хорошему, надо бы судить, — сказал Савельев. — Партизанщина — это терроризм. А он нигде не приветствуется. Вот судить — другое дело! Но кто же в этом разброде даст их судить? Всё, што они сделали, нужно не народам. Кучкам, оказавшимся у власти. И особенно тем, кому сдали страну... Западу. Разве победители позволят разложенным, оглулённым массам отнять такую ценность?

Отречение Горбачёва потрясло и Виктора. Видя, куда направляются события, он давно был готов к нехорошему финалу. Но одно дело знать, что будет смерть, другое — её увидеть. Виктор вспомнил рассказы отца о реакции людей на смерть Сталина. Сергей Петрович Савельев также, как Волков, был учителем. Только преподавал математику. “Все мы понимали, — говорил он сыну, — придёт когда-то время и Сталин умрёт. Нет же бессмертных... Но когда он умер, многим показалось, что остановилась жизнь. Мой класс — девятый класс — рыдал. Я вытирал слёзы и не стеснялся. Фронт прошёл... Горя глядялся... А тут — плакал. Потом оказалось, что жизнь продолжится”.

До заявления Горбачёва Виктор старался притоптать свои тревожные мысли о будущем страны. Успокаивал себя и жену примерами из истории. Сколько империй распалось, а народы продолжают жить. Ту же Российскую империю большевики разорвали в клочья. Однако она вернулась в форме Советского Союза. О том, что многие империи исчезли вместе с народами, думать не хотелось. Теперь спущенный флаг государства взволновал его и встревожил до учащённого сердцебиения. Что будет с Россией? С Украиной, где жили родственники жены? С тихой и светлой Белоруссией, куда он

несколько раз ездил в командировки и возвращался, словно умытый в прозрачной родниковой воде. Наконец, с Казахстаном, где он какое-то время работал, и половина населения которого — русские.

— Эти люди не имеют права жить, — обрывисто дыша, продолжал свою линию электрик. — Надо подкараулить... Не приветствуется... А быть государственным преступником и оставаться ненаказанным приветствуется?

— Их как раз надо оставить жить, — хмуро объявил Волков. — Они должны видеть, што натворили, и мучиться.

Адольф недовольно заёрзал. С осуждением поглядел на учителя.

— Будут эти твари мучиться. Думаешь, у них есть там, внутри, такое, што заставляет нормальных людей мучиться? Вот когда б их Бог наказал... Послал каждому страшную болезнь... Мучительную. Им самим... Их родне... Пусть ба глядели... Были, как собаки, и знали: это им за миллионы остальных.

— Если я их на этом свете не достану, — опустил тяжёлый кулак на стол Нестеренко, — и если есть тот свет, пойду там в кочегары. Буду жарить. Встречный план возьму, как раньше было... Но не дам ихним душам покоя.

Уже никому не хотелось ни есть, ни пить. Все вроде были вместе, и в то же время каждый по себе. Печально молчала Валентина, изредка взглядывая на Дмитрия. Ушёл к печке Николай, присел там на маленькую скамеечку. Куда-то в угол избы смотрел Валерка, опасаясь встретиться глазами с Адольфом. А егерь, забыв о нём, ждал хоть каких-нибудь утешений от городских. Но что они могли сказать ему, сами чувствующие себя перед новой жизнью, как люди, оказавшиеся на краю неизвестного болота. Одно объединяло мысли: на их глазах произошла гигантская катастрофа, и те, кто её совершил, достойны высшей меры наказания.

— В Новгороде есть памятник “Тысячелетие России”, — углублённый в свои мысли, проговорил учитель. — Там изображены все, кто из начальной Руси создавал наше великое государство. Придёт время, и поставят памятник “Разрушители России” где-нибудь...

— ...на свалке, — вставил Нестеренко.

— Нет, в людном месте. Их должны видеть. Плевать на них.

Владимир ещё никогда в жизни не чувствовал такого унижения. Как будто к нему в квартиру залезли воры, раскидали вещи, грязными ботинками наступили на ночную сорочку Натальи, утащили всё ценное, а он, здоровый крепкий мужчина, спецназовец, умеющий победить добрый десяток людей, сейчас не способен даже понять, кого ему надо нейтрализовать.

— Плевать — это ты хорошо придумал, — медленно произнёс электрик. И, заводясь, заговорил быстрее. — Очень хорошо, Вова, придумал. Я понял, как будет их наказывать народ.

Андрей в волнении встал, энергично прошёл по избе, вернулся к столу. Все глядели на него.

— Я сделаю кооператив. Их вон уже сколько! Будет ещё один. Завод, чувствую, угробят. Но мой кооператив будет жить. Его продукция пойдёт на расхват.

Он помолчал и многозначительно объявил:

— Я буду делать унитазаы и писсуары.

Столь неожиданное сообщение развеселило людей. Сумрачное настроение немного просветлело.

— Ну, если только с музыкой, — хмыкнул Савельев.

— С мордами! С ихними мордами. Представляетe, приходит мужик в общественный туалет, пристраивается — и прямо в морду “пятнистому”. Или сразу троим Существам. А когда по-хорошему... штоб посидеть от души... тут уж, ребята, все они получат сполна.

Мужики захохотали, видимо, представив картину народной мести. Скупо улыбнулась Валентина.

— Ну, ты даёшь, Андрюша! — весело воскликнул Адольф. — Надо же догадаться!

Однако Савельев, тоже улыбаясь, остудил электрика:

— Не выйдет ничего, Андрей, а жалко. Они расценят это, как оскорбление личности. Подадут в суд. Скажут: наладил производство и продажу оскорбительных изделий.

— Какие личности?! — завопил егерь.

— Всё равно нельзя, Адольф. Вот если б Андрей сделал такой унитаз для себя... поставил в своей квартире и не продавал людям на рынке...

— А друзьям могу подарок сделать? — спросил растерянно Нестеренко. — Тебе... Володе... Вот им,— показал на мужиков.

— Подарок, наверно, можно. Я, правда, не специалист, но ведь если ты, он, все мы купим портреты этих деятелей, приберём их в туалетах, а может, даже приклеим в унитазах, кто нам што сделает?

— Это совсем другое дело. Мне нравится Андриюхина идея, — сказал Волков. — Но время ещё есть. Мы што-нибудь придумаем, Андрей. Как говорит Адольф: “Война план покажет”.

Они ещё какое-то время посидели, кто за столом, кто рядом. В разговоре начинали трогать охоту, но не было ни привычного азарта, ни даже интереса говорить. То и дело сворачивали на большую, как открытая рана, тему: что будет дальше? Чтобы не царапать души, рано легли спать. Хозяева — в отгороженной комнатке за печью. Нестеренко попробовал устроиться на печке, но длинные ноги надо было сильно поджимать, к тому же было жарко. Он слез, и Адольф сразу послал Валерку. Сам егерь с Николаем улеглись на раздвинутом диване. А городские — на полу, где Дмитрий устроил им хорошую постель из матрацев и тулупов.

При потушенном свете долго слышали друг друга: вздыхали, сопели, подкашливали. Уснули чуть ли не во второй половине ночи. Поэтому встали такие же, внутренне и внешне, помятые.

Обмениваясь неохотными репликами, собрались. В сенях взяли на поводки собак. Те почему-то не вырывались, как всегда, из рук, не дёргались в предвкушении охоты. Вели себя смирно. Словно чувствовали состояние людей. Поскольку лес был близко, решили не заводить трактор, а идти на лыжах. Стояли молча, дожидаясь Дмитрия, который пошёл за лыжами во “двор” — большой крытый сарай, пристроенный к избе, где стояла корова, был закуток для овец, хранились дрова, сено и всякий инвентарь.

Рассветало быстро. Сероватые сумерки, казалось, на глазах раздувало порывами налетающего ветра.

— Как он вчера не хотел сдаваться, — сказал Нестеренко, думая о своём и ни к кому конкретно не обращаясь. Но его поняли.

— Да... Последние минуты были красивыми, — согласился Савельев. И со вздохом добавил:

— Нет ни страны, ни флага красного.

— Почему нет? — спросил Дмитрий. — У меня в сенцах стоит.

Он принёс лыжи и уже пробовал втиснуть носки валенок в ремни. Городские переглянулись.

— А давайте вывесим его! — воскликнул учитель. — В знак несогласия.

— Это дело! — вдохновился Адольф. — Неси, Митька, флаг.

Когда тот поднялся на крыльцо, егерь крикнул:

— И захвати молоток с гвоздями!

Потом, вспомнив, подтолкнул к дому Валерку.

— Лестница нужна. Помогли ему, шны́рла.

Споря, как лучше поставить лестницу, на какой высоте прибить, под каким углом флагу висеть, мужчины споро принялись за работу. Приколотили. Довольно оглядели сделанное и уже с другим настроением двинулись к лесу.

Метров двести дорога шла так, что изба оставалась прямо за спиной. Каждому хотелось оглянуться, однако тогда надо было останавливаться, разворачивать лыжи. Но вот лыжня начала круто забираться влево, и охотники один за другим стали поворачивать головы в сторону дома с флагом.

Рассвело окончательно. Ветер развевал красное знамя несогласия, ударял в лица идущих мужчин, и, видимо, из-за него то один, то другой вытирал рукой глаза.

*(Окончание следует)*